В.Г. Радченко

БАЙКИ деда Игната

история старинного казачьего рода, рассказанная старинным казаком

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вниманию читателя предлагается уникальный исторический источник — рассказы кубанского казака, старого конвойца, служившего в охране Николая II, о себе и своих предках. Хронологический охват баек широк: от екатерининской эпохи до гражданской войны, а география — преимущественно Кавказ, Приднепровье, Петербург со Псковом и, разумеется, Кубань.

Книга написана увлекательно, живым языком, содержит около 200 прекрасных старинных иллюстраций, и предназначена для самого широкого читателя.

- В.Г. Радченко
  - I. О ДЕЛАХ СТАРОДАВНИХ, ПОЧТИ ЛЕГЕНДАРНЫХ…
    - БАЙКА ПЕРВАЯ,
    - БАЙКА ДРУГАЯ,
    - БАЙКА ТРЕТЬЯ,
    - БАЙКА ЧЕТВЕРТАЯ,
    - БАЙКА ПЯТАЯ,
    - БАЙКА ШЕСТАЯ,
    - БАЙКА СЕДЬМАЯ,
    - БАЙКА ВОСЬМАЯ,
    - БАЙКА ДЕВЯТАЯ,
    - БАЙКА ДЕСЯТАЯ,
    - БАЙКА ОДИННАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ДВЕНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ТРИНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ПЯТНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ШЕСТНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА СЕМНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,
  - II. О СЛУЖБЕ КАЗАЧЬЕЙ, ТО ВЕСЕЛОЙ, ТО МРАЧНОЙ
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,
    - БАЙКА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

        - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,
        - БАЙКА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТАЯ,
    - III. О ВОЙНЕ-ЗАМЯТНЕ, О КАЗАЧЬЕЙ СУДЬБЕ
        - про то, как началась Первая мировой война, да про Гэбу — гарнизонную красавицу кошку да про Гэбу — гарнизонную красавицу кошку
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,
        - БАЙКА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,
        - БАЙКА НЕ КОНЕЧНАЯ,
    - Краткий словарь старокубанского языка, устаревших слов, встречающихся в этой книге
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

В.Г. Радченко
Байки деда Игната

Издание книги осуществлено
благодаря поддержке
Благотворительного Фонда «Вольное Дело»
Олега Владимировича Дерипаски

Рассказчик баек «дед Игнат» — Дмитрий Игнатович Радченко.

Родился в 1879 году на Кубани в станице Старонижестеблиевской. Из потомственного казачьего рода, обосновавшегося на Кубани при Екатерине Великой. До 1907 года служил в Собственном Конвое Его Императорского Величества Николая II. Умер в 1956 году

КАЗАЧЬИ БАЙКИ

ДЕДА ИГНАТА

ПРО ТО, КАК ЖИЛИ КОГДА-ТО…

Семейные предания — порой забавные, порой странные, и всегда очень правдивые («дед Игнат брехать не станет!»), в чем и есть их главные достоинства и ценность

2008

Русский читатель давно знаком с подобным жанром, наиболее известным произведением которого являются, пожалуй, «Рассказы бабушки», записанные ее внуком Дмитрием Благово. До нас дошло немало интереснейших мемуаров стариков, которые сохранилось только благодаря тому, что их потомки — чаще внуки — в детстве по множеству раз слушали истории о прошедших временах, а став взрослыми людьми, запечатлели их на бумаге, сохранив их таким образом навсегда.

Большинство таких воспоминаний — дворянские, есть пересказы историй из жизни купцов и разночинцев. Перед вами совершенно уникальный исторический источник — подлинные рассказы старого казака-конвойца Дмитрия Игнатовича Радченко («деда Игната»), поведанные им своим внукам — о жизни, своей собственной и его предков — еще с XVIII века.

Прежняя казачья жизнь известна нам преимущественно по описаниям «со стороны», что делает «Байки» особенно ценными. Это не «этнографическое», бытоописательское повествование. Внуку казака-деда удалось сохранить и передать нам, потомкам, картину ушедшей жизни в совершенно особом, народном восприятии: мир предстает целостным, чудесным, управляемым Божескими суровыми, но справедливыми законами, и всякое существо, человек ли, медведь или даже растение имеет здесь свой особый характер, историю и смысл.

В байках этих, при том, что дед любил непременно вывести мораль, нет места идеологии. Дед не за «белых» и не за «красных», его герой — «добра людина», что сохранит стойкость духа, справедливость и интерес к жизни в любых обстоятельствах. Рассказывая, казалось бы, о своих предках, о нескольких

поколениях обычного казачьего рода, дед на самом деле повествует о истории нашей Отчизны, увлекательной и трагической. Думается, имен- но таких книг не хватает праправнукам наших дедов, именно такие книги могут воспитывать любовь к своему народу, к своей стране…

Правнучка, Варвара Пономарева, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Московского университета

Рукопись подготовлена к печати при участии старшей внучки В.Г. Радченко Софии Пономаревой, а также его дочери Варвары и младшей внучки Марии Пономаревой. Мы бы хотели поблагодарить тех, без кого эта книга не увидела бы свет — членов редакции журнала «Станица», сотрудников Благотворительного Фонда «Вольное Дело», Некоммерческого Партнёрства «Историко-культурное наследие Кубани», и лично Г.В. Кокунько.

У каждого деда был свой дед. Внуки нынешних дедов про это как-то не думают. Для них родословная вглубь времен далеко не уходит. А вот мы, внуки нашего деда, хорошо знали, что у него был дед, у которого в свою очередь, тоже был дед. А где-то там в таинственной дымке прошедших веков землю топтали какие-то наши пра-пра-пра…

А знали потому, что наш дед любил нам рассказывать о своем деде, а мы, внуки нашего деда, любили его слушать. В отличие от моих внуков, которых куда больше интересуют побасенки из телевизионного ящика–урны. В нашем детстве этого ящика еще не было, и для нас дед Игнат заменял не только телевизор, но часто и кино, и радио…

Деды наши рассказывали-баяли, что знали, мы, внуки, им поддакивали, а что в тех байках правда сущая, а что брех несусветный, нам не дано знать. Когда, бывало, бабуля Лукьяновна уличала деда в том, что он, мол, про это совсем недавно говорил не так, дед не смущался, благодарил за подсказку: время, дескать, идет, что-то забывается, а что-то, глядишь, и вспомнится. Байка – не сказка, утверждал он, а сказкина тетка, и быль ей родная сестра.

— Ну, ты у нас молодец, — говаривала бабуля. — Выкрутился! — Конечно, молодец, – соглашался дед. – Если я не молодец, то и свинья – не красавица! А байка, она и есть — байка. Что было, то было… Байка — трава, придумка — вода, а без

водицы – и травка не родится… И вот я, внук моего деда, решил на склоне лет своих байки те записать: вдруг внуки моих внуков захотят узнать, как жили их деды и прадеды. Итак, слушайте, внуки моих внуков, байки деда моего деда. О том, как жил, что думал и делал дед вашего деда, да, часом, и сам дед…

Виталий Радченко

I. О ДЕЛАХ СТАРОДАВНИХ, ПОЧТИ ЛЕГЕНДАРНЫХ…

БАЙКА ПЕРВАЯ, но не самая главная, потому что байки все главные, но и среди главных бывают первые

Любимый рассказ нашего деда, с которого он обычно начинал свои беседы, — байка о том, как его дед, отслужив пятнадцать или двадцать годков, получил первый и, вероятно, единственный в его жизни отпуск. В то время шла Кавказская война, длилась она бесконечно долго, и в ней пришлось участвовать трем, если не четырем поколениям нашего рода. С горцами воевал не только прадед моего деда Игнат, но и его дед, которого звали Касьян. Так уж тогда велось, что в семье имена повторялись, чередуясь один за другим. Касьян следовал за Игнатом, или наоборот. Им предшествовал Григорий или Спиридон, Дмитрий, опять Касьян… Только в начале нашего века в этот порядок вклинились Кирилл и Виталий. По слухам, так звали станичных попа и дьякона, с которыми приятельствовал отец моего деда. Вот только, кто из них был попом, а кто – дьяконом, в этом месте скрижали семейных преданий поистерлись и, как говорится, дают осечку…

Отпуска дед Касьян удостоился за хорошую службу, за находчивость и ратную хитрость-смекалку, что в этом деле, скорее всего, было решающим. Их отряд, войдя по ошибке не в то ущелье, проник глубоко в горы — впереди и по сторонам громоздились непролазные скалы, а сзади ущелье замкнули немирные горцы. Пробиться сквозь них без больших потерь было вряд ли возможно: в горах один абрек, засевший где-нибудь вверху, мог перестрелять сколько угодно людей, идущих понизу. И такое бывало… Командир части, собрав стариков и объяснив, что к чему, сказал, что выход один — положиться на волю Божью и изготовиться к смертному бою. И тогда наш Касьян предложил во главе прорывающихся из западни поставить оркестр и, когда малость стемнеет, идти напролом под марш и барабанный бой.

Так и сделали. Горцы, до этого никогда не слышавшие громогласной музыки (а легко представить, как она громыхала в узком ущелье!), были ошарашены. И природное их любопытство оказалось сильнее враждебности — они с интересом взирали на происходящее внизу, в ущелье. А казаки тем временем прошли самый опасный участок.

Да, отпуск дед заслужил, и в этом у нас не должно быть

никаких сомнений. Вот и отправился он в родную станицу. Первую и большую часть пути прошел с «оказией» — почтовым обозом, и, не дойдя до Катеринодара верст пятьдесят, двинул дальше в одиночку проселками. Кубанские степи тогда во многих местах были покрыты густыми «тернами» и диким бурьяном, а по балкам и буеракам — колючей лесной порослью. Зверья всякого, волков и медведей, не говоря уже о зайцах, лисах и прочей мелкой живности, — водилось у нас тьма-тьмущая. То и дело на дорогу выскакивало что-нибудь живое — то заяц короткохвостый, то дрофа длинноногая. А зайцы в те времена, не забывал подчеркнуть рассказчик, на вольных кубанских харчах отъедались необыкновенно, и были ростом с доброго кобеля моделянского, в общем — телки, а не зайцы, у иного-другого одни уши были, может, с аршин и более…

День шел к вечеру, а какой-либо хутор или кошара, где рассчитывал переночевать наш отпускник, все не попадались. Вот и солнце покатилось за окоем, — и тут только заметил казачина, что впереди, правда не так, чтобы близко, завиднелись скирды. «Вот это то, что мне надо», подумал он, и, как конь к яслям, заспешил к тем скирдам, где было можно, по его предположениям, неплохо переспать до утра…

Скирды свежей соломы стояли рядом с проселком. К одной из них была прислонена слега — длинное средней толщины бревно. С его помощью дед забрался наверх, огляделся. В наступающих сумерках несколько в стороне он увидел огоньки какого-то жилья, и в вечерней тишине услышал не то собачье, не то волчье тявканье. Эдакое с завывом. «Скорее всего, волки кого-то гонят…», — подумал дед. Достал из оклунка шмат сала, горбушку хлеба, луковичку, и, перекрестившись на луну, повечерял. Отодвинувшись от края скирды, разгреб ее вершину, соорудил себе подходящее гнездо, залез в него и прикрылся сверху немалой охапкой пахучей соломы.

О чем думал старый казак в эти сладкие минуты засыпания — нам неведомо, но только через некоторое время сквозь дрему до слуха его донесся нарастающий волчий лай — серая свора явно приближалась. Дед хотел было вылезть и посмотреть, что делается в окрестностях его обиталища, но пока раздумывал — услышал, как кто-то карабкается по бревну. Не прошло и минуты, как на край скирды, совсем рядом, плюхнулось что-то тяжелое. «Никак, еще постоялец», подумал дед и, машинально пробрав в прикрывавшей его соломе небольшое отверстие, увидел медведя. Снизу же доносился нестройный, с подвыванием, волчий брех. Волки, видно, были раздосадованы тем, что косолапый так легко ускользнул от них…

Мишка оказался шутником, веселым и шебутным. Он стал дразнить своих супостатов, бросая им пучки соломы. А те там внизу с азартом шарпали его «подарки». Но кому шутки-хаханьки, а кому — слезки-страханьки: Топтыгин, клята его душа, с радостной злостью сбросив несколько охапок соломы с самого края скирды, стал сгребать ее вблизи дедовой головы. Еще два-три хапка, сообразил казак, и медведь сбросит его волкам на растерзание. Убегать деду было некуда, и он, упершись ногами в под своего гнездовища, приспособился, и как только Мишка начал разворачиваться за очередным оберемком, изо всех сил ковырнул его со скирды. Тот, весь в соломе, свалился, как черт в курятник, в самую гущу волчьей стаи. С переполоху волки было разбежались, но потом, увидев совсем близко желанную добычу, ринулись к нему. Медведь, однако, был уже на ногах. Рявкнув, он врезал одному-другому из самых настырных и дал деру, и волчья стая с лаем и гвалтом покатилась по дороге…

Дед почесал затылок: медведь, он и есть медведь, зверюга с понятием, от дурных волков отобьется и вернется к скирде «побалакать» с обидчиком. А может, и не вернется: кто знает, какая у него думка… Да только береженого и Бог бережет, а дурня и в церкви бьют… Так что лучше тут не засиживаться. Дед пригляделся к замеченным ранее огонькам, и прямиком через поле, по жнивью, подался на них. Не прошло и часу, как он прибился к хутору. Загавкали собаки, а там и хозяин объявился, пустил служивого в хату. Вышла хозяйка — глечик с молоком и добрую краюху хлеба на стол положила. Дед поведал о своем приключении.

— Так то ж наши скирды, — всплеснул руками хозяин. — Завтра с утрам мы туда собирались, соломки надо привезти, скотине на резку. Заодно и тебя подкинем к дороге…

На том и порешили. Кинули деду старый кужух на лавку, дали ряднину укрыться…

А утром чуть свет, позавтракав чем Бог послал, поехали к скирдам и уже на подъезде увидели, что одной скирды не хватает, той крайней, на которой наш дед вчера с вечера медведя обидел. Подъехали к току, и видят: та несчастная скирда разметана, перемята и утоптана, а то, что осталось, придавлено слегой.

—Ну вот, — сказал хозяин, — и резки не нужно: сколько половы медведь натолок. Сейчас сметем, и бай дуже!

Вот такая история приключилась с дедом нашего деда в те стародавние времена, когда и вода была водянистей, и рыба — рыбастей, и люди — улыбастей. И про то про все будет своя байка, и может — не одна…

БАЙКА ДРУГАЯ,
и тоже медвежья, ибо дед моего деда любил медведей, а медведи — его

Везло деду Касьяну на медведей. И сколько он с ними не встречался, всегда это кончалось с пользой для обоих. Вот, к примеру, еще одна байка, тоже любимая нами, внуками нашего деда. Он неоднократно и с большим удовольствием ее нам рассказывал, каждый раз подчеркивая, что на свете нет зверей-дураков, а среди людей нет-нет, да и объявятся. Но про них — другой сказ, в другой раз…

А случилась эта медвежья история, как и следующая (дойдет ряд когда-нибудь и до нее) под самый конец службы деда Касьяна. После ранения зачислили его в гарнизон небольшой крепостицы-кордона где-то в верховьях Кубани. Крепостица оказалась крохотной, всего при двух или трех пушках, но все в ней было обустроено чин по чину — и ров, и вал, и места для стрельбы, капониры там и прочее.

В общем, фортеция что надо, только небольшая и заброшенная в полудикую глухомань — держать под своим неусыпным бережением шлях и брод через речку.

Жизнь в крепости в ту пору протекала спокойно. Казаченьки для пополнения казенного довольствия держали огороды, собирали в лесу всякую дикую ягоду, кисличку, лесные груши и орехи, а на зиму, — что тоже вменялось в обязательный порядок, заготавливали дрова, перебирались на другой берег Кубани — лес там стоял погуще. Брали в основном сушняк, живое дерево почем зря не рубили, разве что по надобности. Хотя лес по одному дереву и не плачет, но и гуще от его потери не становится…

И вот однажды ясным осенним утром свободные от службы казачки-мужички отправились на заготовку дров-жердей и того же хвороста. Спустились к берегу, где на приколе болтались лодки-каюки, и увидели, что прямо против них на тот берег карабкается медведь. Да только никак не может выбраться. Только зацепится за какую ни то прибрежную корягу, как тут же валится назад. И снова — только потянется на берег, как его какая-то неведомая сила уводит в воду. И тут же его сносит течением. Он опять к берегу, и снова назад…

— Братцы, поможем? — предложил кто-то. — А то згинет ни про што, ни за што! Подплыли на лодке и видят: медведя за ногу сом ухватил. Такой здоровенный сомина, может не в одну сажень длиной.

— В Кубани тогда и не такие водились, — говаривал дед Игнат. — Чудо, не сомы. С добрую коняку, или, вернее, — с

корову, потому как пузо у него было, как сорокаведерная бочка. Морда широкая, лопатой. И при усах. Не было такого, чтобы сом — и не при усах…

Видать, такой сомина и цапнул того медведя за лапу. Утянуть его в омут не может, а у зверя сил не хватает на берег его вытащить. Вот и перетягивают: кто — кого. Только сом-то у себя дома, в воде. А дома, как говорят, и стены помогают… Так что рано или поздно он-таки утопит медведя, хотя заглотнуть его, конечно же, не сможет. И если не сумеет выплюнуть засосанную им медвежью ногу, то сгинет и сам.

Помочь медведю оказалось делом не простым — руку ему не подашь, советов он тоже не слушает. Да и сома не уговоришь отвязаться по-хорошему. Пробовали его жердью уразумить — куда там, не хочет со своей добычей расставаться, а, скорее всего — и не может: зажевал медвежью ногу глубоко и откашлять ее уже не в силах.

Подвели казаченьки под медведя бечевку и, мало-помалу, подняли бедолагу на берег. Сом и тут не отпускает его. Лежит, гора-горой, только жабрами зевает.

— А глазки-оченята у него малюсенькие, бессмысленные, рыбьи, ничего не показывают, — ухмылялся дед Игнат. — Он хоть и сом, а одинаково рыба, и на суше мало чего соображает.

Всунули ему служивые в рот две жерди, пасть развернули, и медведь, наконец, смог выпростать свою бедную ногу. А она у него почти до самого колена изжевана, белая вся. Сидит Топтыгин, зализывает порченную лапу.

Казаки тоже сидят, покуривают.

— Что будем делать? — пытают своего урядника. — А нычего, — отвечает тот. — Подождем, можэ ведьмидь сам шо прыдумае. А Мишка тем временем пошкандыбал к опушке рощи, нашел там корявую деревину, вернулся к сому и давай его нещадно волтузить, да так, что только брызги летят.

Измочалив сома, что называется, до мокрого места, медведь придавил его сверху жердиной и пошел в лес. Через некоторое время принес еще две коряжины, навалил их поверх сома. Потом еще принес лесину, другую, бросил их на кучу. И так без устали работал почти до обеда, пока не завалил обидчика целой горой сушняка.

Обошел напоследок эту гору и, убедившись, что сому из-под нее не продраться, помочился на угол, задрав ногу, совсем как гарнизонный кобель, рыкнул о чем-то на своем медвежьем языке, и навсегда ушел в лес. Даже не оглянулся.

— Вот так медведь помог казачкам-мужичкам в заготовке дров. Умная зверюга, как ни крути. Недаром добрые люди кажут,

— говорил дед Игнат, — что медведь та же людина, только озверелая. Вроде б то в Палестине когда-то жил-был такой шалопай, что не верил в святость самого Исуса Христа и вздумал его как-то напугать: в вывороченной кужушине притаился за хатой, а может, в будяках-колючках, и когда Христос проходит мимо, выскочил и прямисенько на него… Христос развел руками, дунул, плюнул, и шалопай стал медведем. Сам перелякался и тиканул, куда глаза глядят. Так появились медведи, расплодились, как водится, и наши Мишки — их родичи-потомки. А то ж ты думаешь, отчего они такие умные?

Ну, а казаченьки вечером рассказали о своем приключении, и ихний командир, может хорунжий, а может сотник или сам есаул, а только пожурил он казачков, что не привели того медведя в крепость, пусть бы он на казенных харчах оклемался, а может, и прижился бы, гарнизону на радость, крепости на усиление.

Не прав был тот командир, хотя думка у него, может, случилась и добрая. Нельзя свободную животину на цепь сажать. А для того, чтобы иметь в хозяйстве своего медведя, надо брать маленького несмышленыша, который звериной жизнью не усладился, и приучить его к человечьей. И такого медвежонка, и даже не одного, а сразу двух, наши казаки вскорости нашли, но то — другая байка, про то — в другой раз.

БАЙКА ТРЕТЬЯ, про медвежье солнце, да про то, как дед моего деда на охоту ходил, и о чем рассказывать не очень любил

К охоте дед моего деда пристрастился на службе. Как уже говорилось, казаки той крепостицы, где он тогда дослуживал, разнообразили и пополняли казенный провиант, как сейчас бы сказали, дарами природы, тем более, что природа тогда в наших краях была обильной и богатой. Собирали орехи, ягоды. Грибы? Не-е, про грибы тогда у нас не знали. Не было такой моды — грибами кормиться. У каждого, кажут, свой вкус: кому нравится кавун, а кому – свинячий хрящик… Рыбу ловили, тем более, что в наших речках вода тогда была пополам с рыбою. И ходили на охоту. Командами, человек по пять, самое малое — втроем. Война еще не кончилась, и хотя на Кубани боев в то время не было, абреки в горах погуливали, и встреча с ними не предвещала ничего хорошего…

Охотились на горных козлов, а они, как известно, шустры, прытки и хитры необыкновенно. Выследить и добыть хорошего козла — большая охотничья радость. Да и козлиное мясо, если

его поджарить на углях или подсолить и закоптить — смак и вкуснятина…

Одним словом, тот дальний наш дед любил добывать этих самых козлов и не пропускал оказии затесаться в охотничью команду. А гуртовалась она из лучших стрелков и ходоков, чтобы, значит, лесовать дичину на общую гарнизонную потребу.

И вот однажды такая команда целый день гонялась за козлами, и все безуспешно. Лишь к вечеру удалось пристрелить одного, да и тот чуть не уплыл по бурному горному потоку. Хорошо — на перекате за каменья зацепился. Вытащили его казаченьки из воды, а тем временем и смеркаться стало. Решили заночевать тут, у живой воды. Стали приглядывать подходящее место, и кто-то из них увидел, что под одной из нависших скал проглядывалась вроде как выемка. Поднялись к ней, а там оказалась настоящая пещера, просторная, как немалый каземат. По ее дну родничок пробивался, а в ближнем углу из-за круглого камня зыркали два совсем маленьких медвежонка.

— Хлопцы, да тут место никак обжитое! — воскликнул один из казаков. Но осмотрев пещеру, охотники поняли, что на берлогу она никак не похожа – скорее всего медвежата, отбившись от матери, спрятались сюда, увидев людей. Мало ли что бывает в их медвежьей жизни. На том и порешили. Тем более, что искать для ночевки другое место было уже некогда, да и пещера была очень подходящей.

Затащили туда своего козла, чтобы ночью дикие звери его не схарчили, развели у входа костеришко, справили кашу-саломатку и, поужинав, расположились, кто как нашел удобным, в той пещере на ночевку.

Дед нашего деда, облюбовав себе местечко в одном из углов, притащил охапку сухой травы и листьев, устроился, и тут же заснул сторожким сном бывалого охотника. Ему все время чудилось, что где-то близко бродит медведица, и вот-вот нагрянет за медвежатами, которые мирно посапывали за своим камнем-булыгой. Проснулся он глубокой ночью, прислушался — было тихо, покойно, лишь горный ручей, протекавший рядом с пещерой, беспрерывно «балакал» сам с собой. Ночь стояла светлая. Большая круглая луна — «медвежье солнце» — висела напротив пещеры, и как это бывает только в горах, казалась где-то внизу. Не обнаружив ничего тревожного, дед повернулся на другой бок и сразу увидел, что из глубины пещеры прямо на него уставились два неподвижных светящихся глаза…

Преодолев невольный страх, оторопевший было дед приподнялся на колени и, приглядевшись, явственно убедился, что испугавшие его «звериные очи» не что иное, как торчащие из

пещерной стены два небольших камешка, блестевшие в отраженном лунном свете. Надо же такая навада! Усмехнувшись, дед Касьян отвалил на свое место и погрузился в сон. А утром, у костра, после скорой еды, он поведал своим братцам-охотникам о ночном приключении. А что оно было: слюда, «оливец»? — ответить не мог, но предположил, что это, вероятно, какая-то горная руда блестела в лучах «медвежьего солнца».

Дед с одним из охотников решил это проверить. Так, из интереса. В пещере был полумрак, пришлось подсветить себе зажженными жгутами из сухой травы. Отколупнули несколько поблескивающих «каменюк», вынесли из на свет.

— Братцы, да это никак золото! — удивился один из казаков.

— Какое еще золото из-под цыганского молота, – усомнился кто-то. Далеко, мол, куцему до зайца. Но казак, прикинув на руке вес «каменюки», уверенно заключил: — Золото! — и полез в пещеру. Не утерпели и остальные: а вдруг и правда золото!? Короче, часа через два, охотники добыли в этой пещере десятка полтора («абож два…») разного размера самородков — какой с ноготь, а какой и с палец, по-братски их поделили, и дали зарок: о находке — молчок! Никому не говорить, и баста! Мол, сказано — закопано. Да… А самим наведаться сюда под видом охоты еще разок, может, даже с лопатой, а потом уже думать, что делать и как …

Забрав с собой добытого козла и медвежат, казаки вернулись в крепость, обрадовав добычей своих друзей-сослуживцев.

А были ли они в той пещере еще раз — история умалчивает. Дед Касьян якобы говаривал, что кто-то из их компании не сдержал зарока, протрепался о золотой пещере, язык — он без костей, за зубами не каждый удержит. Казаков-охотников таскали «куда надо», отобрали добычу, а пещеру «опечатали», и место объявили запретным. По слухам, у деда и одного из его верных друзей остались-таки какие-то «вышкварки» (остатки), может, по одному, а может, и по два заранее спрятанных самородка. Они через год-другой после возвращения со службы ездили не то в Катеринодар, а не то и до самого Тифлиса добрались, обменяли их на ассигнации…

В народе говорят, что если у тебя есть много хлеба – заводи свиней, и ты станешь богатым, а если у тебя завелись грошенята-деньжата, — сооруди мельницу, и ты приобретешь уважение и почет. Так или иначе, а дед сладил за станицей добрый ветряк — «млын», но это уже другая байка, другой интерес и другой рассказ…

БАЙКА ЧЕТВЕРТАЯ,

теперь уже про волков, с которыми у деда Касьяна дружбы не было, но встречи случались к общему неудовольствию

Волк — тварь зверская, хищная, настырная, а по части своих звериных деяний — умна до невероятия. Но не умней человека, ибо хитроумней его нет в природе создания. Не зря же Бог сотворил его по своему образу и подобию. Но как на ниве бывают высевки, будяки и чертополошины, так и среди человеков не обходится без половы-соломы. Было такое и в нашем роду, но про то — особый сказ, особая байка, и до нее, может, дойдет когда-нибудь ряд. А пока — про волков...

Не любил их дед нашего деда, и тут вины его нету, поскольку волк — кровожадный бандит и ворюга, можно сказать — смертельный вражина посреди всего остального звериного населения нашего края. Если затешется на овчарню, – перережет всех овец. Не для пропитания, нет — так, для своего волчьего интереса и характера.

Так вот... Как-то весной дед задержался на своей мельнице, что-то налаживал, ветряк всегда требует к себе внимания. Закончил он работу под вечер, запер дверь на внутренний засов — тогда были такие замки: внутри в скобах ходил дубовый полоз, у которого сверху были вырезы, зубцы. В двери над ним — дырка, через которую большим железным крюком этот полоз передвигался в нужном направлении, запирая или отпирая дверь. Вот дедуля запер эту самую дверь, и пошел к себе до хаты, в станицу. А идти надо было версты две, а может, и все три. К ночи стало прохладно, да и дождик накрапывал, дед свернул мешок навроде плаща-накидки с капюшоном, прикрыл им голову и спину, а на груди прихватил его руками. Мешки в те времена делали настоящие — большие, из малопромокаемой холстины, чтобы мука в них не сразу подмокала. Да... А в правой, значит, руке у нашего деда – тот самый ключ, или крюк, которым он только что запер дверь мельницы...

Идет это наш дед по дороге, хлюпает по лужамка-люжам, только брызги летят, и вдруг чудится ему, что сзади тоже кто-то нет-нет, да булькнет-хлюпнет по уже пройденной им воде, вроде как бы догоняет его. И кто тут может быть в такую пору? Оглянулся и оторопел: шагах в двадцати от него — волк, здоровый, широкогрудый, не волк-вовцюган, а жеребец! И видит дедуля, что зверюга как бы норовит его обойти, чтобы напасть не сзади, а спереди, — такая, говорят, у них, у волков, сноровка. Так ему сподручней хватать свою добычу за горло.

Видит дед, что волк выходит ему вровень с правой стороны.

Дед взял влево и пошел по дуге, с тем, чтобы где-то впереди снова выйти на свою дорогу. Волк приотстал, но через некоторое время стал обходить деда с левой стороны. Тот свернул правее, и снова обошел волка по такой же дуге. Волк не успокоился, и опять стал обходить деда с другой стороны... Так они проманеврировали с полверсты, а может, и более того, и дед увидел, что они подходят к небольшой кошаре у самого края станицы, а там — собаки-волкодавы, сторожа... Еще два-три полукруга и он будет спасен. Ну, а ежели волк все-таки выйдет навстречу и бросится на него, то на этот случай у деда есть мельничный ключ...

И действительно, когда до кошары осталось саженей пятьдесят-шестьдесят, — волк оказался прямо перед ним. Еще мгновение... и он сделал бросок — дед увидел разверзнутую огромную пасть с белыми клыками и огненные очи зверя. Раздумывать было некогда, и старый казак что было силы всадил в эту пасть сжатый в правой руке ключ-скобу.

Волк захрапел и упал ему под ноги. Дед сгоряча пнул его чоботом, отскочил и заорал на всю мочь:

— А ту его!.. Эге-гей!

И через минуту-другую выскочила свора собак-волкодавов, они набросились на поднимающегося с земли зверя, свалили его и... все смешалось в один живой клубок. Подбежавшие овчары насилу оттащили псов от уже мертвого, полурастерзанного хищника.

— Ось така его доля, сук ему в глаз, — сказал старший пастух, высекая кресалом огонь и раскуривая черную от долголетнего употребления люльку — трубку для курения. Дед мой в этом месте обязательно останавливал дух и, по-видимому, чтобы отвлечь нас от мрачной картины звериного побоища, говорил, что люльки в старину делали добрые, и даже его дед, как человек мастеровой, бывало, баловался их изготовлением. Не для себя — он не курил, в нашем роду этого греха не водилось. Но люльки дед Касьян делал отменные. Ах, какие то были люльки! Ими дед одаривал друзей-казаков, и даже, бывало, сам станичный атаман не брезговал дедовыми люльками. Ах, что это были за люльки – из вишни, а лучше — из вишневого корня.

И он еще долго хвалил те давние люльки, а если, случалось, бабуля Лукьяновна укоряла его за повторение одного и того же, и что, мол, дети подумают — он усмехался:

— Ну, набалакала-наговорила: дайтэ жолобчастого Данылы — батька пидстрыгаты[1]... Шо ж ты нэ знаешь, шо от частого повтора молытва нэ стирается и слабже нэ становится...

БАЙКА ПЯТАЯ,
и про пятую же ногу волчью… А зачем собаке пятая нога, даже если она волчья?..

Не было у наших дедов мирной жизни с волками. Иначе и быть не могло: волк, хоть зверь и красивый, но злобный и ненасытный. А водилось их в Прикубанье, по выражению деда Игната, «як бдчжол», то есть, «как пчел». Дед говорил на том прекрасном русско-украинском наречии, на котором многие на Кубани «балакают» и в наше время. Правда, с примесью схваченных в начале прошлого века «новых» словечек. Так, он до конца дней своих трактор именовал «фордзоном», керосин — «фатаженом», а самолет — только «аэропланом», и никак иначе. Да и автомобиль не стал для него просто «машиной»…

Итак, о волках. Дед никогда не позволял себе сказать, что их было так много, «как мух», потому что не считал приличным хищных зверюг уподоблять этим, хотя и надоедливым, но все же терпимым созданиям.

Особенно, свидетельствовал дед Игнат, опасны волки были ранней весной, когда они сбивались в огромные стаи и «роились» близ станиц и хуторов «як бдчжолы»… Тут, около людей, можно было чем-то поживиться — зазевавшимся барашком, жеребенком или теленком, а то просто беспечной дворнягой. Это сейчас говорят, что волк — «санитар», что он якобы природу очищает от больных и слабых, а тогда волк был не очень грамотным, и не знал таких тонкостей — мел с голодухи все живое.

И вот как-то в такое ранневесеннее время дед Касьян вдруг заметил, что из его «сажка» стали исчезать поросята. К тому времени он отстроился за станицей, у своей мельницы. Живность всякую держал в сараях и кутках, а для свиней строил маленькие дощатые домики «на курьих ножках» (подставках) — «сажки». В морозы их утеплял камышом и соломой, а в погожие дни разбирал утепление, и свиньи дышали свежим воздухом. Сбоку у хлева-«сажка» была дверка, через которую его обитателям меняли подстилку, а впереди — проем в одну доску, в который вставлялся ящик-корыто для корма. Просто и удобно. Самый лучший «сажок», просторный и крепкий, с деревянным петушком на покатой крыше, дед выделил поросной свинье, где она блаженствовала на сухой соломе, что твоя барыня-боярыня. Если в других «сажках» похрапывало по три-четыре «пидсвынка», то в этом — царствовала мать-свинья со своим опоросом.

В ту памятную зиму свинья Хивря подарила хозяину не то шестнадцать, не то восемнадцать розовеньких красавчиков-поросяток, ровненьких, один к одному. Дед Касьян очень

гордился этим опоросом, и если случались гости — непременно показывал им Хиврино потомство, хвастаясь и радуясь ему, как неоспоримому собственному достижению. И вот как-то недели через три-четыре после появления на свет поросячьего поколения дед демонстрировал его куму Тарасу, и тот, дотошная и каверзная душа, посчитал приплод и уличил дружка если не в брехне, то в явном преувеличении: поросят было, допустим, не шестнадцать, или там восемнадцать, а на одного меньше. Дед ему не поверил, пересчитал сам, и не раз, и не два, перетряс солому, и как это было не досадно, кум Тарас оказался прав. Одного поросеночка действительно не доставало.

А был!

Дед плохо спал ночь, на утро еще раз пересчитал своих ненаглядных. Их теперь стало меньше на две младенческих поросячьих души. Задумался дед Касьян. Никто чужой по его базу не блукал, собаки ночью не гавкали... Нечистая сила вряд ли довольствовалась бы одним-другим свиненком... Может, Хивря ненароком сглотнула их? По слухам, за ними, свиньями, это водилось... Только вряд ли: Хивря у него не такая... Но поросят-то не стало, словно их черти с галушками съели, хоть плачь, хоть тужи.

В общем, дед решил устроить засаду. Перед вечером надел старый раздергай-кужушок, валенки, и залез в Хиврин дворец. Устроился поудобней, так, чтобы сквозь щели в передней стенке «сажка» было все видно. Пригрелся у Хивриного бока, и через час-другой стал подремывать. А может, и вовсе заснул. Только в нужный момент его как будто кто в бок толкнул — проснулся и видит, а ночь была «мисячна, зоряна», что по дорожке через сад прямисенько к его «сажку» спокойной трусцой приближается волк. «Эге, — сказал себе дед, — будэ дило...»

Волк между тем подошел к хлеву, остановился и, как показалось деду Касьяну, — усмехнулся, а может, слегка ощерился, показал зубы. «Где ж мои собаки? — спросил себя дед. — Ну, сучьи дети, погодите...»

Волк повернулся спиной к хлеву и дед с удивлением увидел, что внутрь «сажка» через кормовой вырез, прямо по корыту, просунулся волчий хвост, и волк стал им вертеть, как бы подметая пол «свинячьего дворца». Хивря, почувствовав ласковое прикосновение волчьего хвоста, благодушно похрюкивала. Волк настойчиво елозил хвостом, пока не зацепил крайнего поросенка, а, зацепив его, стал подкатывать к корыту. «Так, так, — смекнул дед, — говорят, волка ноги кормят, а хвост у него, видать, и есть пятая нога!»

И спасая родненького поросеночка, дед Касьян крепко

схватил обеими руками волчий хвост, слегка придержал его, а потом стал тянуть на себя. Волк дернул свое «полено» раз-другой и, почувствовав неладное, напрягся из всех сил, стремясь освободиться из цепких дедовых рук. «Сажок» заскрипел и, если бы он был на колесах, или, допустим, на полозьях, то непременно бы волк поволок бы его, как царскую карету...

И тут старый Касьян не выдержал марку: заорал диким гласом, призывая на помощь своих непутевых собак... От великого страха и напряжения с волком случилось неладное, и он опростался жидкой струей, срамные брызги которой, хотя и не обильно, но изукрасили полы дедова кужушка. От неожиданности дед выпустил волчий хвост, и серый разбойник кинулся прочь. Он пробежал саженей двадцать-тридцать и замертво свалился в снег. Откуда-то выскочили «ховавшиеся» (т.е., прятавшиеся) все это время дворовые собаки, кинулись к хищнику, но рвать его не стали, – окружив поверженного врага, они дружно завыли над его бездыханным телом.

— Хвост у волка оказался сильнее его внутреннего духа, — обычно так оценивал дед Игнат эту ситуацию. — Вовцюган подох от разрыва сердца. Дед Касьян после того случая приделал ко всем хлевам дополнительные дощечки, закрывавшие отверстие для корыта, — оно так спокойнее, хотя и менее удобно. И держал у себя впоследствии пару волкодавов — при серьезных вожаках и дворняги храбреют.

А кужушок пришлось выкинуть — волчий дух из него не выветривался и не вымерзал, несмотря на все касьяновы старания. А жалко, хоть и раздергайчик он был старенький и латанный, а все же... И когда дед, бывало, вывешивал его на ветерок, сбегались собаки, какие случались в ближней округе, и остервенело облаивали тот кужушок, потому что он не только пах волчиной, но и зримо напоминал им об их позоре в ту ночь. Их собачье достоинство не могло смириться с напоминанием об этом. Оно, это напоминание, собакам все равно, что пятая нога. Не то, что умному волку, ему она — в дело...

БАЙКА ШЕСТАЯ, про царскую бурду, или не тот охотник, кто в этом деле собаку съел, а тот, с кем «и не то бывало»...

Была у дедова деда в дальнем степном наделе заброшенная кошара, а при ней — небольшая хата. Даже не хата, а так — хатенка. Дед Касьян называл ее по-старому — «курень». А курень, он и есть — курень. Зато в курене том была печь с вмазанным

чугунным казаном, и поздней осенью, а то и в неласковую зиму, здесь на кошаре ночевали касьяновы друзья-охотники. Соберется, бывало, ватага человек шесть-восемь, и айда на ту касьянову заимку. Вдали от станицы дичину пополевать, да и от домашних забот на день другой, а то и на неделю отринуться. Коней, на которых они туда добирались, ставили под камышовый навес, сами располагались в курене. С утра отправлялись кто куда, в основном к заросшей тернами «долгой» балке, в которой всегда можно было встретить где зайца, где лисицу, а то, глядишь, и другую какую живность — птицу там, или даже их ясновельможность пана волка. Охотнику, что ни случай, то — в торбу!

И вот однажды такая ватага охотилась на той дальней кошаре, и застала их непогода, какая случается в наших местах — пошел крупный лохматый снег с дождем, потом посыпала с неба ледяная крупа, и снова — дождь-косохлест, в общем, — семь погод, и все мокрые. Сверху льет, снизу метет, крутит, веет, мутит, сеет...

Дед Касьян с кумом Тарасом и еще с двумя, а может, тремя, друганами-охотниками на тот час оказались на кошаре, а трое или четверо загуляли где-то в степи. С утра подались погонять лис в верховьях той «долгой» балки, а тут такая непогодь, какие там лисы, какая охота!

Наши казаченьки добре натопили тот курень, сварили в казане остатки барана, сели застольничать. Погода вызывала соответствующее настроение, и дружки опорожнили заветный жбан крепкой бражки, настоянной на корешках терновника, и основательно подъели баранину, сваренную и натомленную на медленном огне. Настолько основательно, что сообразили: хлопцам, застрявшим в «долгой» балке, и закусить-то, кроме квашеной капусты да сала, будет нечем. А им ой как захочется горячей щербы-варенины! Резать и варить другого барана, глядя на ночь, никому не хотелось, да и та бражка, что была ими выпита, тоже давала определенный настрой. Веселый и легкий. Известно: у пьяного — черт в подкладке, сатана в латке... Так или иначе, а кому-то пришла в голову шаловливая мысль порубить лежащую под навесом тушу волка, убитого днями, и с которого уже была снята великолепная шкура... Что и было тут же исполнено под общую хмельную радость. Аккуратно нарубленные, аппетитные с виду куски — чем не мясо, чем не баранина?! — были брошены в котел, заправлены луком-цыбулей и прочими приправами. Возрожденный в печи огонь сделал свое дело — очень скоро вода в том казане забулькала, извещая, что дело идет на лад...

Задержавшиеся на охоте мужички-казачки ввалились в курень поздно ночью. Мокрые, усталые и сильно-пресильно голодные. Запалив от лампадки светец, они с радостью обнаружили на столе сулею с брагой, хлеб, сало… Кто-то поднял крышку казана, и оттуда потянуло таким вкусным, что наши охотнички, не раздумывая, тут же приступили к трапезе. После второй чарки было решено разбудить спящих товарищей: «А то как же, мы тут со всем удовольствием, а дружки — спят… Не годится!». Разбуженные «друзья-товарищи» не позволили себя долго уговаривать, и тут же присоединились к общему веселью. И гуляли, пока не опустошили весь казан. При этом щерба из того казана всем на удивление оказалась настолько вкусной, что, по мнению пирующих, такой сладкой вкусни никто из них ни в жизнь не пробовал. Да что они?! Такой еды, пожалуй, и сам царь не едал, ибо ему, царю, его царевы прислужники не в состоянии такую сладить. Куда там: ведь они могут только что ни то заграничное, а наш харч — простой, но необыкновенный. Скажи кому — не поверит, бурда, мол. А она, эта бурда, — царская!

И никто с немалого похмелья и общего восторга не вспомнил, что та «царская бурда» была сварена из непотребного волчьего мяса. Лишь под утро кум Тарас первый вышел из задумчивости, и туго, но все же что-то припомнил, пошел на клуню и убедился: лапы, голова и хвост волчьей туши — на месте, остального – тю-тю, нету… Про свои сомнения шепнул деду Касьяну, и тот его успокоил, что, мол, так оно и было — «царская бурда» сварена-спроворена из волчатины.

— Мы же с тобой его вместе порубали, и то — правда, — напомнил куму наш Касьян. — Только эта правда для нас, что собаке — цыбуля… Так что про то — молчок! А то и нас с тобой с досады съедят, это уж как пить дать!

Впоследствии к деду Касьяну по очереди подходили и другие участники «царского» пиршества, и суть дела в конце концов вылилась наружу. Старый Касьян года полтора отнекивался, мол, да по пьяному наваждению всякое могло быть, но только не «царская бурда», ибо никто не скажет, что была она мерзопакостной, а иного от волчьего «взвара» (компота) ожидать нечего. Потом, за давностью времени, когда обида его друзей, накормленных волчатиной, поистерлась, он негромко сознался, что все это — правда. А что касается вкуса, то, видать, тот волк был осенний, добре упитанный, мясо у той «дичины» было с прожилками целебного жира, от которого и благоухала «царская» снедь, и потребление ее пошло охотникам на пользу, ибо не зря говорено, что каждый и всякий должен в своем деле собаку съесть. А уж коли вовцюгана съели, то такому мужику просто

цены нет!

Дед Игнат, повествуя об этом приключении напоминал, что французы жаб едят, про то он сам дознавался — точно, едят! Оттого они, те закордонные едуны напротив наших — народ так себе, кволый и невзрачный. Не то, что казаки державы Российской. Что уж тут говорить: наши вон волка схарчили! И не заметили...

БАЙКА СЕДЬМАЯ, про Касьянов и Касьяновичей в роду нашем — казаков, весьма склонных к приключениям

Так уж повелось в роду нашем, что испокон веку с Касьянами у нас всегда всякие истории приключались. С ними и с ихними детьми — Касьяновичами. С внуками уже нет. Видно, все их «касьянство» перебраживает в материнских кровях. Но если среди внуков появляется Касьян — все повторяется снова. Так шло до конца прошлого века. В конце нынешнего, двадцатого, в роду нашем Касьянов нет. Перевелись. А вернее — искусственно пресеклись, ибо стали наши родичи имени того чураться.

А первый Касьян, о котором сохранилась у дедов наших какая-то память, жил на Полтавщине где-то в середине (а может, чуть раньше) благословенного «осьмнадцатого», как тогда говорили, столетия. И состоял тот Касьян в Запорожском войске еще до того, как оно стало Черноморским и переселилось на дарованную царицей Катериной ему, этому войску, Кубанскую землю. Привольную и богатую...

Так вот, по преданиям, стародавний тот Касьян был отчамахой и паливодой[2], человеком шустрым и дюже проказливым, и даже бунташным. Ежели на других Касьянов приключения сыпались как-то сами собой, по прихоти свыше, то наш Касьян их искал и находил, хотя, конечно не без вмешательства все тех же сил необъяснимых. За отдельные провинности супротив писанных и неписанных казацких законов он неоднократно бывал подвержен разного рода наказаниям, о существе которых дед Игнат путем не знал, и внукам своим, то есть нам, особенно не распространялся. Но вот последнее из них в житии того Касьяна крепко врезалось в память последующих поколений, и о нем наш дедуля редко, но все же повествовал. Дело в том, что легендарнейший из дедов наших, тот самый Касьян, за активное участие в каком-то незнатном бунте приговорен был не то отцами атаманами и братьями войсковыми судьями, не то самой радой казацкою, к высшей мере — повешенью на перекрестке дорог. В назидание прочим смутьянам

и заводилам. Как говорят, кому мука, а другим наука.

Палачей-вешателей в казачьем вольном войске не было. Никто не хотел, да и не должен был брать на себя такой грех. Приговор приводил в исполнение сам осужденный: его подвозили под виселицу — «шибэныцю» — на неоседланном коне, «охлопью», он сам надевал на себя петлю. Сопровождавшие стегали лошадь плетьми — она, само собой, рвала вперед, и приговоренный заканчивал свое бренное земное бытие под перекладиной... Но было два нерушимых правила: если веревка не выдерживала и под тяжестью сердешного смертника обрывалась или развязывалась, а он при этом оставался жив, — еще раз его вешать не полагалось... И второе — если по пути к той «шибэныце» к процессии выходила дивчина и объявляла о своем желании выйти замуж за висельника («шибэныка»), то он смертной казни не подвергался...

И вот, когда нашего Касьяна сопровождали на казнь, на дороге возникла женская фигура в белом саване. То была как раз дивчина, пожелавшая взять приговоренного себе в мужья. И что же наш баламут Касьян? Он подъехал на коне к той дивчине, приподнял у нее на голове белый саван, поглядел на ее лицо, опустил саван, и, сплюнув, изрек, что лучше принять безвинную смерть и предстать пред судом Божьим, чем всю остатнюю жизнь провести с такою страхолюдною бабой... Есаул махнул рукой и скорбная процессия двинулась дальше.

— Ну и дурный же ты, Касьян, як сало бэз хлиба, — сказал ему один из конвоиров. — Жинка нэ стинка! Можно и отодвинуть…

Касьян вздохнул и опустил голову. Казак, он задним умом крепок.

А дальше все повторилось. Бог, как говорится, не без милости, а казак — не без счастья. На выезде из села, откуда-то из-за огородов белая женская фигура снова появилась на дороге. Настырная, видать, была та молодуха, хоть лицом-обличьем не взяла.

— Ну что ж, — сказал Касьян, — кому не судьба быть шибэныком, тому, видать, другое предписано наказание...

Однако брак непутевого Касьяна со «страхолюдной» дивчиной стал для него не Божьим наказаньем, а подлинным спасеньем — он перестал бражничать, искать на свою голову приключений, судя по всему, увлекся домовым хозяйством. Был он, по преданиям, мастеровитым, умел все делать сам. А у нас как: тот господин, кто умеет все делать один. А если труд — в радость, то и жизнь — счастье. Жинка же его на зависть всей округи оказалась страсть плодовитой: она, что ни год-полтора,

одаривала Касьяна, как говорят, если не двойней, то хотя бы одним, — чаще хлопчиком. Ну, может изредка — дивчинкой. А от материнского счастья она подобрела и похорошела. Не зря же люди говорят: не родись красивой, а родись счастливой...

Было у них тех хлопчиков, только выживших и выбившихся в люди, не то двенадцать, не то больше. А уж внуков — и сосчитать невозможно. И все они были, по заверениям деда Игната, казаками добрыми, службу несли исправно, строго поддерживали наш семейный завет: не пить и закусывать, а есть и запивать... Случалось, не без того, что кто-то из них приходил с гулянки до родной хаты без шапки или с расквашенным носом, но чтобы выйти за межу совестливости и послушания старшим — того ни-ни... И еще: тот стародавний Касьян любил называть своих сынов Касьянами. Когда его спрашивали, зачем ему в семье третий или четвертый Касьян, он с ухмылкой отвечал: один Касьян — не Касьян, два Касьяна — пол-Касьяна, а уже три Касьяна и есть настоящий Касьян на долгие-предолгие годы...

Кто-то из тех бесчисленных Касьяновых внуков пришел на Кубань с атаманом Саввою Леонтьевичем Белым[3]. Они поселились в низовых станицах — от Катеринодара и до Темрюка с Таманью. А те, что год спустя добрались сюда с атаманом Харьком Чепигой[4], — в основном обосновались выше по течению нашей славной реки, по ее правому берегу...

И до того много расплодилось нашей фамилии, что куда ни ткнешься, — везде напорешься на родню, особенно дальнюю. Хотя сейчас пошли такие родичи, что не признают родства. Мы, говорят, однофамильцы! Так это на их совести пусть будет: «фамильцы» то они «фамильцы», а все ж — «одно»! Может, седьмая, а то и семьдесят седьмая вода на киселе, как говорится, черт козе дядько, а все ж свой, сродственник...

Дед Игнат часто повторял, что он обязательно читает фамилии захоронений в братских могилах. При этом он редко когда не натыкался на нашего вроде как бы однофамильца, а скорее — сродника. А так же, насколько он знал, на еще более отдаленного родича по материнской, как говорят, линии. Или кто-то на ком-то был женат, или кто-то кому-то кум-сват. Поглядишь, говаривал он, и подумаешь, что в той войне на всех наших поруха пришла. Ан нет, и в числе ныне здравствующих их предостаточно. Видать, и вправду казацкому роду нет переводу...

БАЙКА ВОСЬМАЯ,
про детские забавы сынов Касьяновых, от которых у них, случалось, чубы трещали

Дед моего деда, «старый» Касьян, женился после службы, когда ему было под пятьдесят, по понятиям того времени — очень поздно. Это мужчины из панов и бар-помещиков считались хорошими женихами после сорока пяти, когда у них чины «подходили», накапливалось какое ни то состояние и т.п. Простые шли под венец рано — лет в 16–18, а девчата выскакивали замуж и того ранее. Казацкая семья спешила обзавестись сыновьями, ибо на каждого хлопчика полагался земельный надел — «пай», а он для казака-кубанца был «все» — и справа, и страва, и его казна и достаток, и все остальное.

До женитьбы дети считались детьми, независимо от возраста, хотя с шести-семи лет гарцевали на конях, участвовали во всех домашних работах, невзирая на их сложность и тяжесть. В свободное же время им, как и любым детям, дозволялись умеренные шалости. А Касьяновы дети отличались не только живостью, но и неудержимой изобретательностью, особым рвением по части сумасбродств.

— Ну что у нас за дети такие, — сокрушался «старый» Касьян. — У людей дети как дети, а у нас байстрюки какие-то, анчутки и анцыбулята. И в кого они такие удались? Не пойму[5]…

При этом он, естественно, забывал о днях своего далекого к тому времени детства, когда и ему за то, что любил колобродить, перепадало то лозиной, то «хлудом», а то и кием, то бишь палкой… Ну, а в кого они «удались», то что тут скажешь? Бык и теля — одна родня…

Было у того «старого» Касьяна три хлопчика, один от другого на год-полтора младше, но где-то летам к десяти та разница стала стираться. Старший, тоже Касьян по прозванию, был заводилой всяких ребячьих происшествий. О самом раннем из их деяний, когда хлопчикам было годов по 12–13, сохранилась память, и дед Игнат повествовал нам эту историю с удовольствием, позволяющем подозревать его предвзятое одобрение той шалости своих, а значит, и наших почтенных предков.

В ту неблизкую нашим дням пору частенько можно было встретить чумацкие обозы — ватаги возчиков-чумаков, перевозивших на волах разные товары. Это сейчас их возят по железной дороге или автотранспортом, а в те времена грузили соль, рыбу, зерно и все другое, потребное для жизни, на возы, и волы неспешно тащили все это по чумацким шляхам и проселочным дорогам в разные места.

Такой обоз двигался медленно, волы шли со скоростью усталого пешехода, но они, эти самые волы, были очень выносливым, сильным тяглом, спокойным и надежным. Как

говорится, медленно, но верно.

По кубанским дорогам чумаки обычно двигались вечерами и по ночам, отдыхая в жаркое время где-нибудь у речки или колодца. Пути чумацкие, им, чумакам, хорошо известны, исхожены, истоптаны, так что заблудиться им никакой угрозы не было, даже в темнющие южные ночи. Один такой накатанный шлях как раз и проходил через нашу станицу. Главная улица бурьяном не зарастала — по ней то и дело проезжали обозы, да и станичники, куда-либо едучи, норовили выскочить на шлях, более-менее прямой и широкий. А широким он был не только потому, что спасал станичников от пожарного наветрия, а скорее по другой причине. Дорога не была мощеной. Одна-другая гарба проедет, растолчет землю в пыль, и первый же дождик превратит пыляку в непролазную грязь. Приходится прокладывать новую колею, а для этого нужно было пустое место. Бывало, к зиме так разъездят тот шлях, что он кажется широкой грязевой речкой. Весной та «речка» высыхала, но под копытами тягла и тележными колесами очень скоро превращалась в мягкую пылевую перину.

Вот наши хлопчики и забавлялись частенько тем, что сгуртовавшись со станичными подростками, где-нибудь под вечер сгребали ту пыль в бугры и валы, и выстраивали их в два-три ряда поперек наезженной части дороги. Задержавшийся в поле станичник, возвращаясь к ночи домой, и уже предвкушавший конец трудового дня, врезался своей гарбой в такой бугор, застревал в нем, чертыхаясь, слезал, помогал коням вытащить телегу из пыляки, а через минуту-другую его приключение повторялось. Не подозревая в этих деяниях злого умысла, добродушные станичники сетовали на «несмышленышей», заигравшихся на шляху, и вроде как бы не ведавших, что творят…

А «несмышленыши» между тем заприметили сохнувшие вдоль забора дрова — выкорчеванные во дворах и иных местах пни, и быстро сообразили, что это — прекрасный материал для «шутки», более затейливой и более злой. И однажды к вечеру, увидев приближающийся к станице чумацкий обоз, ватага подростков по сигналу нашего Касьяна кинулась к этим пням и, молодецки поработав, на дальнем конце квартала соорудила поперек шляха ограду. Да не прямую, а по дуге, так, чтобы у нее не очень были заметны стыки с «хозяйскими» заборами-плетнями, перед которыми годами сохли те самые пресловутые дрова. Недостающие для стройки пни хлопчики таскали с соседних улиц. Дурное дело — нехитрое…

Закончив стройку на дальнем конце квартала, они перебежали к его началу, где и залегли в бурьяне и канавах, со злорадством наблюдая, как в надвигающейся ночной тьме

чумацкий обоз медленно и торжественно втягивается в ловушку. И как только последняя гарба прошла мимо, — они с таким же радостным возбуждением воздвигли стену с тыла чумацкого обоза.

Волы головной гарбы между тем упирались в преграду и останавливались. Это делали и все остальные, наткнувшись на впередистоящих. Передний возница окликал своих волов, понукая их к движению, но и «цоб», и «цабэ» стояли, как вкопанные. Стегнув их для порядка хворостиной, хозяин соскакивал с гарбы, подходил к препятствию, ощупывал его.

— Шо за чертив батько, — говорил он подошедшему товарищу, — с дороги вроди не сворачивали…

В кромешной тьме южной ночи разобраться, в чем дело, было нелегко. Дорога знакомая, пройденная не раз и не два, и заподозрить что-либо необычное — просто невозможно. Чумак брал налыгач, поворачивал волов вдоль стенки и возвращался на место:

— Цоб… Цабэ![6]

И умные волы послушно двигались поперек запыленной улицы, тем более, что она была шире иной городской площади. Идут себе и идут. Идут, пока чумаки не сообразят, что катаются по кругу, и где теперь тот перед, а где тот зад — не понять, не угадать…

Можно только предвидеть излияния их чувств, когда они, бывало, с рассветом поймут, что до чего и в чем заковыка…

Так что когда дед моего деда поругивал своих шустрых «анцыбулят», обзывая их не очень лестными словами, — доля его правоты в том была… Они заслуживали и большего. До особых, тем более жестких «мер пресечения» обычно не доходило: «старый» Касьян, как большинство стариков, в тайниках души умилялся шалостям своих «анчуток», во многом повторяющих дни его отдаленного детства, и справедливо полагал — придет время — перебесятся.

Дед Игнат, повествуя нам, своим внукам, о проказах пращуров наших, со вздохом подводил такой итог этой, не совсем веселой, но все же забавной байки:

— Ото ж така була у ных семинария, бурса и академия…

БАЙКА ДЕВЯТАЯ, про Ивана Купалу и царя над цветами Траву-Папорот

Повествуя о временах давних, дед Игнат не забывал напомнить, что «тоди», то есть «тогда» — было превеликое

множество всякой «нечистой» силы, порою злой и опасной, а большей частью — просто проказливой, а подчас и доброй или нейтральной, живущей сама по себе. «И куды воно все подевалось? — сокрушался дед. — А було ж…».

Впрочем, дед признавал, что немалая часть той нечисти была надуманной, предназначенной для припугивания расшалившихся чад. К примеру, детям говорили, что по полям ходит «бабушка-огородница», в руках у нее — горячая сковородка, на которую она сажает детей, ворующих с полей-огородов зеленый горох и другие несозревшие плоды-ягоды… Чепуха, конечно, дед это знает по собственному опыту. Или совсем уж маленьким детишкам, чтобы их как-то унять, говаривали: тише, а то хока придет! И ребенок замолкал. А что оно за «хока» такая, никто не знал и знать не мог, потому как «хока» и есть «хока» и ничего больше. Все одно, как и «бабай» — страшный дед, якобы шатающийся по вечерам промеж хат и прислушивающийся, кто из детей не спит, старших не слушается, балуется, и «неслухъянных» забирает с собой. Так, одна агитация и пропаганда, а попросту — брехня. Но полезная: глядишь, «яка дэтына» и угомонится…

Но была, по уверениям деда Игната, и подлинная нечистая сила, действия которой ощущались людьми зримо и незримо. Еще совсем малым хлопчиком он сам видел, как в болотных зарослях что-то зашебуршилось, а потом с криком взлетело, плюхнулось в воду и пропало, «як його нэ було». Игнат дал деру, а дома ему сказали, что-то был не иначе, как анчутка — маленький чертенок, которому волк откусил пятку, и поэтому он сам всего боится, а если кому и вредит, то по мелочи — лодку раскачает или неожиданно остановит посреди речки, а то рядом с рыбаком «забулькотит, забулькотит, тай сгине…».

По словам деда Игната такая «малая» нечистая сила была очень обильной. Чего-чего, а этого хватало. Тут «чур» и «хватало», «сарайник» и «русалки» разного сорта, «вий», «водяные», оборотни. А то еще был «Переплут» — дедуля добрый и большой любитель поесть и выпить.

Батько кума Тараса рассказывал (а он брехать не станет), что, когда он служил на кордоне, к ним как-то в «Пэтривку» (Петров пост) «залучився» дедок, маленький росточком, седенький, с длинными усами, босой и в соломенной шляпе. Слово за слово, сели обедать, пригласили того деда отведать, что Бог послал. Дед повесил свой соломенный брил (шляпу) на ближайший куст, примостился к столу, покачал сивой головой:

— Что же это, хлопци, у вас харч такой скудный? — Так пост же, дедуля, — напомнили ему служивые. — Вы ж при боевом деле, — не согласился гость. — А я — хворый…

И достал из оклунка «чималый шмат» сала, пригласил хозяев. И батько кума Тараса заметил, что сколько бы дедок не отрезал от своего шматка, он, тот шматок, не уменьшался. «Шо за наваждение, — подумал казацюга, — то ж нэ можэ будь!». И, как при всяком наваждении, перекрестил дедов шмат коротким крестом. И что ж тут случилось! Тот шмат вспыхнул синим пламенем и молниеносно сгорел. Как порох – ш-ш-ших, и нет его! Оторопевшие казаки побросали было взятые куски того сала, мол «хай йому грэц!». А кто успел-таки его надкусить — выплюнули, почуяв во рту пакость и скверну. Оглянулись — где же дедок, а того и след простыл. Сгинул, как вроде его и не было.

Только на кусте телепался его соломенный бриль, и тот на глазах у всех затуманился, затуманился и растаял, как табачный дым..

Потом казаки прознали-таки, — добрые люди надоумили, что у них на кордоне по всем признакам побывал дед Переплут — добрая, но все же нечистая сила.

— Да, — говаривал дед Игнат, — в старовину много было и слухов, и баек про нечистую и получистую силу, откуда что бралось. Ни в одной газете не прочитаешь, ни по какому радио не почуешь. Все те же слухи разбегались по людям сами собой, видать, при помощи все той же нечистой силы. И было в году два праздника, когда все эти силы любили табуниться, веселиться и строить всякие проказы. А с ними якшался и наш брат — грешный человек. А чего не попраздновать и не принять хмель на душу, пускай даже и на чужом пиру. Один такой праздник случался зимой, в самые длинные ночи — на Рождество Христово и до самого Крещения, а то и дольше, насколько кого хватит. Шли святки-колядки — веселились без оглядки. Ряженые хлопцы и девчата перепутывались с настоящими анчутками и бесенятами, не отличить, кто из них кто… Играли и гадали, и общение с той нечистой силой, хотя и было греховным, но не считалось особенно предосудительным…

Другой, не менее знатный праздник такого рода был посреди лета, в самые короткие ночи — на Ивана Купалу. У нас его любили не меньше, чем зимние колядки, потому что народ — он всегда подурачиться рад, а тут это можно было делать, как и на Рождество, без огляду и всякого сомнения.

Кто он, тот Купала, говорил дед Игнат, никто не знал, забыли по давности его бытия. Но то был Иван, а значит, наша «людына». Вот только почему к нему цеплялась вся эта нечистая сила? А подумать, так ведь к кому она не прицепится, вилы ей в бок!

Вместе с тем, Иван Купала по-старопрежнему был праздник как бы церковный, христианский, ибо это был день рождества

Иоанна Крестителя, который самого Иисуса Христа крестил в Иордане. Крестил, значит — купал, а по простым понятиям, это и было главным содержанием праздника. «Креститель», «купала» — все смешивалось в эту ночь — и игра, и суеверие, и крестная, и нечистая сила…

Как и на Рождество, все местные ведьмы собирались на Ивана Купалу в кучу, и уж что они там вытворяли, как куролесили-бесили, мало кому ведомо. Одно только было известно точно: проводили они время с самими чертями. Другая нечистая сила тоже выползала из своих постоянных обиталищ и включалась в общее торжество. Особливо, если ночь была теплая и звездная, а она на Ивана Купалу, можно сказать, всегда была именно такая.

На Ивана Купалу собирали впрок целебные и чудодейственные травы и коренья, ибо все они к этому времени набирали наивысшую силу и значимость. Тут был и Петров крест, которого смертельно боялась вся нечистая сила, и чернобыль-трава, дающая здоровье доброму христианину, стоит лишь вплести ее в косу и с наговором положить возле хаты, и чертогон-чертополох — важнейшее средство от чертей и колдунов, и зяблица от бессонницы и младенческого крика, и многое, многое другое, известное всем и неизвестное никому, кроме особливо отмеченных знахарей и знахарок, травников и травниц.

Но особенно любил дед Игнат рассказывать про «траву-папорот», то есть папоротник, как исказили-переиначили его имя нынешние люди. Сам папорот зародился от Солнца. Как рассказывают те же знахари-травники, когда-то, во времена допотопные, Сатана, старший чин над чертями, озоруя, стрельнул из дробницы по самому Солнцу. И, видать, попал, потому что упало с того Солнца три капли крови, они проросли и появилась трава-папорот. От того его сила, могута и власть. Раны на Солнце зарубцевались, но остались пятна, в чем каждый может удостовериться, и даже в постный день, будь то среда или пятница.

Однажды, помню, дед Игнат откуда-то принес целый куст этого замечательного растения. Из загадочного пучка коричневой шерсти как орлиные крылья взметнулись вверх на половину дедова роста большущие перистые листья, а рядом, словно враставшие на дыбы змейки – завитки еще не распустившихся веток. Как отличался он, этот куст, от повседневной травы-муравы, придорожного бурьяна, или даже от благородных цветов — панычей или чернобривцев с дворовой клумбы. Он дышал рыцарским благородством, необъяснимо источал волшебство, пах чем-то древним, непостижимым, таинственным…

Дед Игнат утверждал, что цветет та трава-папорот очень

редко, раз в семь, а может, и в семьдесят семь лет, пригадывая к святым праздникам — на Пасху, например, или еще когда. Но чаще всего и обильней цветы папорот-травы появляются в ночь на Ивана Купалу, именно такой «купальный» цветок и обладает всей полнотой силы. Кто сподобится найти и сорвать его, — тому открываются все тайны, ему подвластно все. Он понимает любую речь, будь то человек, зверь или птица. Он видит сквозь землю и сквозь стены. Он может исцелить любую болезнь, найти любую пропажу, любой клад. Кстати, на Ивана Купалу цветок папоротника вспыхивал красным огоньком – если поблизости находился заговоренный клад, и это придавало чудеснейшей траве-папорот особую ценность.

На хуторе Гунявом, что за станицей Старо-Джерелиевской, жил свояк деда нашего деда. Так вот, сын того свояка, хлопчик годков одиннадцати-двенадцати, пошел как-то к вечеру в Кучерявую балку — искать пропавшего теленка. Бродил он, бродил по той балке, и оказался в совсем незнакомом месте, заросшем кустарником и бурьяном.

Уже стемнело, и ему вдруг стало «сумно», если не сказать и вовсе страшно. А тут еще что-то в терновнике «замыгыкало», заухало, и он с перепугу дернул из той балки прямо через кусты наверх. Но, как он потом рассказывал, не пробежал и десяти шагов, как на душе у него стало покойно, и в голове ясным-ясненько, что его бедное «теля» за тем вот бугром и беспокоиться не о чем. Он быстро разыскал свою животину, и погнал ее домой. Напрямик, без дорог, по каким-то ранее неведомым ему тропам, как будто что-то ему подсказывало, что надо идти так, а не иначе. Спугнул в одном месте дремавшего под кочкой зайца, который скакнул в сторону и, как показалось хлопчику, подумал: «и чего этот человек не спит, а бродит тут по ночам?».

И когда приблизился к родному куреню, то услышал собак, и те лаем своим сказали ему, что рады его возвращению, а корова, увидев теленка, ничего не сказала, но подумала, что как хорошо, что все это закончилось так хорошо…

Войдя в хату, уставший хлопчик быстро скинул чоботы и бросился на солому, на которой покатом спали его братики и сестрички.

Утром рассказал отцу и матери о том, как он разыскивал пропавшего теленка, как он заблудился в той Кучерявой балке, и как ему вдруг стало ясно, где находится теленок, и о чем он думает, и как он быстро добрался до хаты, неведомо откуда зная все на свете — и дорогу, и о чем думает зайчик, и о чем кричала шулика…

— Эгеш, — подумав, сказал его батько. — Значить, тоби було

всэ ясно? И ты всэ знав и понимав? — Знав, — подтвердил хлопчик. — Раз так, неси сюды лозину, я тебя учить стану. Шоб ты в другый раз меньше знав, а больше робыв! И свояк объяснил своему пацану, что сегодня — Иван Купала, и ночью цвела чудо-трава-папорот. И когда он, хлопчик, «с пэрэляку» продирался сквозь кусты, такой цветочек, а он маленький-премаленький, с маково «зернятко», упал ему в чобот, за голенищу, и он, хлопчик, с той минуты как бы прозрел, и стал «все знать». А скинув чоботы, когда ложился спать, потерял в соломе тот волшебный цветок, и теперь знает не больше, чем все…

А нужно было дождаться утра, расстелить на земле скатерть, помолясь, очертить ее кругом крещатой цуркой, и, осторожно сняв обувь, перебрать на той скатерти каждую былинку-пылинку. И найдя папорот-цвет, положить его на «долонь» (ладонь), затем острым ножичком подрезать на бугре у большого пальца кожу, загнать туда цветок и залепить ранку воском от пасхальной свечки. И блюсти тот цвет до последних дней своих. И тогда никакая «лыха годына» не будет тебе страшна…

Само собой, что все купальские праздники не обходились без братьев-касьяновичей, их выдумок-фантазерства. К примеру, то же пускание с бугра прямо в речку колес, обернутых паклей, пропитанной смолой и дегтем. Пакля зажигалась, и огненное колесо на потеху всему «обчэству» летело в ночи, разбрасывая огненные «шматки», а потом шипело, угасая в воде. Разогнать его и придать правильное направление — тоже нужны были «догад» и хватка… Или сотворение высочайшего костра на берегу все той же речки, чем выше, тем почетнее. В нашей безлесой местности дело это было непростым. Опять же выручала смекалка. Из хвороста и камышевых кулей связывались длиннющие «драбыны» (лестницы). Установив их стоймя, подпирали такими же «драбынами», заполняли окна образовавшейся башни жгутами из соломы. Ах, как здорово горели такие костры! А если их было несколько, то зарево от такого пожарища было видно за много верст.

Частым развлечением в ночь на Ивана Купалу было больше жестокое, чем остроумное «лякание», то есть пугание, наведение страха на случайных прохожих. Братья-касьяновичи со своими наиболее преданными друганами мазали лицо сажею, напяливали шляпы и юбки из куги и рогоза, и залегали в придорожном бурьяне, имея при себе выдолбленные из засушенной тыквы «головы» с прорезями на месте глаз и носа, и зубастой пастью. В нужный момент внутри этой головы зажигался свечной огарок, и по сигналу вся ватага высыпала из засады, и с воплем и диким хохотом окружали жертву, приплясывая вокруг

нее, дергая ее за полы и щипая, а затем столь же стремительно исчезала, погасив свечи и затаившись в бурьяне до следующего прохожего…

Но легендарнейшей вершиной купальского бесовства стал «вогонь папорот-травы», устроенный однажды шаловливой станичной братвой. Стекла обычного закрыли красной тряпкой, и вся банда в тех же одеяниях, что при «лякании» прохожих, вооружившись длинными хворостинами, вышла за станицу, где у «солодкого» (сладкого) колодца в теплую летнюю пору обычно ночевали проезжие торговцы, прасолы или какая другая публика. Отойдя от колодца с полверсты, наша веселая братия залегла в тернах. Ближе к полуночи к колодцу подъехал на коне один из братьевкасьяновичей. Напоив коня, завел разговор с «постояльцами»: «а чи не видели рябу корову, отбылась, сатана…», про то, про се… И как только вдали загорался условленный заранее красный огонек, обращал на него внимание собеседников: «не иначе, як папорот-трава!». Тут же было произнесено и манящее слово «клад»! И в компании нашлось три-четыре храбреца, решивших попытать счастья.

А огонек между тем не стоял на месте – он смещался вправо-влево, исчезал и снова появлялся на прежнем месте. Как тут устоять, когда клад — вот он, «живой», рядом, рукой подать! Страшновато, конечно — кто не слышал, что он охраняется нечистой силой?!. Да уж так ли страшен черт, «як його малюють»! Ну, а если с оглядом, осторожно, обережливо… А потом же — Бог не выдаст, свинья не съест… Опять же — КЛАД! КЛАД!..

В этом месте свого рассказа дед Игнат обычно переводил дыхание, разгладив бороду, замечал, что в натуре клады все же бывают настоящие, а не воображаемые. Да про то он еще расскажет, «дийдэ ряд»…

Итак, что же было дальше? А вот что…

Убедившись, что дело пошло, как задумано, хлопчик-наводчик, пробормотав что-то про свою пропавшую рябую корову, исчез в темноте. Да и до него ли тут было, когда, гляньте, вон, совсем рядом, алеет магический цветок папорот-травы!

И смельчаки устремились к заветной цели, замедляя шаг по мере приближения к ней. Тем более, что в ночной темени не очень-то видны рытвины, ямки и бугры… Затаив дыхание, ждут их залегшие в бурьяне «хранители клада».

Им тоже страшно, — как никак, соприкасаются с делами сатанинскими. А что б вы думали: вдруг она, та самая нечистая сила, тьфу, тьфу, что б ей было неладно, и сама всполошится… Но вот первый претендент приблизился к заветному месту, за ним шли остальные. Главный «распорядитель», а им, конечно же,

был наш Касьян Касьянович, гасил фонарь и оглушительным свистом подавал сигнал всей братии к встрече любителей дармовых кладов. Дружина выскочила из кустов и с дикими криками налетела на остолбеневших незнакомцев. Кто-то из них падал на землю, другой — дай Бог ноги — старался как можно проворней удрать с окаянного места. Упавшего не трогали, убегавшего старались «достать» хворостинами, но далеко не преследовали, а по тому же сигналу исчезали с поля «боя», чтоб собраться в условленном месте…

Вот так веселились и «шутковали» в своей ранней юности наши достославные деды и прадеды. И не приведи, Господи, чтобы вы, их внуки и правнуки, повторяли их потехи, ибо всему — и хорошему, и так себе, — есть свое время и свой час.

Оно, может, и хорошо, говаривал дед Игнат, что та старинная нечистая сила сама собой кончилась, безвестно сгинула. Видать, что не делается, все к лучшему…

БАЙКА ДЕСЯТАЯ, про год невезучий, семерых Касьянов, и про все такое прочее

Не все проказы и шалопайства братьев-касьяновичей кончались благополучно. Бывало всякое. Как говаривал дед Игнат, не все коту масленица, бывает и Великий пост, не все собаке в рот, бывает и в лоб… А на всякую удачу бывает своя незадача.

Вздумал как-то самый заводной из них, тех братьев, Касьян «молодой», соорудить крылья и попробовать на них полетать. Слышал он от приезжих на мельницу казачков, что такое где-то уже было, и вроде даже не раз. Тут главное, чтобы те крылья были по мере, и чтобы ими научиться «править». Он измерил длину голубя — от головы и до хвоста, и длину его крыльев. Оказалось, что птичье тулово немного короче крыльев. У «горобця» (воробья) был тот же фокус. Так что с «мерой» было почти все ясно… Вместе с братом Спиридоном изготовили две рамы подходящего размера, обтянули их бычьей шкурой. Получились «дужэ цикави крыла» — широкие у основания и сужающиеся к концам. С внутренней стороны у них было по две петли — в ближние просовывались руки, а за дальние надо было держаться. Для того, чтобы крылья не спадали с рук, ближние петли стягивались двумя «учкурами» (шнурами) на спине «летуна» и на груди.

— Добри булы крыла, — подчеркивал дед Игнат, который сам их, естественно, не видел, но в детстве «бачив» постолы,

сделанные из той бычьей шкуры, что некогда служила их главной частью. Чувствовалось, что он и сам был бы не прочь взмахнуть теми «крылами», да и улететь… Куда? Не важно, куда… Важно улететь…

Оставалось научиться ими «править». Как наши хлопцы не приглядывались к летающим созданиям, — разгадать их секреты «на погляд» не удавалось. Дело решить могла только практика… Не получив ожидаемого удовольствия от спуска на тех крыльях с забора и ворот, братья присмотрели высокую крышу мельничного сарая-склада, откуда и совершили последние в их испытательной страде прыжки«полеты».

Касьян, сделавший это первым, «стрыбнув» с разбега, и удержал крылья в нужном положении, почему, вероятно, его опыт оказался относительно удачным. Спиридон же, прыгнувший с самого края, крылья должным образом не расправил, и приложился к матушке земле весьма крепко, сломав при этом ногу. И, хотя срочно призванный за чарку доброй терновки костоправ и сказал Касьяну-старшему, отцу «летунов», что все будет «ладом», и рана «засвэрбыть як на собаци», — Спиридон с полгода ходил с костылем, а хромым остался до конца жизни.

Касьян-старший, раздобрев от той терновки и несколько успокоенный прогнозом костоправа, решил все же наказать главного конструктора тех «крыл», а посему и главного виновника случившегося — Касьяна-младшего.

— Шо ж ты надумав, анцыбуля, с Богом спорить? Раз Бог нэ дав нам литать, то не следует того и делать! Сын в свое оправдание привел соображение, что Бог создал человеков по своему образу и подобию, а сам онтаки летает…

— Так то ж ангелы бесплотные, нэвира! — возмутился Касьянстарший. — Бачь, какой бычок, с божьими ангелами себя ровняет! Смотрю, тебя не вразумишь, так шо нэ прогневайся, бисова анчутка, ложись на лавку, а я пошел за батогом — так воно будэ лучше. Касьян-младший не стал ждать обещанного «лучшего», и пока батько ходил за кнутом, выскочил за перелаз и «сховався» в бурьянах. К вечеру сестра Настя нашла его и передала кое-что из съедобы и старый кужух, чтобы братику не было холодно. А на другой день сообщила, что опасность минула: «батько поехал в Гривенскую по рыбу и наказал сыну вернуться до домой, пока вин там, в бурьянах, коростой не покрывся…».

Вторая печальная истории приключилась в том же году и опять же имела отношение к «крылам», но только мельничным. Повествуя об этих событиях, дед Игнат обычно говаривал, что тот несчастливый год был, скорее всего, високосным, а такие годы, как известно, приносят несчастья. И виноватят в том Касьяна, чей

день празднуют 29 февраля — один раз в четыре года. В святцах, уверял дед Игнат, тех Касьянов, прости, Господи, мала куча. В мае, к примеру, по разным дням раскидано трое, да еще по одному в июне, августе и октябре.

А вот в бедах-напастях виноват один — февральский. Потому как высунулся, наставлял нас дед, первым из всех Касьянов полез на люди со своей святостью. И пошло: Касьян на что ни глянет — все вянет: Касьян завистливый, Касьян злопамятный, Касьян скупой... А правды в том — как в решете воды. И 29 февраля тут не причем: в этот день вместе с ним, тем первым Касьяном, в церквах поминают еще трех или четырех святых, и никто не берет на себя грех их за что-то виноватить. Святые, как святые, вечная им память... А теперь о втором приключении. Среди разных забав у подростков, гуртовавшихся около ветряка, была особая азартная игра. Иногда ветер был настолько слабым, что еле-еле крутил мельничные крылья, и тогда хлопцы по очереди хватались руками за конец крыла и вместе с ним медленно поднимались вверх на сажень-полторы от земли, после чего отпускали крыло... И, как во всякой компанейской игре, был здесь свой интерес: кто поднимется выше? Ясное дело, что этого добивался тот, кто был похрабрее, половчее. А кому из ребят хотелось ударить в грязь лицом, оказаться худшим, последним? Как говорится, знай наших, и куда конь с копытом, туда и жаба с хвостом...

Забаву обычно прекращал кто-нибудь из взрослых, разгоняя игроков незлобивой бранью, что не мешало им вновь и вновь собираться на эти небезопасные состязания.

И вот однажды та «игра» приняла особенно напряженный характер. Среди ее участников оказался «приблудный» паренек, то ли сирота, то ли сбежавший из дома и прибившийся к станице хлопчик. Где он ночевал, никто не знал, тем более, что в летнюю пору под любым кусточком был и стол и дом. А был он не меньшим отчамахой, чем другие казачата, и они охотно принимали его в свой «кагал». Так вот, этот паренек начал в «игре» первенствовать и большей частью, выходить победителем, и когда Касьян-младший вдруг по общему признанию на вершок-другой перегнал его, тот в азарте кинулся к крылу и схватил его не так, как все хватали до него — рука возле руки, а пальцами «в замок». Вот он достиг достаточной высоты, тут бы ему и отцепиться от крыла, но пальцы налились, и он разомкнуть их быстро не смог и пошел выше и выше. Порывом ветра крыло тряхнуло, парень сорвался, попал под удар следующего крыла, его отбросило в сторону и вонзило головой в землю. Сбежавшие к месту происшествия взрослые спасти его уже не смогли — весь изломанный, он тут же на глазах у всех скончался.

Трагедия завершилась генеральной поркой всех ее участников, чтобы поняли «бисовы души», как говаривал дед Игнат, чего можно, а чего не можно, и впредь знали пределы шалопайства.

Наибольшему же наказанию-испытанию подвергся сын кума Тараса — Сашко, вообще не причастный к катанию на крыльях «млына» в виду своей уже допризывной великовозрастностью! Дело в том, что когда настало время хоронить того хлопчика, станичный поп отказался его отпевать без дозволения полиции: и покойник, мол, был неизвестным, и смерть его была насильственной, мало чего: «может його пхнув кто с того ветряка...». Короче, было решено до прибытия следствия гроб с телом убиенного не закапывать, а для порядка выставить у могилы с гробом сторожу. И надо ж было такому случиться, что первое же ночное дежурство выпало тому самому Сашку...

Ночь выдалась «мисячна», то есть светлая, лунная. Сашко, поудобнее расположившись на земляном бугре у раскрытой могилы, так, что ему были хорошо видны и гроб, и кладбищенские окрестности, без всякого интереса созерцал округу... Было тихо, покойно, и ничего не предвещало такого, чтобы тревожного, хотя вряд ли его мысли в окружении могильных крестов были веселыми, но и особых страхов, по его рассказам, он не испытывал, хотя и чувствовал себя тоскливо. Часа через три его стало клонить ко сну, и он, успокоив себя тем, что охраняемое им «добро» вряд кому понадобится, не стал сопротивляться сладкой дреме....

Когда же он окончательно погрузился в сон, на «сцене» появился третий персонаж — станичная дурочка, тихопомешанная, добрейшая тетка Тимошенчиха. Это была маленькая, высохшая от болезней и вечно бормочущая что-то себе под нос старушка... И вот, та Тимошенчиха, прослышав о смерти хлопчика, пришла с ним проститься и высказать ему свои добрые напутствия. Спустившись в могилу, она сдвинула гробовую крышку и, приподняв покойника, начала говорить ему утешительные слова... Нет, чтобы тому тарасовому Сашку проспать все это, ан нет, бдительный страж «прокынувся» (проснулся) и с ужасом увидел, понял, осознал, что покойник встал из гроба и что-то говорит.

Сашко вскочил и опрометью кинулся прочь, куда глаза глядят, а глаза его вовсе и не глядели туда, куда он бежал. Как бешеный ломовой битюг, он по пути свалил не один десяток подгнивших старых деревянных крестов и в саманном заборе пробил дыру, после чего упал, вскочил и далее побежал более осмысленно и целеустремленно — до родной хаты... Дыра в

кладбищенском заборе потом долго называлась «сашковым лазом».

По словам деда Игната, страх у того Тарасова Сашка не проходил несколько дней, пока «добри люды» не посоветовали пойти до «бабки-шептухи».

В старину болезней было мало. Не считая ран и ушибов, была простуда, лихорадка, случалось, болели животом, иногда головой... Народ все больше был здоровый, крепкий. В лекарях особой нужды не было, поэтому их, лекарей, и было мало. Так, один на две-три станицы. Это сейчас развелось докторов разных, как птах на ниве, и каждому, пошучивал дед Игнат, давай отдельную свою болезнь, другую он не лечит. Вот и получается, что чем больше лекарей, тем больше болезней. Надают столько лекарств, порошков, пузырьков, таблеток, и «вси трэба зъисты». Ну кто все это выдержит? Если позволяет здоровье, можно, конечно, любое лечение выдюжить, а если того здоровья мало, если ты хворый? Отож от тех таблеток ноги и протянешь...

А еще в старину бывал «сглаз», — так это уже по душевной части, или, как сейчас скажут — по нервам. От «сглаза» и всего такого, непонятного, ходили к ведунам, бабкам, гадалкам и теткам, которые не были ведьмами в полной мере, а так — «ведьмачили»...

Вот и Сашка спровадили к такой бабке-шептухе. Как он потом не раз рассказывал братьям-касьяновичам, та посадила его под иконы, посмотрела ему в очи, постучала костлявым пальцем по лбу и за ушами, и сказала, что, мол, ничего, будет казак жить и будет казаковать, вот только надо ему «вылить переполох».

На плечо больному поставили «тазок» с холодной водой, и бабка наказала держать его крепко, чтобы «живая вода» до времени не пролилась на землю. Она долго шептала и периодически постукивая у парня за ушами, крестила ему лоб. Затем выстригла из его нечесаного чуба пучок волос, бросила в «тазок» и вылила туда воск, натопленный из свечей, оставшихся от Великого дня — Пасхи. При этом она громко произносила какие-то заговорные слова, которые Сашко потом всю жизнь силился вспомнить, но так и не вспомнил. Ему было велено «тыхэсэнько» снять тазик с плеча и поставить на скамейку. В холодной воде плавал «переполох» — восковая фигурка, отдаленно напоминающая человечка, может, ту самую станичную дурочку тетку Тимошенчиху. Так или иначе, но Сашко почувствовал облегчение и уже следующую ночь спал спокойно, а еще через день со смехом рассказывал о своих ночных приключениях на кладбище. Такова была сила бабки-шептухи, дай ей Бог на том свете всего, чего ей хотелось на этом, но не

смоглось...

— Да, год на год не приходится, сокрушался дед Игнат, то счастье, то несчастье... Была бы удача — на удачу казак на необъезженного коня садится, на неудачу — его смирная коняка бьет. Но и при удаче — меньше дурости, лихачества... Счастье — оно не кляча, хомута не натянешь. — А семь Касьянов в календаре, — вздыхал дед Игнат, — все же многовато. Хватило бы и двух — одного зимнего, другого — летнего. Ну, это дело Божье, не нам про то судить-рядить, не нам, прости Господи, сумниваться...

БАЙКА ОДИННАДЦАТАЯ,
про то, как свадьбу справляли и совершали и совершали на той свадьбе-женитьбе веселые нелепости

Одной из любимых баек деда вашего деда, внуки мои ненаглядные, была байка о том, какими проказами отметили как-то братья-Касьяновичи свадьбу своего старшего друга и даже родни — того самого Сашка, которому бабка шептуха «переполох» выливала — он был сыном кума Тараса. Вот только кому тот кум приходился крестным, — про то дед Игнат не ведал. Кум, да и все...

И вот, значит, тот кум Тарас женил своего сына, и была свадьба, память о которой сохранилась надолго, если не навсегда. Свадьба же в те времена была делом серьезным, ее справляли не одним днем, и если управлялись в неделю, то такой срок считался в самый раз — три дня у жениха, три дня у невесты, потом еще день-другой в хате жениха... Съезжались на свадьбу семьями, и если до места было всего квартал-полтора, все равно хозяин запрягал гарбу, а то и мажару, усаживал на нее всех своих чад и домочадцев, и торжественно подкатывал к свадебному двору. Ну, если жил действительно близко, то отгонял ту гарбу на свой баз и «вертался пешки». Съезжались близкие и дальние. А какие были фамилии — теперь таких ни в одном театре не встретишь: казак Стриха обнимал казака Очерета, Старахата «челомкався» с Нэтудыхатой, с Тягнырядно и Подопригорой, а ко двору подкатывали Голопан, Непейвода, Паливода, Заплюйхвист, Пидхвистгрыз и Вовкогрыз... Не скажу уже об обыкновенных Бойченках, Марченках, Шевченках, Гончаренках, Гриценках, Троянах, Белоконях, Рябоконях и прочих и прочих...

— Яки люды булы, — сокрушался дед Игнат, — шо нэ людына, то картына!.. Да, это было время, когда старики еще носили запорожский «осэлэдэць»[7], а молодежь уже щеголяла пышными чубами, но и те и другие незаметно перешли на кавказскую одежду — на черкески, бешметы и бурки. Одновременно в быту сохранялись и широченные шаровары, и свитки, и неизменные кужухи и постолы. Еще меньше ушли от старины в своих праздничных нарядах женщины. Так что вся эта толпа действительно была очень красочной, поистине картинной.

Дальние гости располагались табором во дворе, на улице и по соседям. Распрягали коней, задавали им корм, и всей семьей шли поздравлять хозяев. По мере разрастания гульбища подъезжали новые родичи и знакомые, уставшие от гульбы,

разбредались по закоулкам — отдыхали, чтобы через некоторое время снова включиться в общее празднество. Были и такие неуемные, настырные, что сутками не вылезали из-за стола, а если уж доходили до немоготы, то засыпали тут же, склонив свои чубатые головы на столешницы, либо сваливались под лавку...

На столах гнездились сулеи и кухлики с хмельными питиями. Уважалась горилка — хлебный самогон повышенного градуса («шоб горила»!), очищенный через уголья, известь, творог и еще через нечто, всегда составляющее «фирменную» тайну той или иной семьи. Чистая, как слеза, и крепкая — крепче «нэ бувае»... Ценились разного рода настойки и наливки — терновки, сливянки, малиновки, вишневки и несть им числа... Свадебный стол непременно украшало некое сооружение из трех четвертей первача — две стоймя и одна полулежа. Перевязанные цветными лентами, они предназначались для завершения пиршества. Это был знаменитый «бугай», и «допиться до бугая» означало выдержать питейный марафон до самого конца, не спасовать ни перед какими трудностями великого перепоя-похмелья. А так как считалось, что не пьет «людына хвора или падлюка», то отказчиков от безмерных возлияний не было. И никто не боялся за свое здоровье, ибо царило мнение, что «от горилкы ще ны один казак нэ вмэр!». Да ведь умирали, чего уж там...

Но были примеры и другого рода. Тот же кум Тарас, когда ему было далеко за восемьдесят, а может — и за девяносто, занедужил и... почти всю зиму пролежал настолько хворым и беспомощным, что его домашние решили — весну ему не пережить («весна его приберет») и стали потихонечку готовиться к его смерти, нагнали четырехведерный бочонок самогону — на поминки. Старый Тарас, проведав про тот бочонок, встал со смертного одра, и не возвращался на него, пока не сдюжил тот бочонок почти в одиночку. А когда самогона не осталось ни капли, сказал: «Ну, вот тэпер и вмырать нэ грих!» И действительно, через неделю-другую приказал долго жить, царствие ему небесное.

Но до того еще было не скоро, пока что справлялась свадьба его наследника. А на свадьбе — раздолье веселью, раздолье проказникам и шутникам, простор для их фантазии, высвободившейся от запретов и осуждений. Свадьба для того и свадьба, чтобы на ней процветали веселые нелепости и нелепые веселости.

— А шутки были разные, — вспоминал дед Игнат, — самой простой, совсем невинной, была подмена лошадей, когда сильно охмелевший гость уезжал домой на своей гарбе, но на чужих конях, которые ему подсунули. Потом, проспавшись, гость,

чертыхаясь, возвращался к гуляющим и разыскивал своих ненаглядных, что было делом не простым — хорошо еще, если на них кто-то другой не уехал к себе домой...

Свояк кума Тараса приехал в гости на новой легкой пароконной бричке, которой очень гордился. Пока хозяева бражничали, ребята закатили эту бричку в порожнюю пристройку, приспособленную кумом для хранения разных припасов. Пристройка имела вторые решетчатые двери — для прохлады. Наши озорники вытащили из брички дышло, закрыли изнутри ту дверь, затем дышло просунули сквозь решетку, и оставшийся внутри пристройки самый маленький из них закрепил его, как положено, шкворнем. Телегу подкатили к самой двери, а в промежуток между нею и задней стенкой пристройки была всажена специально оставленная там кадушка. Убедившись, что бричка стоит нерушимо, парнишка вылез из пристройки через маленькое окошко в ее задней стенке, которое тут же было заткнуто камышевым кляпом.

Свояк утром намерился «мандрувать» (двигаться) до дому, до хаты, Потоптавшись по двору, он, наконец, нашел свою бричку, сгоряча схватил за торчащее из решетки дышло, но не тут-то было: «клята гарба» (проклятая телега) с места не трогалась — «нэ туды… и нэ сюды». Кум Тарас с похмельной головы тоже ничем помочь не мог. Собрались другие похмельные головы, и, как водится в подобных случаях, каждый давал свои советы: «а чи шо, можэ, пробрать крышу... А, можэ — стинку... А ще краше пийты та спрыснуть цэ крученэ дило горилкой...». Дело кончилось тем, что вконец расстроенный свояк решил идти домой пешком, что куму Тарасу показалось недостойным. Он схватил «сокыру, тай и порубав ту бисову рэшотку», после чего свояк смог, наконец, запрячь коней и приняв на посошок еще одну «плящечку» понравившейся ему сливянки, «помандрував», куда следует.

У соседки кума Тараса старушки вдовы Гриценчихи был замечательный козел — белый, пушистый, красота и гордость всей округи. Улучив момент, хлопцы выкрасили того козла синькой, глаза подвели сажей так, что они стали огромными, чуть ли не больше козлиной головы, а рога украсили сусальным золотом. Такого красавца было негоже загонять обратно в хлев, и наши баловники, выдернув плетень, («лиску»), приложили его к крыше и по этому «взвозу» возвели животину к самому гребню, привязали ее к трубе, не забыв подложить бедному козлику охапку-другую доброго сенца. Плетень был воткнут на место, следы заметены, и довольная братва присоединилась к пирующим...

Рано утром бабуля Гриценчиха вышла попоить-покормить своего любимца и вывести его на вольную пастьбу. Не найдя его на месте, она стала его кликать, и тот ответил ей радостным блеянием откуда-то издалека. «Пошукав» (поискав) его по двору, бабуля, наконец, смекнула, что козлиный глас нисходит свыше, и увидела свое возлюбленное козлище у самого дымохода.

— Ой, мое ж ты лышэнько, Маты Прэчистая, Мыкола угоднык, — заголосила хозяйка, — як жэ ты туды забарабався?

На бабкины причитанья откликнулись «добри люды» — изрядно хмельные ненаглядные гости. Тут же принесли лестницу, отвязали козла от трубы и хотели свести его вниз, но не тут-то было: «бисов цап» (козел) уперся всеми четырьмя и ни в какую не хотел спускаться на бренную землю. Оставшиеся внизу посоветовали понести козла на руках «до драбыны (т.е, лестницы), а мы тут его поймаем»... Что и было сделано. Но у самой лестницы козел вдруг решительно взбрыкнул, и вся команда, чертыхаясь, загудела с крыши. Лестница смягчила их падение, да и хата старой Гриценчихи была не так уж высока, так что все происшествие завершилось сравнительно благополучно — лишь ушибами и синяками. Известное дело: пьяного Бог бережет...

Разглядев на земле раскрашенного «цапа», пострадавшие совсем развеселились и повели его с собой за общий стол. Здесь «бисова худоба» вела себя вполне послушно и даже попробовала поднесенной ей хмельной бражки, однако горилку пить не стала, да что с нее возьмешь, скотина все же малоразумная, хотя вызолоти ей не только рога, а и все остальное прочее.

Но наиболее памятным деянием «разбышак» на той свадьбе было сооружение дотоле невиданной станичниками «шутейной башни» на базарной площади. Глухой ночью братва прошлась вдоль ближних к той площади улиц и во всех дворах поснимала с петель ворота и калитки, прихватив, где было возможно, вожжи, которые у всех хозяев вешались на конюшнях у самых дверей. Все это сносилось к одиноко стоящей на площади «туполе». Прикинув, что и как, хлопцы вокруг этого древа и построили свою знаменитую башню. Калитки при этом ставились «стоймя», на них затаскивали ворота, увязывали их вожжами — между собой и деревом, на образовавшуюся площадку, чуть отступя от края, снова воздвигали калитки, на них затаскивали ворота, увязывали... И так «лаштували» до самой вершины, где все сооружение венчали поднятые в поднебесье стол и табуретка. На столе поблескивала стеклянная четверть, как символ чего-то возвышенного, прекрасного, можно сказать — неземного, и в то же время очень даже понятного...

Легко себе представить задумчивое недоумение тех хозяев, которые поутру увидели свой баз без ворот и калитки. Впрочем, очень скоро было «довидано», где они, собственно, находятся. Говорят, некая старушка, идя до зари на базар, приняла башню за церковную, колокольню, долго на нее молилась, пока не сообразила, что той колокольни «тут не мога будь», а, подойдя ближе, окончательно убедилась, что это действительно не то, что ей померещилось.

Сбежались хозяева пропавших ворот и калиток, просто любопытные. Многие тут же опознали свое имущество, а вот как его «вытягнуть» из той башни? Само собой, надо лезть на самый верх и начинать разборку оттуда, да кому охота карабкаться на такую верхотуру — ведь можно запросто сверзиться оттуда, и как говорят, «с непривычки» поломать себе ребра, если того не хуже...

Дед Игнат в лицах представлял разговор, который наверняка можно было услышать у той «шутейной башни»:

— Надо лезть, — скреб в затылке один, — иначе нэ можно, а то чэтвэрть разобьется... — Черт с нею, с четвертью, — возражал другой, — вона ж пуста! Найшов про шо тужить! Ну, а колы так, то лизь наверх и починай развязывать ту справу. И четверть сбережешь и дило зробышь!

— А чего это я полезу, — не соглашался первый. — Чи шо я у Бога бугая украв? Ни, мне лизты нэ трэба, хай лизуть те, чьи тут ворота, а моих ворот тут нема, мои на месте... — Гляньте, какой красавец! Нема твоих ворот, так чухай отсюда! Иди себе, куды шел... Покалякав так, казаченьки приступили к делу и худо-бедно разобрали ту башню, хотя и не обошлось без потерь и поломок. Конечно, свадьба, — дело серьезное, и там много было всего такого, чему обязательно положено быть на любой свадьбе. И встреча молодых, и посыпание их зерном и медными грошиками. Много танцевали и пели, но так бывает на любой свадьбе, а на «сашковой», кроме всего обязательного, еще и чудили, и чудили интересно. Случались шутники и на других свадьбах, может и поинтересней, да только вряд ли: было бы слышно...

А как танцевали на тех стародавних свадьбах! Бывало, иного плясуна в хате допускать до гопака просто было опасно, и он показывал свое мастерство, выкрутасы и удаль во дворе — прыгал и летал по воздуху выше крыши. Не иначе, как сама нечистая сила поднимала его так высоко и позволяла выделывать ногами такие замысловатые фортели и отбивать чоботами барабанную дробь на любой вкус и на любое понятие. Не-е, теперь таких танцоров нету и быть не может, сейчас танцами называют черт знает что — шатковалкое медвежье топтание... Танцевали лезгинку, «журавля», а то — «шамиля», и под конец обязательно

«пьяного казака». Ну, того «шамиля» дед Игнат сам не видел, только слышал о нем, а вот «пьяный казак» был частым гостем не только свадеб, но и рядовых праздников, были замечательные лицедеи, исполнявшие, каждый по-своему эту понятную, если не сказать — родную для них роль...

— А как пели на тех стародавних свадьбах! – восхищался дед Игнат. — К примеру, когда знаменитые станичные басы братья Петренки затягивали «Рэвэ та стогнэ...» или «За гаем, гаем зэлененькым...», то стекла из окон вылетали — подребезжат-подребезжат, да и лопнут... Свечи гасли, если они при свечах пели! А у Катерины Мысачки был такой голос — не голос, а живое чудо: на высоких тонах у нее где-то там, внутри, в самой середине, вдруг раздавался серебряный колокольчик, да так в лад и к делу, что слушать ее было неописуемым наслаждением. Не-е, таких певунов теперь не найти, разве что сохранились где ни то на хуторах, так кто ж их теперь слушать будет? Теперь включишь то же радио, скажут, что народная или там еще какая артистка исполняет... Ну, думаешь, сейчас послушаем! Какое там: криком кричит та «народная», вроде б ее режут, трясця ее детям! А какие шутки-прибаутки, присказки-погудки можно было услышать на тех свадьбах! Забавляли народ «брехач» и «подбрехач» — мужики языкатые, «востри», и до слова складного хваткие. Приглашали выпить не только во здравие и многие лета, но и за то, чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и моглось...

По словам деда Игната, любимой присказкой старого Касьяна была такая: «вот как я был бы царем, ел бы колбасы и всякие царские вытребасы, сало с салом бы ел, салом чоботы мазал, спал бы в теплой хате на свежей соломе, с паном бы за ручку здоровался, украл бы сто рублей, да и утек!»

Старый Касьян в той побрехушке видел «и смех и грех, и мрию» (мечту), и радость умного слова. Не-е, таких брехачей и подбрехачей теперь нету, говаривал дед Игнат, да и откуда им взяться? Сейчас, что ни анекдот, то все про политику, про любовь, — не смех, а один скоромный грех...

— Сейчас мы перезабыли те байки, книжки та газеты читаем, — сетовал дед Игнат, — а разве там правду про наше житьтя нашкрябують? Хоть и кажуть добры люди, шо правда нэ вмыра, та тикэ ни: бувае, шо и вмэра... И сызнова нарождается — нова правда — шо ны годына, то своя правдына, своя шуткапогудка...

БАЙКА ДВЕНАДЦАТАЯ, про коня Мальчика, Стасов железный трофей и просто про коней, их красоту былую и бесславный конец

И был у Касьяна младшего, батьки нашего деда Игната, любимый конь по имени Мальчик. Умная такая коняка, и статью приглядная и хозяину верная. Задолго до начала службы Касьян старший вручил сыну-подростку повод молодого жеребчика, сказав Касьяну младшему, что этот воронок — его. Люби, мол, его, дружи с ним, ибо это твой боевой друг и товарищ, тебе с ним переносить все тяготы будущей службы. И Касьян младший прислушался к батькиным словам, тем более, что Мальчик ему сразу пришелся по душе. Казачонок ласкал его, чистил и холил, подкармливал какой-нибудь вкусной пустяковиной, научил прибегать к себе на свист, понимать и выполнять простые команды. Так и росли они, считай что вместе, на одном дворе, на одних харчах, в одних заботах. А когда пришлось идти на царскую службу, то они так в паре, как и было им предназначено, влились, встали в один строй.

Дед Игнат, расхваливая отцовского коня, обязательно вспоминал своего верного Шамиля, с которым ему пришлось начинать срочную службу. С таким конем легче было молодому воину свыкаться с новой обстановкой. Взгрустнется, бывало, — вспоминал дед, — обнимешь его, теплого, живого, и вроде как дома побывал...

Через года полтора, после начала службы Касьян оказался вместе со своим Мальчиком на очередной турецкой войне. Ну что ж, война, как война: походы-переходы, перестрелки, а то и лихая рубка. Вот однажды наш Касьян со своими сотоварищами был в дозоре-разъезде, и нарвалась их группа на такой же конный разъезд, но только турецкий. И турки, и наши не удержались от искушения померяться силой молодецкой, удалью и воинским умением. В общем — кто кого!

Стычка была короткой. Потеряв двоих-троих, турки кинулись наутек, наши — их преследовать. Касьян увязался за одним, почти догнал его, и уже вот-вот доставал вражину своею шашкой, как непонятливый турок, пусть икнется ему на том свете, пальнул в нашего Касьяна не то из пистолета, не то еще из чего, Касьян не разглядел, а только очнулся он на земле, у здоровенного мшистого камня, — как его Бог миловал, что при падении не врезался в ту каменюку! Сколько он пролежал — не знает. Голова кружилась, болела ушибленная нога, и не действовала простреленная рука. Касьян с трудом перевернулся и сел, опершись о камень. Поднял голову и вздрогнул: шагах в шестисеми от него, набычившись, стоял большущий волк и исподлобья смотрел на казака. Касьян невольно съежился и выдернул кинжал. Но сможет ли он хотя бы на мгновение упредить прыжок свирепого хищника, если тот решится и

нападет?

И тут он увидел, что откуда-то сбоку вылетел его Мальчик. Волк сразу же развернулся в его сторону, но конь ничуть не испугался — он стремительно наскочил на хищника и сходу стукнул его вытянутой передней ногой прямо по голове — рубанул, как шашкой, сверху вниз — таж! И волк с раскроенным черепом покатился по косогору.

Вы слышали про такое, чтобы конь отбивался передними копытами? То-то, все думают, что конь лягается задними, и правильно думают, но, оказывается, когда надо, у него и передняя нога превращается в страшное оружие...

Сделав круг вокруг хозяина, Мальчик остановился и, всхрапнув, ткнулся в его грудь теплыми ноздрями. Касьян погладил коня, затем похлопал по шее, и тот послушно лег рядом. Вложив кинжал в ножны, казак с трудом перевалился через седло...

Как добрался Касьян до своих, он не знает — вывез его Мальчик, на которого он полностью положился. Сам казак понятия не имел, в какую сторону двигаться, куда ведут стежки-дорожки в той незнакомой ему чужой стороне. В лазарете Касьян не лежал, его перевязали и он вновь занял свое место в строю — до нового ранения. А Мальчик еще не раз выручал своего хозяина и в боях, и в обычных походах, и Касьян делил с ним и горести и радости, а когда приходилось туго с провиантом — отдавал ему последний сухарь. На войне как на войне — всякое бывает. Бог не без милости, казак не без счастья...

Отвели как-то их эскадрон на отдых, и разместили в только что отвоеванном турецком военном городке. После долгих и многотрудных походных дней казачки отлежались, отоспались, коней перековали, а как час подошел — продолжили свой поход.

И служил в одной сотне с Касьяном парень-станичник Стас Очерет. Неплохой, в общем-то, парень, казак, как казак. И приглянулась ему, тому Стасу, в турецком гарнизонном городке наковальня, уж больно она была хороша: не махина пятипудовая, а аккуратная, приземистая, с длинным острым рогом, с разлапистым основанием. Чудо, а не наковальня, красавица. И не сильно тяжелая, пуда на полтора с какими-нибудь фунтами-золотниками. Вот и решил, значит, тот Стас этот трофей взять с собой — конь, мол, у него добрый, сам он мужик легкий, так что коню будет не тяжело. А закончится война, вернется Стас до хаты и привезет с туретчины не что-нибудь, а наковальню, соорудит себе «нэвэлычку» кузню, будет сам коней подковывать, а не водить их «до коваля»...

— Так когда ж ця клята война, хай ей черт, кончится? —

посмеивались казаки. — И будэшь ты цю жилизяку за собой таскать до самого замирэньня? Ну, Очерэт, ну бисова душа...

— Нэ кажить, — гнул свое Стас. — Жилизяка ця не простая. Ось буде у меня кузня, будете еще ко мне бегать по всякой надобности!

Он любовно завернул наковальню в холстину и приторочил к седлу так, чтобы ее тяжесть равномерно распределялась по лошадиной спине. Сам сел — конь его только крякнул, но ничего — выдюжил... Касьян же наполнил саквы (приседельные мешки) овсом, сухариками, прочей нужной походной мелочишкой, — тоже груз нелегкий. На походе, как известно, и иголка в тягость, но все это не больше, чем обычно. Лошадь, — она казаку крылья, а крылья грех особо перегружать...

На больших привалах Стас снимал с коня свое приобретенье, разворачивал его и, сидя у костра, любовался трофеем, уносясь в мечтах «до родной хаты», возле которой, вон там, в стороне от перелаза, мерещилась ему небольшая кузня, а в ней — наковальня, вот эта самая, такая ладная и красивая...

Через несколько дней эскадрон, совершая дальний поиск, был отрезан от своих. А горы кругом — высоченные, только ахнешь да охнешь: сверху лед да снег, глянешь — шапка свалится, внизу — вода «журкотыть», поглядишь — голова закружится, посредине — каменюки, колючки и пустыня.

Вот по такой каменной пустыне нашим казакам и пришлось выбираться. Эх, конь под нами, Бог — над нами!.. А тут еще вражеские пикеты и дозоры...

Часть казаков потеряла в стычках своих лошадей, кое-кого и закопали в той далекой турецкой стороне. Не повезло и Стасу — его конь, видать обессиленный скудным кормом и тяжестью «трофея», а может и случайно, с кем не бывает, попал копытом в расщелину и сломал ногу — пришлось пристрелить его, чтобы не мучился. Стас переложил наковальню в заплечную сумку и несколько дней возил ее на спине. Он натер плечи, набил спину, еле таскал ноги, но упрямо тащил свою железяку. Такова была сила его мечты, желания иметь кузницу, пусть небольшую, но свою...

Как-то ночью изможденный Стас сидел у костерка, рядом с дневальным. Не спалось – гудели натруженные кости. Обхватив руками голову, он внимательно разглядывал стоявшую рядом наковальню и о чем-то тяжело думал. Потом, ни слова не говоря, с силой толкнул возлюбленную железяку, и она полетела в бездонную пропасть, унося с собой всю сладость стасовой мечты...

А наутро конная группа, в которой был и наш Касьян, разведывая пути-дороги, наскочила на своих — да так удачно:

прямо на родной войсковой обоз. А тут тебе и кухня, и лекарь, и кузня, и все такое прочее. Стас чуть умом не тронулся — еще бы чуть-чуть, еще бы несколько часов терпежу, и дело было бы, считай, в шляпе: уж он-то пристроил бы свою наковальню в обозе, в котором было немало станичников.

Повествуя о приключениях того Стаса, дед Игнат со вздохом говаривал:

— На войне всем достается, и людям и коням. Каждому — свое. А наковальня, мабудь, була гарна — невысока, плосковата, с довгым рогом... Но на войне о другом нужно думать... Ну, та Бог с ней, той турецкой наковальней. Шуганув ее Стас в пропасть, похоронил на веки вечные, вона там и посийчас лежить, жилизяка несчастна... Туды ей и дорога...

А Стасу и на коней не везло. После того случая казаков, потерявших своих лошадей, посадили на трофейных, да только в первом же бою стасов конь вынес его из общего строя и попал под картечь. Стаса не задело, а конь, сделав «свечу», тут же грохнулся на землю, Стас едва-едва выбрался из-под него, а турки — вот они! Подскочил Касьян на своем Мальчике, шумнул: Стас, хватайся за стремя! И вывел его из-под турецких сабель, а потом взял «на забедры» и вовсе спас от смерти неминучей. Конь не выдаст, и турок не съест...

После войны Касьян вернулся домой с Мальчиком вместе. Коня своего боевого под хомут не ставил. Первые годы участвовал в смотрах, особо отличался на рубке лозы — уж очень складно двигались они с Мальчиком, на одном дыхании... И еще – ежели Касьяну вдруг нездоровилось, простуда там какая, или немогота, — он седлал своего Мальчика, делал на нем разминку, и болезнь от него сама собой отходила. Сила такая передавалась хозяину от его коня. Оно ведь может и правда, что далекими предками нас, казаков, были жившие в наших местностях в стародавние времена людокони, или по ихнему — китавросы, когда конь и человек были единое целое...

— Я сам бачив в книжице таку картинку, — уверял дед Игнат. — Это потом воны раздилылись — коняка сама по соби, а казак — сам по соби. А може и зря... Та только на все воля Божья...

Жалел Касьян своего Мальчика. Бывало, выезжал на нем на охоту, да если по скорому делу куда. Уважал. И конь любил своего хозяина. Иногда — пасется на лужку, увидит Касьяна и непременно увяжется за ним, и ходит, как собака, не отстает. Или сидит Касьян на приступке, а Мальчик подойдет, ткнется ему мордой в грудь, ласкается...

А то, случалось, идет Касьян, видит: его Мальчик в сторонке стоит, может, дремлет, или — так, думку свою «конячью» думает.

Ну Касьян слегка присвистнет, тот встрепенется и — «аллюр три креста» прямисенько к хозяину, тут как тут...

Как-то, будучи уже в летах, Мальчик пропал. Пасся, как обычно, за забором, на задах, и исчез. День его нету, другой... Куда запропастилась коняка, — Касьян только руками разводил. Через неделю Мальчик явился. Утром, чуть свет, у ворот раздалось его ржанье. Касьян открыл ворота — конь был запряжен в полуразбитую бричку без одного колеса, на которой торчали железные обхваты — видать, укрепы от бочки... Мальчик ткнулся хозяину в плечо, всхрапнул... «Эгэш, — сказал себе Касьян, — видать був ты в “бувальцях”»...

Потом станичники подсказали: коня увели проезжие цыгане и пристроили его, продав или на что-то променяв, в другой станице, не то в Джерелиевке, не то на Грушковском хуторе, что за Косатой балкой... был слух, что и там и там видели тех цыган. И его новый хозяин определил в водовозы, чего Мальчик вынести не мог — достоинство не позволяло: известно, что конь до тех пор конь, пока под седлом, на пашне он — лошадь, а под хомутом водовозки — кляча... И при первом удобном случае Мальчик дал деру — до дому, до хаты. Не зря говорят: не сватай попову дочку, не покупай коня у цыган... Когда Мальчик совсем состарился, ослеп, Касьян, не отправил его на живодерню, благодарно держал на своих харчах, кормил и поил по-прежнему, до самой его естественной кончины.

Вот такой был у казака Касьяна, батьки деда Игната, любимый и надежный конь по имени Мальчик. Статью приглядный и хозяину верный. А иначе не могло быть. Казак и его конь не могут друг без друга. Что за казак без коня? Когда власти после революции начали изводить казачество, рассуждал дед Игнат, они сумели сделать это только наполовину. До конца, можно сказать, под самый корень, казачество подрубил уже трактор. Тот самый «фордзон», появлению которого так все радовались. А того не ведали, что он, этот вонючий «фордзон» — железная вражина для всего конского поголовья.

И эта вражина доконала-таки коня, а вместе с ним и казачество. Правда, не стало у нас и конокрадства, то, может, хорошо. Трактора крадут редко, да и кому она нужна, чертяка ржавая! Что за казак, допустим, на тракторе? Или на другом каком драндулете? С шашкой и чтоб на «фордзоне»? Так, тракторист, шофер, водила... А на коне? Орел! Победитель! Не просто всадник, пассажир, нет. Это человек — гордый и независимый, который смотрит на округу с достоинством, с высоты, ибо он, если сказать одним словом — казак!

— А красоту какую мы потеряли! — говаривал дед. —

Бывало, бежит конь по луговине, хвост и грива — по ветру, из ноздрей — дым, из-под копыт — искры, а сам он — конь-огонь, как из сказки. Мечта, а не конь!

А слыхали вы хоть раз, чтобы тот «фордзон» сам нашел дорогу до хаты, до родной конюшни? Или, чтобы, он, вражина, приласкался к своему хозяину?

Расчувствовавшись, дед Игнат спрашивал нас, его внуков: «Вам снится по ночам... ну, цэй трактор? Ээ, тото, шо ни... А ось мэни кони снятся и будуть сниться не тикэ до самой смэрти, но и после нее...»

Дед Игнат считал, что если казачество начнет по-настоящему возрождаться, то неминуемо с конями. Чтобы сызмальства росли они, как одно неделимое — конь и казак, казак и его конь...

БАЙКА ТРИНАДЦАТАЯ, про клады и сокровища, попову пуговку, да про салатовку царя Соломона

Однажды дед Игнат посетовал, что в последнее время что-то ничего не слышно про клады, да про найденные или, наоборот, ненайденные сокровища: «Чи, можэ их все пооткопалы и шукать ничого... А в старовыну их, тих кладов, було, як пчел...».

И на наши, его, деда Игната внуков, настойчивые просьбы, он рассказывал, что помнил. Да не про волшебные, охраняемые нечистой силой, а про спрятанные людьми настоящие клады, которые, правда, так же упорно не давались искателям, как и те, сказочные. А дед Игнат кое-что помнил...

Один из ближайших к станице клад, как поговаривали знающие люди, покоился под Зеленым Яром, на дне быстротечной Протоки. В те места после погрома булавинского мятежа перебежали с Дона казачки со своим атаманом Гнатом Некрасом[8]. Переселились основательно — с семьями, кое-какой худобой, и построили на кубанских островах несколько небольших городков-поселений. Некрасовцы был народ буйный. Спокойно они не жили, а вместе с бусурманской татарвой совершали, бисовы их души, набеги на русские земли. Если раньше «за зипунами» (так они называли военную добычу) ходили сюда, на Кубань и за Кубань, то теперь — с Кубани на Рассею-матушку. Не по-христиански это, но такой уж у них, тех некрасовцев, был характер и свычай, и тут уж ничего не поделаешь. Про них в России, может, и забыли бы на какое-то время, так они сами напоминали: мы, мол, вот они, знай наших!

В отместку и в упреждение тех набегов царские войска

гнались за некрасовцами, бывало, до самой Протоки. Дело кончилось тем, что разбойные казачки подались на туретчину, а их потомки, внучата-правнучата вернулись на Кубань только недавно, через двести годков. Дед Игнат с одним из таких вернувшихся встречался случаем, и тот ему калякал кое-что про своих предков — кубанских некрасов...

Ну, так вот, однажды царские войска пожгли некрасовские городки, некрасовцы же, по обычаю, разбежались по камышевым плавням, а казну свою несметную в двух засмоленных колодах и бултыхнули в заводь у того Зеленого Яра. Место заприметили, но только вытащить казну из воды так и не успели — вскоре царские полки вновь нагрянули в эти места, и некрасовцам пришлось откочевать сначала под Анапу, а потом и вовсе за море, к султану турецкому, стало быть. А колоды те долгие годы стерег оставленный при них одноглазый казак Перетятько. Жил он в плавнях, где-то на островах у него были землянки, ловил себе рыбу, охотился и за омутком приглядывал, чтобы никто ненароком те колоды не поднял. Пробовали Перетятьку схватить и допросить с прилежанием, чтобы открыл он секрет, да где там — плавни он знал, как свои драные штаны, от погони смывался мигом. Был тут — и нет его. А то, бывало, каюк его — вот он, а его — как не было. Он, чертяка косой, может, лежит на дне той плавни, через камышинку дышит, пойди, найди его...

Пробовали подстрелить, да без толку, заговоренный он был, и пули его не брали. Так было много лет, но в конце концов его-таки достали: полковой поп дал одному казаку пуговку от своей рясы, тот зарядил ею ружницу и, помолясь, стрельнул по тому Перетятьке. Пуля-пуговка попала ему в здоровый глаз, некрасовец матюгнулся, сослепу врезался своим каюком в проплывавшую по водяной стремнине корягу, и копырнулся за борт. Его утоплое тело прибило к берегу в семи верстах от Зеленого Яра, да что толку — рассказать про свою тайну мертвяк уже не мог... Пуговку, правда, из его глаза достали, вернули попу, а колоды с некрасовской казной теперь уже никто показать с точностью не мог. Зеленый Яр большой, где их искать, тут или там, под этим берегом, или под тем?..

А искали. Много раз цедили Протоку сетями, шуровали дно баграми. И колоды иногда поднимали, только обычные. Дубы мореные, да не смоленые, с сучьями и дуплами, но без злата-серебра.

В таких поисках участвовал и дядько деда Игната Спиридон. Пригласил его однажды хороший знакомый, станичник Охрим Довбня. Так, мол, и так, на хуторе у того Зеленого Яра доживает свое один старичок, дальний родич Охрима. И тот дедок, дай ему

Бог здоровья, знает тайну некрасовской казны. Не так уж, чтобы совсем точно — вот тут лежат те колоды и нигде иначе, а приблизительно: «дэсь тут, от тих бурунов до сухого явора». Дедок уже в годах и самому ему не под силу то нелегкое дело, чтобы, значит, завладеть кладом, но вот ежели Охрим с надежным другом возьмутся, то некрасовское злато-серебро, считай, у них в торбе. Он, Охрим, уже приготовил старую борону, а если к ней прицепить для верности две-три четырехконцовые кошки, то, опустив ту борону на вожжах в воду и «потягав» ее по дну указанного родичем-старичком места, они обязательно подцепят те колоды, даже если они засосаны в донный ил или песок…

Сказано — завязано. Забрав с собой приготовленную «снасть», Спиридон с Охримом на гарбе добрались до старичка. Тот и впрямь был в годах, да еще и хворый, — тут у него болит, там колет. Но ничего, пересилив свои хвори, он на утро вытащил из сараюхи весла, отвел гостей на берег, усадил в лодку и велел грести наискосок к тому берегу, где саженей в десяти от устья небольшого ручья и было, как сказал дедуля, «тэ самэ мисто, дэ лэжить та поклажа»…

О том, как они опозорились со своей снастью, дядько Спиридон рассказывать не любил. Дело в том, что борона сразу же «вгрузла» в придонный ил, и попытки тянуть ее вожжами вперед лишь способствовали все более глубокому влипанию ее в грязь. Промучившись с час, хлопцы с большим трудом освободили «кляту жилизяку» от крепких объятий «бисовых» донных осадков. «Дэржало, як вроди борону нэчиста сыла ухватыла, — отмахивался от вопросов Спиридон, — а можэ той самый казак Пэрэтятько».

Выкинув на берег борону, наши кладоискатели отцепили от нее кошки и попробовали продолжить поиск с их помощью, уже не веря в успех. Избороздив безрезультатно весь указанный дедулей куток Протоки, они, изрядно уставшие, причалили к берегу, где их ожидал старичок. Тот развел руками и успокоил их тем, что «нэ воны пэрви, и воны, мабудь, нэ послидни, така тут заковыка…».

Дядько Спиридон, правда, нашел на песчаном берегу Протоки большой катерининский пятак, который, само собой, не имел никакого отношения к некрасовскому кладу. Пятак этот давал впоследствии брату его Касьяну повод к насмешкам:

— А чи шо покажи, Спырыдону, той пьятак, шо царица Катэрына посияла, гуляючи у Протоки, — просил он иногда подвыпивши и будучи в настроении. — Та заодно расскажи, як вы с Охрымом боронувалы ту бисову ричку! Спиридон, добродушно

улыбаясь, привычно отмахивался — не до того, мол, есть поважнее дела и поинтересней. Пятак же хранил — уж больно хорош он был, большой, тяжелый, с красивыми вензелями. Побрасывая его на ладони, он, бывало, с ухмылкой говорил:

— Нычого… Мы свое ще найдэмо…

В отличие от брата Касьяна он верил, что клад, если «добрэ пошукать», найти все же можно.

А кладов тех в старину было немало. Прошел как-то слух, что в Славянской, на том, говорят, самом месте, где в стародавнее время располагался штаб самого Суворова, случайно откопали «глечик», а в нем «немалая жменя» турецких червонцев синего золота. Не бывает синего? В других местах не бывает, а тут вот было… А взять ту же Полтавскую. На ее месте при том же Суворове стоял столичный аул татарского верховоды, не то султана, не то хана, а может — просто князя — у них что ни главарь, то непременно князь. А только звали того султана Асланом. Это потом батько Бурсак, хай ему будет добре на том свете, переселил сюда казаков-полтавцев из-под Катеринодара.

Так вот, в той Полтавской малые хлопчики откопали в глинищах, а может, в бурьяне нашли — по-разному говорят, — старинный кинжал такой красоты, что сам Аслан не побрезговал бы его носить. Железо, правда, от земной сырости перегнило и превратилось в ржавую коросту, но золотая с каменьями рукоять блестела, как архиерейское облачение.

Но то все случайные находки, все равно, что спиридонов пятак — шел себе человек, ничего такого не думал, а тут ему — счастье, планида такая. Другой, может, сто раз тут спотыкался, или огород копал, а то и криницу, — и ничего…

Касьяну, когда он был на турецкой войне, рассказывал один служивый, казакпашковец, что у них там дюже серьезный клад искали. Приехали из Катеринодара чины войсковые, стариков под большим секретом расспрашивали, может, кто чего знает. Награду обещали немалую, если, значит, чьи соображения на след наведут. И как стало потом известно, искали бочонок, а может и два — засмоленные, с червонным золотом. Вроде те бочонки где-то тут, то ли у Пашковки, то ли у Круглика закопали по приказу отцов-атаманов доверенные после Персидского похода, когда в Катеринодаре казачий бунт случился. А когда тот бунт разогнали, то хлопцы, спрятавшие те бочонки, по судебной ошибке в Сибирь «зашкандыбали» и там сгинули, а другие участники той захоронки не объявились, и только через много-много лет в войсковой канцелярии нашлась какая-то бумага — старинный папир, из которого начальство и прознало, что был такой клад, да только где его искать?

Старики-пашковцы после отъезда высоких чинов за квартой перцовки-горилки трясли чубами, думку думали — «а чи шо правда про ти кляти бочонки, так тоди где их шукать?». Протрезвев, решили-таки сами поискать, полагаясь на здравый смысл, и обозреть подозрительные закутки, исходя из размышления: а куда бы ты сам закопал казенную скарбницу, если бы, не приведи Господь, тебе то было поручено… Мест подходящих было много, по при общем обсуждении все они были по разным соображениям отвергнуты, и выходило, что, может, того «червонного» клада и вовсе не было, а старинный «папир», что нашелся в Катеринодаре, был вовсе не о том, — «мы ж його нэ бачилы!» (мы же его не видели).

Так или иначе, а в станице еще долго жил слух про «персидские бочонки», да так и заглох. Как заглох никем не проверенный слушок про то, что в Ангелинском ерике, прямо у самой нашей станицы, давным-давно затонул турецкий корабль с несметным богатством.

— Можэ пошукаем того клада, — не то в шутку, не то всерьез предлагал Касьян брату Спиридону. — А як найдем, то гульнем жэ поширокому, як гуляли колысь казаченьки-черноморьци!

— Та ни… — обычно отказывался Спиридон. — Клад? Чого его шукать? Вин сам тебе найдет, как ряд твой (т.е. очередь) придет… Однако дядько Спиридон все же не удержался и чуть внове не увязался в поиск сокровищ, не ожидая, когда до него дойдет тот «ряд». Как-то осенью, когда неотложные полевые работы были окончены, к нему явился все тот же неизменный друган Охрим и поведал, что под Таманью какие-то ученые мужи из самого Петербурга могилы (т.е. курганы) копают, и уже нашли «что-то золотое», и что они, те столичные паны, нанимают помощников копать траншеи и отвозить от раскопа землю. И платят, говорят, неплохо, а харчи ихние… И что им, что есть Охриму и Спиридону, в самый раз поехать бы до той Тамани, не доезжая которой где-то близ Старой Кубани за хутором Белым, — Спиридон дознался точно, — и идут те самые раскопные работы. Надо съездить туда, и вовсе не для того, чтобы так вот сразу и подрядиться в раскопщики, а для начала покалякать с теми, кто уже копает, приглядеться, — как это «крученое дело делается». Может они, даст Бог, сами потом какой-нибудь курган раскопают… А гарба у него, Охрима, исправна, и кони застоялись.

В общем, друзья поехали, но ничего для себя полезного на раскопе не увидели, копают люди и копают. Поразила их куча черепков, да еще «заграничный немец», длинный, худой, который все что-то объяснял нашему — «русскому немцу», — и уж тот командовал рабочими. Копают неспешно, каждый ржавый

гвоздик, каждую черепушку откладывают в сторону. Перед вечером, правда, откопали небольшую посудину с длинной ручкой. Видать, медную, очень зеленую от старости и вековых невзгод.

— Кругла, — объяснял Спиридон, — така, як салотовка, только маленька. Закордонный немец дюже обрадовался, крутил ее, крутил, нюхал и чуть не облизывал… Как объяснил «русский немец», эта штуковина была очень старой, ею пользовались еще до рождения Иисуса Христа, может, при самом царе Соломоне. Друзья так и прозвали виденную ими диковину «салотовкой царя Соломона».

— А шо, — посмеивался дед Игнат, — може сам царь Соломон как раз в ции салотовци сало соби на борщ толок. Ведь очень стара была та посудина. А что мала, так он, може, сало не долюбливал…

— Так той жэ Соломон був иудейской веры, — напоминала бабка Лукьяновна. — И сала не ел!

— Эгэш! — не соглашался дед Игнат. — Потому и салотовка була манэнька, як он грешил помалу. Он был мудрый, и знал, шо борщ без сала не зробишь: без свинячого тела нету дела! А шо сало ел, так за то ему и прозвище: Саломон… А свой какой ни то курган друзья так и не решились раскапывать. Уж больно много их, таких курганов, вокруг станицы в то время было. Это сейчас их почти все распахали, приземлили, принизили, и тоже ничего не нашли, да и не искали. Вот про клады сейчас и не слыхать, то ли их действительно все понаходили, то ли люди стали богатыми и им чужое сокровище как бы в брезготу.

Дед Игнат сокрушался, что не слышно и о тех кладах, что попрятали наши паны-куркули, которые в двадцатые годы «тикалы за кордон». И может, хорошо прятали. Ходил же слух, что еще в восемнадцатом году атаман Рябовол закопал где-то под Уманской войсковую казну, а где — никто не знает, и ничего от тех казацких сокровищ по рукам не ходило…

Не без того, чтобы где-нибудь найдутся серебряные ложки или чарки. Недавно в хате купчихи Хоменчихи (тоже была такая родичка!) нашлась на горище торба с неразрезанными керенками. Так разве это клад?! Смех один, а не клад. Кто ж за таким «кладом» пойдет с лопатою, да еще в какое-нибудь страхолюдное место?

— Все ж, думаю, самый лучший клад, — вздыхал дед Игнат, — коли он своим горбом сработан, а тот, шо надурняк нашел, так и уйдет, як пришел…

БАЙКА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
про Белого царя, да про высочайшее его пребывание в землях наших благодатных

До Бога, говорят, высоко, а до царя — далеко, да только далекое, бывает, приближается. Жил себе был наш российский «Белый», как тогда его называли, царь в заоблачном Петербурге, да и надумал явиться на благословенную Кубань — верных своих казачков посмотреть, да и себя показать, а то мало ли чего, еще не поверят, что есть он, тот царь, в натуре… А может, кто присоветовал — умных голов у нас как нерезаных собак, в проще сказать — «як пчел», особенно, если кому чего присоветовать…

По рассказам деда Игната явление царя на Кубань было событием чрезвычайным, из породы легендарных. Сам дедуля многого не видел и не помнит, «бо був малый», а по рассказам своего дядьки Касьяна и других самовидцев того необычайного случая в жизни вольной казацкой Кубани хорошо знает, как оно происходило, или как должно было происходить, что в народной памяти одно и то же.

Само собой, когда прокатился первый слух о предстоящем царевом наезде, то никто тому не поверил: мало ли чего набрешут, – людям что ни слух, то сладость. Только ему, помазаннику Божьему, и делов, что тащиться без особой нужды почти на край света, в наши степи и плавни, комаров, да муховодов кормить.

Но слухи крепли, а потом в станицу пришла казенная бумага, чтобы, значит, готовились к достойной встрече августейших особ и свитских персон. По каким дорогам и через какие станицы-хутора будет проезжать надежа-царь, то была державная тайна, но всем строго наказывали навести у себя порядок, бурьяны на церковной площади повыдергать, свиней, упаси Господи, загнать во дворы, а хаты вдоль главного шляха подмазать и побелить, как перед Великим днем — Пасхой. И молиться, молиться во всех храмах о благоденствии царя-батюшки и семейства его.

Потом, как вспоминал дед Игнат, явилась новая бумага — отобрать столько-то там наилучших казаков, заслуженных, пристойного поведения и благообразных по обличью. Чтобы, не дай Бог, среди них не оказалось рябых, «кырпатых», малорослых, зверовидных, дюже брехливых и иных, им подобных. И быть готовыми в назначенный день под самоличной командой атамана явиться в Катеринодар для участия в торжествах по случаю высочайшего гостевания государя-императора.

И завертелось, и понеслось…

Дядько Касьян, само собой, попал в число назначенных на

царский праздник, как имевший медаль, а может — две за турецкую войну, а еще больше потому, что товариществовал со станичным атаманом, да как им было не дружить, — ведь атаманом на тот час был его старый сослуживец Стас Очерет. Так что тут усомниться в касьяновых заслугах и благообразии было «не можно».

И еще был наказ: от каждого юрта взять на празднество по одному, а то и по два молодых хлопца — чтобы память о том событии дольше жила в самовидцах — царевых сотрапезниках. И жалко, что Игнат тогда не вышел годами, а то бы батько Касьян пристроил бы его в ту оказию…

В народе стояли гул и перебранка, и все о царе, о причинах его неожиданного приезда на «нэньку-Кубань». Все соглашались, что это неспроста — либо война приближается, либо царь хочет оказачить всю Россию. А может, невесту для наследника приглядывает, не зря же он везет его в Катеринодар. А что: всем ведь известно, что самые ладные и домовитые невесты кохаются именно у нас, на Кубани, и нигде больше.

— Мы, пацаны, — говорил дед Игнат, — обсуждали и так: а шо — цари, царицы и само собой — наследники, як воны, к примеру, ходять до ветру, справляют нужду? Не може того быть, шоб як вси — воны ж помазаныки Божьи! Зишлись на том, шо малу нужду справляють духами, или когда никогда — туалетной водою. Вона так и называется — туалетна, сам бачив в продажи. Торгують ею без всякого стеснения. Ну, а велику нужду справляють шоколадом. А шо: те же пчелы, осы и шмели пэрэробляють свои харчи не в что-нибудь, а в мед! …И вот оно — свершилось! Белый царь и его сиятельная свита пересекли границу нашей земли и сразу же вся Кубань «заголосила» колокольным звоном: бом… бом… бом.. царь... царь… бом… бом…

Во всех церквях, больших, малых и самых малюсеньких начались молебны, а в крепостях, на кораблях, и везде, где только можно, открылся пушечный салют, а когда зашло солнце, небо над всей Кубанью многоцветно засветилось фейерверком самой необычной красоты.

Когда ж его императорское величество появилось в Катеринодаре, то над городом прошел дождь из лепестков роз, яблонь и, может, других каких цветов-соцветий, каких именно — уследить не было никакой возможности. Такие дожди прошли и по некоторым станицам, и как рассказывают знающие люди, даже по отдельным хуторам. Не по всем, а только по тем, где были часовни в память благоверного князя Александра, Мыколы-угодника или Алексея Божьего человека.

А потом над Катеринодаром пролетели стаи золотокрылых орлов, и некоторые из них были даже двуглавыми. Только этого мало кто заметил — орлов было так много, что сосчитать, у кого чего сколько — не хватало никаких сил. И еще, говорят люди, а они брехать не станут, Кубань в то утро потекла молоком и медом, но не долго, а так, чуть-чуть, может всего с четверть часа. Кто пошустрей, таскали ту благодатную воду домой, пили ее сами и поили худобу. Коровы после этого три дня доились сладким молоком, а собаки, отведав того пойла, полиняли и обросли потом новой шерстью — каждая седьмая шерстинка из червонного золота, «така тонюсенька-тонюсенька», а в руки возьмешь — тут же порвется.

По Катеринодару Белый царь под перекатное «ура» ехал, само собой, в золотой карете. На белоснежных конях — сверкучая сбруя, подковы — из чистого серебра, а попоны ярко-красные, с золотыми вензелями. Сам царь в кужухе из собольих хвостиков проезжал через триумфальные ворота, высокие и широкие, чтобы, не приведи Господи, «нэ зачипывся». На тех воротах — райские цветы, и кучей, «як куры на сидали», — ангелы и архангелы, серафимы и херувимы, и прочие ангельские чины. А на углах — орлы, двуглавые, те самые, которых мало кто «бачив» в про летных стаях.

В руках у царя было большое золотое яблоко, с крестом вместо хвостика, и орляная царская булава — скипетр. За царевым возком несли наши кубанские регалии — разные клейноды, перначи, литавры и хоругви. Впереди же — золоченый ларчик с дарственной Грамотой блаженной памяти царицы Катерины нам, казакам, на вечное владение землями и водами, плодами земными и всем прочим на нашей Кубанской земле.

Войско при полном параде и при всех знаменах и штандартах стояло шпалерами через весь город и громогласно приветствовало царя:

— Ур-ра… урр-ра… ур-р-р-ра-а… И даже бродячие псы, шелудивые и злые, но вольные, стояли, поджав хвосты и тихонько, так, чуть слышно, повизгивали. «Воны ще бы гавкнули, як кругом такэ»… А колокола: бом… бом… бом… царь… А орудия: торох-торох! Торох-торох! Трах-тебедох!...

Позади войска гуртовался простой народ. Мужики бросали вверх шапки, бабы махали цветастыми платками, и все выражали свой восторг тем же криком: Ур-ра… урр-ра… ур-р-ра-а…

Так кубанское товарищество встречало помазанника Божьего, самого Государя-императора Всероссийского!

— Ось от старых людэй я чув, — говаривал дед Игнат, — шо в дюжедавнюю старовыну царь, як выходил до людей, то одаривал

всех казной-гришмы. Дескать, брал из шапки пригоршнями золотые червонцы, да кидал в народ. Этого, отмечал дед, в Катеринодаре не было — «чого не було, того не було». А жаль! Оно для казны разор малый, а людям в радость. По рассказам, если какую монету никто не ловил на лету, то она, упав на землю, тут же расщеплялся на полтинники. А если такой полтинник никто не успел схватить, то он рассыпался на маленькие серебряные пятачки-орлячки. И было их несметное количество — «як пчел»! Дед Игнат уверял, что у него долго хранился такой серебряный пятачок-орлячок, но он не знает, куда он подевался…

А столы с угощениями стояли через всю Красную улицу, от станции Черноморки до Войскового храма. И чего только на тех столах не было: и сулеи с заморскими винами, и жбанчики с наливками и настойками, и водки самого разного сорта, и горилка с перцем и кореньями. Сало с прожилками лежало шматками, толстенное — в две-три четверти. Всякое жареное, вареное, пареное. Бараны и быки — целиковые, свинячьи головы и оленьи туши… И еще там стояли сахарные головы, и навалом — печатные пряники разного фасона, пироги, «пирижечки», маленькие бочоночки с медами, и невеликие «шаплыки» со «взваром» и иными запивками. Вот уж впрямь: всякие ковбасы и царские вытребасы…

Но главной красой торжественного стола были длинные, как бревна, краснюки-осетры, сваренные в трех, а то и в пяти казанах, в ноздрях — всякая приправная трава, а вместо очей — соленые лимоны с сахаром, а может, с медом — солено-кислые, сладкие, только что не горькие.

Станичники расположились за тем длинным царским столом по юртам — каждый юрт со своим атаманом. И перед каждым гостем — большая салфетка, на ней орляная стопка и две миски — большая и маленькая, столовый нож и вилка. Все из серебра и с царскими знаками. После трапезы каждый сложил свой прибор в салфетку, завязал ее углы и взял с собой — на вечную благодарную память, чтобы потом показывать детям и внукам и прочим близким и дальним, и тем, кто не сподобился чести застольничать не в вонючем духане с гнилозубыми случайными ярыжками, а с самим Белым царем — хотите верьте, хотите — не верьте, дело ваше…

Первую чарку царь-батюшка поднял за славное Кубанское казачье войско, и его слова тихим шепотом передали до другого конца стола — тем, кто по дальности не мог услышать сладчайшую царскую речь. И сразу же грянул стопушечный салют, в грохоте которого и пошла соколом та первая чарка в

утробы очумелых от счастья почтенных гостей-казачков.

Потом пошло-поехало: чокались за здравие самого Белого царя-батюшки, за его августейшее семейство, за наследника — атамана всех на свете казаков, за державу нашу православную, за отцов-атаманов…

Куда потом делся надежа-царь, наш Касьян не уследил. Может, он тут же, с того застолья, вознесся в святой город Петербург, а может, подвыпив, потихоньку отошел почивать в уготованные для него покои. Пир же за царским столом продолжался три дня и три ночи. Стас Очерет сказал станичникам, что раньше трех суток пить «стремянную отвальную» недостойно. «Пока нэ зъйимо ось цю свынячу голову — до дому нэ помандруемо (т.е., отправимся)!» — заявил он. А до той свиной головы дело дошло не скоро — закусок самых необыкновенных и интересных было «до бисового батька», и когда под конец вспомнили о голове, ее на месте не оказалось — «мошка спряла», а скорее всего утащили крутившиеся возле хмельных казаков прихлебатели из войсковой канцелярии, помощники и подносчики, всякие смотрители и устроители. Очерет махнул рукой: «чи мы не бачили свинячей головы, хай ей будэ лыхо! Та мы дома не такую сварим! Хлопцы, наливайте по последний, выпьем ще раз, а може не раз, выпьем по полной, бо век наш недолгий! Царствуй на славу, наш царь православный!».

Так и закончились всякие торжества по встрече Белого царя, императора Всероссийского на благодатной земле нашей. Событие знаменательное, сказочное, о котором долго «балакала» вся Кубань.

— Шож, — вздыхал дед Игнат, — полыхнув, як зирка (звездочка) средь темной ночи, та и нема. Був, чин не був?.. А може це сон, абож мрия (т.е. мечта)? Так-таки — був: люди брехать не станут…

БАЙКА ПЯТНАДЦАТАЯ, про «водопхай», благодатные травы и овощи, про борщ – Царь-еду, а также про «бикет», что умным дуракам

— А еще про моего батька ходил слушок, что якшается он с нечистой силой, — улыбаясь, говаривал дед Игнат и тут же отмахивался рукой от того «слушка», — то все брехня и бабьи нэдодумки! Просто вин був людина пытлива и хитроумна, не в пример нам… Основания к «слушку», вероятно, были. Батько, побывав на войне и пройдя турецкие и кавказские земли, ходил с

чумацким обозом в Крым, а потом и до самого Киева, с таким же обозом «промандрував» соляным шляхом через южную Россию до Саратова и до Казани, по Волге спустился до Астрахани, и путями незнаемыми возвратился на Кубань, — «через калмыков», чечен и прочих «азиятов», как тогда обобщенно именовали многочисленные народы Кавказа и дальнего Приволжья-Заволжья. Совершил он к концу жизни паломничество в Святую Землю, к гробу Господню, но про то особая байка, про то в другой раз, «як дойдет ряд»…

Он неплохо говорил по-черкесски, имел в закубанских аулах кунаков и, как гласила молва, пользовался у черкесов дружеским расположением.

Насмотревшись в дальних и ближних местах всякого разного, он кое-что из виденного пытался повторить у себя дома, около «ридной хаты». При этом он не изобретал нечто совсем фантастическое — «круглее колеса», нет, его нововведения всегда имели практическое применение. Первое, чем он удивил станичников, было сооружение на Ангелинском ерике водяного колеса, которое вертелось нескорыми водами степной речки, а прикрепленные к нему черпаки поднимали воду и выливали ее в короб. Далее та водичка по желобам самотеком направлялась вдоль капустных рядков. Выдергивая одну за другой деревянные затычки в желобах, Касьян поочередно орошал свою капусту, начиная с дальних пределов огорода. Посмотреть на Касьянов «водопхай» приходило немало любопытных. Деды трясли чубами и попыхивали люльками, степенно обсуждая его полезность, вспоминали о слышанных ими технических чудесах, которыми, как известно, славятся заграничные земли.

Если водяное колесо станичники восприняли как диковину и чудачество, то многим пришлась по вкусу другая затея Касьяна — третья пара колес к мажаре для перевозки сена и соломы. У хлеборобов-казаков шло негласное состязание: кто воздвигнет больший воз той же соломы. К тележным бортам крепились решетчатые «драбыны» (лестницы), подпиравшиеся удлиненными люшнями — вертикальными жердями, нижними концами упиравшимися в оси. Навалит казачина на такую мажару гору сена-соломы, сам заберется на верхотуру с длинной хворостиной и — «цоб, цабэ, пишлы, родимые!». И идут потихоньку волы, таща за собой скирду не скирду, а полскирды, это точно… А иной исхитрится наложить такой возище, что самому страшно забираться на такую высоту-высотищу, идет рядом со своим тяглом, держась за налыгач…. И вдруг тебе — третья пара колес! Так теперь же можно удлинить мажару, да и без опаски увысить поклажу ежели не до неба, то до полнеба… Красота-красотища!

Цоб-цабэ, знай наших!

И самые форсистые, «завзятые» казачки один за другим стали прилаживать к своим мажарам третьи колеса, остальным на удивление и зависть. И всем было хорошо, хотя тем же волам — им же не иначе, как приятно «тягнуть» за собой гору, — главное, с места сдвинуть эту великолепную поклажу, а дальше иди себе и иди… А позади тебя колышется, но не валится гора Араратская свежего сена-соломы!

А какие у батьки Касьяна волы были — загляденье! Сами кряжистые, рога — руками не обхватишь, ноги — что дубы мореные, копыта — ведерные казаны, а шкура — «ривнэсэнька та билэсэнька»! И силища у тех волов, что у паровиков, не меньше… Касьян на спор, бывало, сцеплял две, может и три мажары с соломой и его бычки — хоть бы что, поднатужатся, «цоб, цабэ, бодай вам!». И потянут ту сцепку за здорово живешь. Им удовольствие, а хозяину — выигрыш, четверть горилки. А уж коли в ярмо поставить третьего — запасного, — то «нема такого груза, шоб волы, значить втрех, его не взяли. Добры та дебелы булы, хай им спомянется!».

Батько Касьян напридумывал множество разных усовершенствований на своем ветряке. Делами помольными занимался брат — Спиридон, принимал приезжих, вел с ними нужные разговоры-переговоры, выполнял заказы. Касьян же, главный выдумщик и умелец, мастер на все руки, ладил к тому ветряку разные приспособления. Были тут и специальные крюки, поднимавшие мешки с зерном с земли, а то прямо с воза к жерновам, были механические сита для отсева отрубей, работала крупорушка, когда было надо — крутились точильные камни, круглые пилы и многое другое. Рядом с «млыном» Касьян соорудил маслобойню, у которой тоже было свое хозяйство — по обдиру семян подсолнуха и сурепки, их помолу, поджарке и так далее. На касьяновом подворье постоянно что-то варили, парили, пилили, строгали, сушили, отмучивали, настаивали, перетирали… В разное время года тут варили то патоку, то мыло, обрабатывали кожи, сучили бечевки, плели сети, делали верши, отбеливали холсты и рядна, гнули дуги и колеса, обтягивали их ободьями, ковали коней, бондарили кадушки и «шаплыки», и готовили массу самых разнообразных обиходных вещей как для собственной потребы, так и «на продаж».

Занимались всем этим касьяновы братья, их жены и невестки, очень редко на короткое время брались внаймы люди посторонние, всегда малонадежные, «ледачи», и потому не желательные. Нанимались всегда на конкретную работу — выкопать яму, сложить стену…

Как рассказывал дед Игнат, до службы крутившийся в этом хозяйственном коловороте, — успевали делать все — пахали и сеяли, пололи и убирали, ходили за скотом и бесчисленной птицей, занимались всякого рода заготовками припасов, работали на ветряке и около него, успевали поохотиться и порыбачить. А тут еще батько Касьян удумает какую ни то новину…

Вставали, правда, до рассвета, спать ложились с темнотой, а когда, бывало, шла молотьба, то вообще про сон забывали — прикорнут прямо на току, кто где, и снова за дело. Да и то, чтобы дать передых коням, а сами, мол еще отоспимся. И отсыпались, и еще как: в длинные зимние ночи, жалко только, что зима на Кубани короткая — только прошли колядки, а уже и февраль, и закрутилось все по тому же кругу. Пахота под яровые, под огороды, посевная, и пошло-поехало…

В межсезонье неугомонный Касьян тоже не давал никому покоя. Обычно осенью затевал какое-нибудь новое строительство или переделку чего-то, на его взгляд, не такого, каким оно ему виделось. И все знали, что если он ладил «цэгэльню» для производства кирпича, значит, в думках его намечалось возведение чего-то такого, чего у них не было; если из Красного леса завозились бревна — предполагалась их распиловка, обработка и создание чего-то такого, «на шо ще собака нэ гавкав»…

Но подлинную славу и авторитет Касьяну приносили его лекарственные опыты. Причем он по мере своих сил лечил не только людей, но и поправлял здоровье «худобы» — всякой скотине, коням же в особенности. Лечил в основном травами, в которых понимал толк и значение. В начале лета, обязательно в полнолуние, на недельку отправлялся в Закубанье пополнить свои запасы разнотравья. В черкесских аулах у него было немало друзей и добрых знакомых, а с одной семьей — почти родственные отношения. Дело в том, что однажды Касьян, будучи «в городе», как тогда в просторечии именовался Катеринодар, приметил на рынке бродяжного хлопчика лет семи-восьми, явного черкешенка, оборванного и голодного. Подкормив пацана, Касьян узнал, что хлопчик отстал от родных и почти месяц блуждает по базару, надеясь встретить кого-нибудь из своих. Касьян, говоривший по-черкесски, попытался узнать у него, откуда он, из какого аула, кто родители, но черкешонок ничего путем не знал, сказал только, что звать его Хасаном.

— Та неужто? — обрадовался Касьян. — Ты Хасан, а я — Касьян! Воно, мабудь, «Касьян» и есть по-вашему «Хасан»!

Короче говоря, батько Касьян привез того Хасана, или лучше сказать, Хасанчика, к себе в станицу и при первой же поездке в

Закубанье захватил его с собой. У них, у черкесов, с прозвищами большой порядок и там скоро разобрались, к какому роду-племени относится тот Хасанчик, чей он сын, внук, племянник. Через три дня хлопчика обнимал дядько, а еще через день-другой — «ридна нэнька». Ну, а Касьян стал их кунаком и вообще — лучшим из «урусов», как называли азияты в те поры нашего брата православного.

Так вот, бабка того Хасанчика была знахаркой. У них там, в горах, что ни старуха, то знахарка, а что ни старик, то мудрец, а бывает и пророк… Воздух, говорят, там такой, что к старости человек становится чуть не святым. К солнцу они, опять же, ближе — горы-то высокие. Вот от той старухи батько Касьян и поднабрался знахарской премудрости, даром, что она — басурманка. Господь Бог и басурман для чего-то создал, только нас про то не вразумил…

— Отож там, на небе, — говаривал дед Игнат, — думаю, не дурни сидят, знають, што делают... Это мы тут, на низу, по своей недотепности грешим и баламутим, не при знаем других людей за людей, тусуем их, бьем… А воны нас… И не буде за це нам прощения може до самого Страшного суда…

Старуху-черкешенку звали Салтанат. Батько Касьян считал, что это, если по-нашему, то скорее всего «Солоха», а может, еще как. Так что уже нехай будет так, как есть — Салтанат… И ездил он в аул тот неблизкий иногда по два раза в год — весной и осенью, и привозил для здоровья и против всяких болячек засушенную траву, коренья, кору. Собирал их и тут, в своем юрту, лечил родных, близких и дальних. Лечил и учил, при какой хворобе что именно и каким наилучшим способом использовать.

— Нема такой напасти, — говорил он, — котора не имела бы свою напасть. Батько Касьян не считал, что только особые, какие-то необыкновенные «средствия» могут помочь болящей «людыне» — вокруг нас растет несчетное число домашних и диких созидателей и накопителей той силы, что благотворно влияет на нас даже тогда, когда мы о том не думаем. «Любой овощ, — говорил он, — лекарство, а сад-огород — аптека!».

— Вот видишь: спорыш, — вспоминал дед Игнат его наставления, — трава себе и трава, а як припечет в животе, так пей ее настой вместе с ромашкою. А цэ — подорожник, всяку рану лечит, а ось цветок-василек, вин от водянки, та ще от глаз, от сердца… — Атож, думаешь, чого цэ наши люди так борщ любят? — вопрошал дед Игнат с хитрецой и наставительно разъяснял: «А потому, шо в борщ кладется почти вся аптека! Шо ны возьми, все от чогось помогае!» И он уверял, что свекла («буряк») лечит головные боли и при насморке помогает, морковь — от

малокровия, при ожогах и ранах ее сок — отличное средство, лук («цыбуля») — от горла, при кашле и при головокружениях. Капуста — печенку лечит, желудочные боли усмиряет, картошка тоже голове помощница, настраивает ее на ясность. «Та сама борщева юшка — кисла, — говорил дед, — а кислота убивает все хворобные мокробы-микробы»…

Дед Игнат в этом месте своих воспоминаний обычно отвлекался и поучал нас, его внуков, как надо творить настоящий кубанский борщ. Именно «творить», потому что иначе не назовешь священнодействие, в результате которого и созидается та самая царь-еда, что зовется борщом. И чтобы, значит, обязательно с салом, так как «без свинячьего тила нэ бувае дила»! Это в щах и таракан — мясо, в борщах же сало может заменить и дополнить и говядину, и дичь, и все такое прочее. Для борща казак женится, для сала живет и крутится! «Хоть шось, абы борщ!» — говаривали станичники-черноморцы.

— Само собой, — говаривал дед Игнат, — шо кажда хозяйка варит борщ чуть-чуть иначе, чуть-чуть по-своему, и сколько на Кубани хозяек, столько и разных борщей. Но все ж основа одна — шоб все, шо полагается, було в той борщ положено, и не гуртом, все сразу, а по давно опробованному порядку, а не то одно разварится, а другое не сварится. По его словам, цыбуля должна чуть-чуть распуститься, буряк смягчиться, а капуста — похрустывать на зубах. Тут хозяйка — не просто повариха, а капельмейстер в добром оркестре, который вводит в действие каждый инструмент в нужный момент. А ну как все задудят разом и изо всех сил! Что это будет за музыка? Одному дудочнику или барабанщику-довбышу, может, капельмейстер и не нужен, а оркестр без него — сирота. Так вот, какой-нибудь кулеш или каша-пшенка и есть тот дудочник, а борщ — оркестр… Борщ, в конечном счете — симфония, опера!

И это обычный, будничный борщ, даже, может, постненький, а сколько он требует заботы, внимания и способностей его созидателя. А если праздничный, торжественный Его превосходительство Борщ с большой буквы, — допустим, на курином бульоне с раковыми шейками, или допустим, из красной рыбы?

А как он красив, настоящий золотисто-оранжевый кубанский борщ — загляденье! А запах! Аромат! Бывает, идет казачина по улице, и за полтора квартала от родной хаты чует тот запах, а соседи по всей округе говорят: «Опять Лукьяновна свой борщ маракует! Творит, варит…».

И при всем своем неподражаемом смаке и красоте, тот борщ — целебный! В нем каждая былинка-травинка, каждая овощинка

— пагуба для хворобы и благодать для здоровья. Вот почему у нас любят тот борщ, справленный-исполненный все одно как по нотам.

Как вспоминал дед Игнат, в те стародавние времена батька не звали обедать, звали «есть борщ», или «борщевать». И батько Касьян сажал семью за круглый стол, выскобленный до желтизны. В центре устанавливался «чавун» с борщом и солонка с солью, почетное место занимали чеснок и перец. Перед каждым едоком — «черепьяна мыска». Эти миски тоже были касьяновым нововведением — до того все ели из общего чугуна… Хлеб нарезал «добрыми шматками» сам хозяин дома, для чего имелся специальный нож, ни для чего другого не применявшийся. Борщ по мискам разливала хозяйка, или, как тогда говорили, — «насыпала», ибо борщ обязательно был густым настолько, чтобы ложка в нем стояла «стырчмя». Если борщ случался с мясом, что было, кстати, не часто, она же клала каждому в миску его «порцион». Она же «подбивала» (забеливала) борщ сметаной.

Окинув строгим взором собравшихся, и убедившись, что все на местах, батько еще раз крестился и говорил: «С Богом!», и трапеза начиналась. Разговаривать за борщом не дозволялось, как и чавкать, «шмыгать носом», сморкаться… К концу трапезы батько задавал вопросы, мог пошутить, что-нибудь рассказать. Второго блюда после борща, особенно, если он был с мясом, обычно не полагалось. Исключение бывало во время косовицы и обмолота — усиленная работа предполагала усиленное питание, и борщ дополнялся кашами, варениками, свежими овощами, неизменным салом. Такой борщ назывался «женатым». Борщ без каши — вдовец, говорили казачки, а каша без борща — вдова… Каждый обед заканчивался «взваром» — компотом, чем-нибудь «ласенькым», то есть вкусненьким (фруктами, к примеру, или киселем).

Батько Касьян ввел в семье обычай чаевничать-самоварничать. Первые годы его соседи и случайные гости удивлялись: что это вы — не москали, а пьете чай…

Чай пили по утрам и вечерам, по воскресеньям самовар не остывал весь день. А в зимнее время, когда ночи были длинными, батько Касьян, уже, бывало в годах, вставал посреди ночи, разводил большой самовар, жарил яичницу на сале, будил семейство:

— Вставайте, сони, подкрепимся, горячую воду погоняем… А то, мол, до утра с голодухи ноги протяните! Оно и не справедливо: день короткий, а едят три раза, ночь же длинная — и никаких харчей! Для чая батько Касьян приносил воду с «Бузинового» родника, что бил из земли в полуверсте от «млына»

на берегу Ангелинского ерика. Та вода, по его мнению, была специально создана для чая — особой чистоты и особой вкусноты. А любимой присказкой батьки Касьяна была: чай — не водка, много не выпьешь! А на деле выпивали того чая самовара по два зараз… И любил также рассказывать, как его угощал своим чаем старый калмык где-то в астраханских степях. Тот чай заваривался на каких-то необыкновенных травах с коровьим маслом и солью — не питие, а харч, вроде нашего борща. Хозяин-калмык, наливая казаку-кубанцу медную пиалу-пляшечку, приговаривал: «чай пиешь — арел летаешь, водка пиешь — земля валяешь! Гроши есть — базар гуляешь, грошей нет — юрта сидишь!».

Весной и осенью любил Касьян чаевничать на «бикете». Так он называл деревянную башню саженей в десять, которую соорудил в дальнем углу сада. Для чего была вымахана та башня-«бикет», никто не знал, а когда, случалось, спрашивали о том у Касьяна, он, ухмыляясь, отвечал: «Отож шоб вы знали: умным дуракам — школа!».

Скорее всего, она, та башня, напоминала ему недавно отмершую казачью службу на пикетах — «бикетах», как их именовали черноморцы. Службу тяжелую, опасную, и в то же время памятную казачкам не только своими невзгодами-тяготами, но и боевой вольницей, «казакуванием».

А обзор с того сооружения был чудный — впереди простирались поля, поля, с курганами«могилами», а с другого бока — плавни, заросшие камышом, рогозом, кугой…

Батько Касьян поднимался на свой «бикет» с малым самоваром и обозревая округу, гонял чаи на свежем воздухе. Благодать…

Может, в этом и была школа. И умным, и не очень.

БАЙКА ШЕСТНАДЦАТАЯ, «дюже сумнительна» — про странствие батьки Касьяна в Святую землю и про то, что с тем было связано

Ближе к старости батько Касьян подружился со станичным попом — отцом Димитрием и часто с ним чаевничал, а по праздникам, бывало, и бражничал, баловался скромной трапезой, как говаривал тот священник, укрепляя дух и грешную плоть… «Батько Мытро», как его именовали станичники, был из себя мужчина видный, — рослый, плечистый, с могучими руками и дремучими патлами.

— Священник обязан быть статным, — подчеркивал дед

Игнат, — без стати и конь — корова, и казак — рохля… А тем более — поп! Вин же, як це кажуть: олицетворяе! И не шо ныбудь, а образ и подобие! «Батько Мытро» был казацкого роду-племени, и «як людына грешна», любил охоту. Правда, однажды вместо зайца застрелил бродячего кота, «хай ему грэц!», чем ввел в зубоскальство весь свой приход. Однако прихожане забыли ему скоро то прегрешение, потому что любили своего «батьку-попа», охотно отпускавшего им грехи не только по долгу пастырской службы, но и по доброте своей и мудрости. Был он весьма начитан в святом писании, и с ним было интересно «побалакать» не только про наше «житьтя», но про что-нибудь божественное, а то и вовсе заумное, потустороннее. Скорее всего, именно под влиянием батьки Мытра наш Касьян и решился на поездку в Святые места и к самому Гробу Господню.

А тут еще подвернулся Касьяну один зажиточный болгарин-огородник, у которого он изредка покупал на катеринодарском базаре семена и рассаду, а больше «балакал-калякал» про дела огородные и житейские. Разговорившись как-то с болгарином, наш Касьян проведал, что тот собирается отправиться в Святую Землю, да хотел бы иметь напарника, хоть чуть-чуть ему знакомого. Не задумываясь, Касьян предложил себя, болгарин согласился, и обещал выправить все волокитные бумаги, что и сделал наилучшим образом. Переговорив с кем надо, записал напарника Касьяна куда полагается, и в следующий его приезд в город сообщил, что с собой брать, когда и откуда отправляться.

С болгарином Касьян совсем сошелся после того, как у того, раззявы, украли оклунок с харчами и они ели Касьяновы станичные припасы-подорожники. Народу на пароходе было много, но сдается, что оклунок стянул кто-то из матросов, «хай ему икнется!». Не может же отправляющийся к Гробу Господнему и целыми днями молящийся паломник пойти на такой грех — обездолить своего же брата-паломника. Хотя, оно как рассуждать: ведь если не согрешишь, то не покаешься, а не покаешься — Царствия Небесного будешь лишен напрочь. Всяко могло быть, тут уж воля Божья. И как говорят, не зевай, Хома, на то — ярмарка…

С болгарином батько Касьян потом крепко знался, встречался с ним не только на катеринодарском рынке, но и посещал его хутор где-то под Анапой. Болгарин теперь ему семена так давал, приговаривая:

— Касьян, мы с тобой як два брата. Ты меня от голодухи выкормил, и я тэбэ забыт нэ будэ…

Но это дела больше «огородные», а не «горние»…

Про свое паломничество в «Святу землю» батько Касьян

старался подробно не рассказывать. «Ну був, тай був… Помолился… Свечку запалил на Христовой могиле…». Отец Димитрий посоветовал ему «языка пидризать и не смущать людей», да и сам Касьян к тем воспоминаниям относился задумчиво и неуверенно, как будто бы он и не был живовидцем того, что есть на той Святой земле.

Но кое про что он все же проболтался, особенно в первые дни после своего возвращения. Да и потом, нет-нет, да забывшись, выдавал какую-нибудь подробность из святоземельской жизни. Шила в мешке не утаишь, правду от людей не схоронишь… Так что домашние в основном знали о его приключениях-злоключениях.

Дело было в том, что Касьян не обрел ожидаемой благодати или душевного просветления. Батько Касьян ждал чуда, пусть небольшого, «малэсэнького», но его не оказалось. И он, судя по всему, жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Почти все виденное им в том путешествии оказалось обыденным, простым, порой даже слишком скромным, приземленным…

— Все, шо прописано в Святом писании, — говаривал Касьян, — все там есть, це правда… — И помявшись, махал рукой: Но оно зовсим не таке, як малюють, или як мы про то думаем!

— Чого там богато, так всяких храмов, — говорил он и качал головой. — Куда не глянь, все церкви, церкви, храмы, соборы, часовни. Велики церквы, малы часовни… Куды не плюнь, прости Господи, скризь Божья хата! А може, краще було б, як бы одну храмину спроворилы, но чтоб — ну, не до самого неба, а блызь того! И было бы добре, — мечтал он, — в такой бесконечно высокой храмине — да лестницу («драбыну») от яруса к ярусу, и чтобы так вот за облака, «за зиркы» (за звезды), далеко-далеко ввысь, «до самого-самого», а может, еще выше… До неба не нужно, того Бог не допустил бы, как в Вавилоне, а то будет наказание и поношение человеков… А куда-то туда, откуда, может, одинаково и до земли и до неба, ибо там, скорее всего, и есть что-то такое, чистое, справедливое, близкое к совершенству и равенству…

Купались паломники в самой Иордани, да только речка та была «не ширше нашего ерика, ричка, як ричка!»… Море Галилейское — «зовсим не море, а так… Ну, хай, велика плавня! С одного боку в ту плавню Иордань влывается, с другого — вылывается… дуже текуча та Иордань, так наша Кубань — ого-го яка текуча!». По морю же тому, говорят, Христос ходил, «яко по суху», и то — знатное чудо, «та только давно це було… дуже давно…».

Сама Христова могила, по его словам, оказалась «невеликим

закутком, обнесенным каменьями», а в том закутке — «дырка»… Не понравился ему и каменный «пуп земли», который паломникам всерьез показывали в Иерусалиме. «Отож, як есть пуп, — рассуждал Касьян, — значить здесь тут поблизости и все остальное, шо непотребно…».

Святая Земля представлялась Касьяну земным подобием рая, увидел же он гористую полупустыню, пески, колючие бурьяны. По слухам, на Святой Земле родилось жито, высотой в сажени полторы-две, с зерном, как лесной орех, а то и более того. Касьян в тайне лелеял надежду не только увидеть то чудо-жито, но и прихватить с собой «жменьку» его зерен на развод. И уже представлял себе, как колышутся под ласковым кубанским ветерком святоземельские колосья. Сначала небольшая грядка, а потом и нива, где-нибудь вдоль Ангелинского ерика… Но о таком жите в Святой Земле никто ничего не знал.

По касьяновым приглядкам, люди здесь жили бедновато, если не сказать — скудно. Вместо хлеба (ах, какие у нас на Кубани «паляныци»!) пекли лепешки, вроде черкесских чуреков, про борщ и не слыхали, сала не ели. Все это никак не вязалось с воображаемой картиной земного рая. Про вареники, по словам деда Игната, там тоже ничего не знали. Действительно, что это за рай — без вареников, без сала, прости нас, Господи! Ну, а живут там люди как люди, азиятские христиане, а также множество людей разных других вер.

Особенно возмутили Касьяна многочисленные торгаши, роящиеся «як пчелы» вокруг всех святынь, и чего только не предлагающие паломникам «за гроши и тильке за гроши».

— Это же надо додуматься, — возмущался Касьян, – слезы Богородицы продають! Абож — «Господне дыхание»! Ось такая склянка, як у нас из-пид касторки, а там — оцэж само «дыхание»! И дурни люды купляють! Видно, не зря Господь повыгонял тех менял и торговцев из храма, да только они далеко не пошли, а тут же около храма и осели! Бога не боятся, людей не стыдятся, да нам то не в зависть.

А еще батько Касьян прослышал, что кроме священного Писания, оказывается, есть писание несвященное. Попутчик-монах — «людина письменна и умна» — поведал как-то ему про Евангелие от Хомы. И тот Хома, да простит ему Бог, описывал детские годы Господа нашего Иисуса Христа, поворачивал дело так, будто Иисус был не такой уж всемилостивый и справедливый. Играл он, к примеру, с ребятами-погодками на берегу речки, лепил из мокрой грязи птичек и тут же оживлял их. А один из игравших с ним хлопчиков поломал прутом те комья грязи. И тогда Иисус превратил его, того пацана, в сухую

деревину… А когда другой мальчишка толкнул его, а может и «по вязам зъиздыв» (ударил по шее), чего не бывает в детских играх, то маленький Иисус умертвил его, а его родителей, с плачем пришедших к названному отцу Иисуса — ослепил…

Оно, конечно, и в святом Писании Иисус сказал, что принес людям не мир, а меч, но то было как бы предупреждение о наказании за неверие и грехи, а вот детские проказы смущали Касьяна своей неоправданной жестокостью.

«Батько Мытро», закадычник Касьяна, терпел рассказы-байки вернувшегося из дальних странствий дружка, но терпел до времени. Евангелие от Хомы он все же категорически отверг, объяснив другу, что «може воно и було», но коли не освящено соборами, то это значит, что его как бы и не было вовсе. Так, один соблазн и блуканье. Брехать, не макуху жевать. Мало ли чего он слыхал. Человечьей брехни на свинье не объедешь. И лучше, если все, что про то набалакано-набрехано, — будет забыто-закопано… А чего он, Касьян, не постиг или не понял, не проникся и не просветлел духом, то на то воля Божья, и его, Господне таинство, неизреченная и непостижимая для человеков мудрость. «Отож тебе, старого недотепу, бес подпер… Шож ты хотив, дурношап, в рай надурницю въйихать? А раз встряв в святэ дило, будь его достоин… Так что забудь, Касьяну, о тех побрехушках монаха-развратника, брехали его батька свиньи, забудь до конца дней своих…». Тут и были сказаны те самые слова о «подрезании язычка», что ввели нашего Касьяна в длительные раздумья.

И не одну чарочку-пляшечку осушили друзья в том обоюдном сумнительном раздумье, ибо даже на охоте бывает, что вместо законной дикой худобы-зайца попадает на мушку «свийский» кот-котович, а что уж тут говорить о делах и целях возвышенных.

Ну, а чтобы бес не смущал, то батько Мытро посоветовал: если явится наваждение какое, или вспомнится то непотребное лжеевангелие от Хомы или еще от кого, «то скрути им дулю. Не знаю я, як от “фиги”, а от дули и от тех речений наваждение незамедлительно исчезает…».

Нужно сказать, что «кручение дули», по убеждению деда Игната, помогает и во многих других случаях. Например, при неприятном разговоре: кто-то тебе говорит что-то непутевое, а ты не спорь, скрути ему в кармане дулю, глядишь, и все наладится. И от сглазу: хвалит языкастая соседка твою «детину» или еще что-нибудь — скрути тайно дулю… Надежное средство! Жаль вот только, что его стали забывать, пьют «от нервов» валерианку и тому подобное — не помогает… А скрути вовремя дулю — все наладится наилучшим образом…

Батько Касьян, судя по всему, к этому средству прибегал

регулярно, потому, может, и умом не тронулся от своих раздумий… Мудрый был тот отец Димитрий, что и говорить. Батько Касьян же с годами махнул рукой на отсутствие земного рая — «ну, нема, так нема, шож тут скажешь…». И как видно, лучше нашей родной кубанской земли ничего на свете нет. Заберется, бывало, на свою башню-«бикет», сядет у самовара и вздохнет: «Великий город — велика держава, велика держава — велика смута… А наш хутор — рай!».

БАЙКА СЕМНАДЦАТАЯ,
про штурм-взятие турецкой крепости Анапы, да про ятаган шейха Мансура

Еще года за два, за три до высадки на Тамани первых запорожцев верного Черноморского войска[9] здесь появилась небольшая группа («кучка», как говаривал дед Игнат) хитроумных казацюг, чтобы самолично на месте разнюхать, попробовать, как говорится, на зуб, что тут за земли и воды, какие они на деле и пригодны ли к житию-бытию. Надо было загодя все путем разведать, пощупать, без спешки и без лишних свидетелей — царских чиновников-доглядателей. Не просить же себе у матушки-царицы Катерины кота в чувале, а то на слух выпросишь незнамо что — себе ж на горе, обузу и хлопоты. И с той кучкой разведчиков-квартирмейстеров, скажем так, явился на Тамань и наш отдаленный предок, вроде как внук того Касьяна, что так удачно женился на не дюже красивой казачке. И тоже, говорят, Касьян, куда ж от них, Касьянов, денешься!... Да только этого нашего прапрадеда в объезд кубанских земель-угодий не взяли, вроде как бы по хворобе его, а оставили на Тамани вместе с друзьями-товарищами курень блюсти, да за враждебными горцами и турками приглядывать, чтобы они какого-такого лиха не спроворили супротив наших поселений.

Чем тот Касьян поначалу занимался — слух до нас не дошел, но только во время одного набега немирных горцев он здорово приглянулся друзьям-товарищам из местных, а кое с кем и подружился, по словам деда Игната, потому «як був он людина хоробра, находчива та весела». Последнее обстоятельство стало, вероятно, решающим, так как в те времена на той беспокойной границе кто не был храбрым и находчивым? А вот шутка, а то и зубоскальство — весьма ценились, вкупе, конечно, с другими воинскими доблестями.

И стали те друзья приглашать его в свою компанию, а потом и на дело брать, в набеги, поиски и просто в дозоры по плавням и камышам, которыми и посейчас изобилуют низовые кубанские места.

И как-то раз довелось ему в паре с одним, может офицером, а может, и простым связником отправиться к нашему соглядатаю-черкесу из ближнего к Анапе аулу. По словам деда Игната, тот азият в юных годах был у нас в аманатах (заложниках), знал по-русски, сочувствовал России и, видать, не любил турок. А может, по привычке уважал «урусов» и за небольшую мзду, а то и вовсе «за так» сообщал нашему командованию, что они, те турки,

замышляют, что для тех замышлений делают, и сколько у них есть чего — «аскеров», то есть солдат, пушек и прочего армейского боевого и кормового припасу.

Сакля его стояла опричь аула, в густом подлеске, так что спустившись с горы, наши посланцы попали прямо к нему на баз. Черкес провел их в кунацкую (по-нашему — гостевую) пристройку, накормил и рассказал старшому, что знал такого полезного для представителя «белого царя». А когда получил мешочек с серебряными монетами, то так вдохновился, что предложил гостям завтра же с утра поехать в Анапу и поглядеть самим на ту крепость, тем более, что турки ее в последнее время сильно укрепили.

Правда, не в саму Анапу, туда по случаю войны посторонних не пускали, а на торжище у главных ворот — оттуда, уверял черкес, все равно все видно. Оказывается, его родич, а также кто-то из хороших друзей-кунаков служили в Серебряных воротах крепости. Те ворота так назывались потому, что через них шла дорога к «Серебряным ключам», откуда жители и гарнизон возили себе воду особенно чистую и сладкую. Ворота те не сохранились, а дорога к ключам — теперь обычная анапская улица, так и называется — «Серебряная» (сейчас — улица Ивана Голубца). Но это так, к слову…

Так вот, те Серебряные ворота с началом войны были завалены камнем, а привратников перевели на усиление охраны основного прохода в крепость — башню, выходящую к Бугур-реке. И как раз завтра, в базарный день, тот родич с утра будет дежурить там, не один, конечно, но это не имеет значения — черкес передаст ему бурдюк с бузой, до которой тот большой охотник, и все будет, как надо… Родич расскажет последние новости, потому как они, привратники, знают все…

Старшой «чжеркотал» по-черкесски, а Касьяна, знавшего тогда по-азиятски, может, с десяток слов, решили в случае чего выдать за немого, что для него, большого любителя поговорить-побалакать, было немалым испытанием. Оба «уруса» давно не брились, черкес дал им по старой лохматой папахе, чего-то из поношенной одежки, так что вид они приобрели вполне подходящий. И чуть свет, загрузив арбу просом, чем-то еще на продажу, они подались на анапское торжище.

Нам сейчас трудно судить, насколько обоснованно рисковали друзья-товарищи в то далекое от нас утро, не знаем мы и деталей той поездки, что там было и как, а только Касьян со своим напарником побывали у самых ворот турецкой крепости, и можно только предполагать и думать, что они увидели, про что узнали. Думать хорошо, а догадываться лучше…

А вот одну подробность того анапского рынка-базара память предков сохранила: Касьян впервые увидел там знаменитого шейха Мансура[10], с которым судьба его впоследствии крепко столкнула. Шейх, как объяснил дед Игнат, если по-нашему, это как бы старший среди мусульманских мулл-попов. Ну, может, архиерей или что-то в этом роде. А встреча с попом, если это даже и не наш поп, а басурманский, а тем более еще и шейх, никогда к добру не приводила.

Мансур славился как рьяный недруг, если не сказать хуже, России и всего русского, и к тому же он, считали азияты, был еще и пророком. Так что каждое его слово воспринималось как откровение Аллаха… Ясное дело, когда человек много говорит, глядишь, где-то что-то и угадает, а Мансур «балакав» много и горячо. Вот и в тот день он, восседая на коне, говорил, если не сказать — кричал, громко и яростно. Как пересказал Касьяну его напарник, Мансур призывал к смертельной схватке с «гяурами». Он уверял, что русские скоро будут здесь, под Анапой, потому что «Гуд-паша» уже «перелез» через Кубань. «Гуд-пашой» он называл русского генерала Гудовича[11].

Потрясая выхваченным из-за пояса ятаганом, шейх уверял слушателей, что турецкий султан не оставит Анапу в беде, и чем быстрее гяуры-урусы придут сюда, тем быстрее их покарает Аллах…

Он, тот басурманский архиерей, был совершенно не похож на обычного муллу или молчальника-монаха. Нет, в обличье неистового и крикливого шейха пребывал настоящий абрек, а может — и сам сатана.

В общем, та вылазка наших разведчиков закончилась вполне благополучно и, по словам деда Игната, начальство было ими довольно. А недели через две Касьян попал в казачий отряд, направленный, вкупе с прибывшими из Крыма войсками под Анапу, на помощь генералу Гудовичу, который по приказу самого светлейшего князя Потемкина (приписного казака Кущевского куреня Грицька Нэчёсы) осадил эту турецкую крепость.

Как заноза в глазу торчала та фортеция на краю земель дружественных и враждебных России горских племен северо-восточного Причерноморья. Через Анапу из Турции морем везли оружие и всякие припасы для воинственных племен этого края, отсюда и турками раздувался огонь беспощадной и кровопролитной войны с «неверными урусами», отсюда же в Турцию и другие страны Востока уходили корабли с захваченными и проданными в рабство людьми. Немалую долю «живого товара» составляли молодые женщины, которыми заполнялись гаремы восточной знати. Анапская крепость была,

пожалуй, последней в этих местах столицей работорговли. Нам сейчас трудно это понять, но такая «коммерция» в те времена была делом обычным. Крымская татарка, когда хотела подчеркнуть свое достоинство и независимость, могла в запальчивости крикнуть мужу: «Ты меня не в Анапе купил!» — я, мол, тебе не рабыня…

Между русскими и турками за Анапу шла долгая свара, крепость переходила из рук в руки, пока окончательно не вошла в состав империи «Белого царя». И одним из славных, хотя и очень кровавых эпизодов той борьбы и перемоги была осада и взятие крепости Анапы войсками генерала Ивана Гудовича летом 1791 года.

Глубокой ночью русские со всеми предосторожностями, «крадькома» (украдкой) подошли вплотную к крепости и перед рассветом под гром артиллерийской канонады пошли на штурм. Отряд, в котором был Касьян, двинулся к бастиону, прикрывавшему главные ворота.

Переправившись через Бугур, касьяновы соотрядники нарвались в темноте на заграждение и были остановлены. Но подмогнули левые соседи, и наши потеснили турок, а потом по наведенным теми соседями мосткам через ров вломились в город через пробитые пушкарями бреши и осыпи. Вот что значит воинская взаимовыручка и радение за общее дело. Гуртом, как говорят, и батьку побить легче…

Сопротивлялись турки отчаянно, с остервенением, и пощады в том кровавом побоище не было никому. Да, силен и страшен был турок, но наш солдат сильнее, а когда его раззадорят, то он не только что турка — самого черта злее. И смерть ему была своим братом. Он знал: погибнуть в бою — дело Божье, и ничего не боялся в той свирепой сече. А уж храбрости в нем было сверх всякой меры, или, как говорят казаки, «от пуза»…

Наступление шло по всему сухопутному обводу крепости. Перебив кого удалось, на бастионах и примыкающих к ним укреплениях, наши солдатушки устремились по узким улочкам вперед, вышибая басурман из горящих домов и других построек. От орудийных и ружейных выстрелов стоял оглушительный грохот, в котором не было слышно ни команд, ни стонов умирающих.

Под конец боя, теснимые дружным напором русских, турки суматошно отходили к высокому берегу Малой Бухты («бухты Кучум») и, не имея возможности закрепиться, прыгали с верхотуры вниз, всмерть разбиваясь о дикие скалы. Взошедшее к этому времени солнце сквозь завесу темного дыма осветило картину страшного погрома: в городе не было ни одного целого

дома, улицы и перекрестки буквально завалены трупами — одних русских в этой сече полегло более тысячи человек, а турок в семь раз больше, не считая тех, кто разбился или утонул, прыгая в море.

— Отаж Анапа, — отмечал дед Игнат, — совсем малый куток. Так шо вся та молотьба проходила на делянке, меньше казачьего земельного надела. Горяча сковородка, а не куток! К полудню выстрелы поредели, и лишь где-то у полуразрушенной мечети, считай, в самой середине города, пальба не стихала. Именно тут в последней заварухе и оказался наш Касьян, из разговоров знавший, что там, недалеко от басурманского храма, ближе к морю находилась земляная тюрьма — зиндван, в которой томились подготовленные к отправке за кордон пленные. Но до того зиндвана нашим воителям дойти сразу не удалось — в подвале одного из разрушенных домов засела кучка самых свирепых аскеров и отчаянно отстреливалась от наседавших «урусов». Окружив тот погреб, наши солдаты, обстреляв их, крикнули, сдавайтесь, мол, чего зря погибать, сдавайтесь, а то взорвем вашу хату порохом! Те в никакую. Тогда наши, не ожидая бочек с порохом, кто с ружьем, кто с шашкой, кинулись в тот подвал. Касьян увидел перед собой чернобородого азията, который, выхватив из-за пояса кривой ятаган, хотел было пырнуть одного из «урусов». «Никак басурманский архиерей!» — промелькнуло в голове у Касьяна. Быстрым и крепким ударом из-под низу он выбил из рук неистового вражины ятаган, и в тот же момент три или четыре русских багонета-штыка уперлись в грудь предводителя аскеров:

— Аман!

Так был пленен свирепый шейх Урушма Мансур, вдохновитель газавата всего Северного Кавказа. Подобрав ятаган, Касьян вместе с другими заспешил к зиндвану. Но там все было кончено: у входа и в самой яме лежало десятка два обезглавленных трупа, связанных ремнями. Турки, предчувствуя собственную гибель, вырезали всех своих пленников.

Битва между тем затихла. Посидев на берегу, Касьян вместе с товарищами двинулся к бастиону, где им был назначен сбор после сражения. Множество трупов беспорядочно громоздилось среди развалин и пожарищ. По главной улице, идущей мимо мечети к восточным воротам (впоследствии «Русским»), текли ручейки крови. И нельзя было разобрать, чья то была кровь — русская, турецкая, черкесская… Человечья кровь. Смерть уравнивает всех и навсегда.

Семь российских походов и несколько штурмов видела Анапа, но так уж случилось, что такого побоища, какое учинили ей

«урусы», предводительствуемые генералом Иваном Васильевичем Гудовичем, ни город, ни окрестные поселки не испытывали.

Во время сражения в крепости наши тылы и обозы хотели было пошарпать горцы. А заодно и подмогнуть своим друзьям-туркам. Да не тут-то было: добрую острастку дали им казачки-гребенцы да терцы — только тех абреков и видели! Не зря в Анапе по сию пору две улицы носят названия, данные им когда-то в память о подвигах тех славных воинов… А вот черноморских казаков у Гудовича было мало, так — крохи, и улица Черноморская в Анапе была названа уже за другие горячие события — за отличия наших казачков-черноморцев при взятии Анапы во времена Николая Первого. Тоже славное было дело, после которого Анапа на веки вечные стала русской…

Собрав своих убиенных, войска к ночи вышли из мертвого города и расположились на бивуак вдоль ближайших гор и пригорков, где и простояли несколько недель.

Касьян в эти дни не терял даром. Он несколько раз наведывался в аул к тому знакомому черкесу, что возил их с напарником на анапский базар. Дело в том, что еще при первой с ним встрече он сумел, как бы невзначай, но кстати, познакомиться с его дочкой — дивчиной годов семнадцати, а потом, как говаривал дед Игнат, войти к ней в доверие и в надежду. Да и как могла устоять, та дивчина, супротив яснооkого, чернобрового казака, перед которым не устояла сама турецкая крепость!

— У молодых, — усмехался дед Игнат, — всегда так бывает: чуть побачит кого подходящего, сразу примеряет под свою судьбу, а чи шо не пара мне он… или она… Так или иначе, а Касьян с той черкешенкой «примерялись» друг к дружке не долго, а очень скоро сговорились, о чем было надо. Оставалось уговорить батьку, ну, а на тот случай, если он заупрямится, то решено было держаться старинного обычая: сделать вид, что жених украл свою ненаглядную, и удрать вдвоем подальше от отцовских глаз.

Но до того не дошло: черкес с радостью получил от Касьяна трофейный ятаган самого шейха Мансура и согласился с молодыми. Видно, такова была воля Аллаха, и у нас ведь не зря говорят, что браки совершаются на небесах. Судьба! А от судьбы и на коне не ускачешь. К тому же, чего ей, той черкешенке, было не повязаться с ладным казаком и быть хозяйкой, а не наложницей в заморском гареме.

Предание донесло нам также и то, что крещена была черкешенка и сразу обвенчана с нашим Касьяном в таманской церкви Пресвятой Богородицы, что и посейчас стоит, как новенькая, посреди Тамани.

И дед Игнат не забывал заповедать нам, его внукам, что если придется когда-нибудь побывать в Тамани, то чтоб не забыли зайти в тот храм, старый-престарый, если не сказать вовсе древний, ибо есть слух, что тут правил службу аж сам апостол Андрей Первозванный. Зайти и запалить свечку в память далеких предков — и в наших жилах течет капля их крови…

Попу был пожалован за его святые таинства серебряный рубль, полученный женихом за лихость и дерзкое мужество в анапском сражении… Так шейх Мансур еще раз поспособствовал счастью казака — «уруса», борьбе с «нечестивым» племенем которого он посвятил свою жизнь.

Сам же Мансур был доставлен в северную столицу Российской державы и определен в Шлиссельбургскую крепость. Достоверно известно, что царица Катерина Великая возжелала видеть «пророка», но так, чтобы он о том не знал, не ведал, и чтобы не было какой политической огласки. Шейха провели многократно мимо царицыной хаты-дворца, и она через окошко соизволила его лицезреть. Лжепророк ей не понравился. Не признала его царица, и в том была ее правда. Люди ведь не зря говорят, что ясна сокола видно по полету, а шалопая — по соплям!

И сидючи в крепости, Мансур характер свой все же проявил. Осерчав как-то на караульного, бросился на него с ржавым столовым ножом…

— Ну, який он после того пророк, — качал головой дед Игнат. — Пророк должен увещевать людей своим праведным словом, а вовсе не ржавым ножом доказывать свою правоту. Абрек он и есть абрек… Ну, да Бог с ним — поверженому ворогу хай буде прощена его незадача.

БАЙКА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, про то, как «свои» коней уводят, про конокрадство вообще и про лошадок отца Ди про лошадок отца Димитрия в частности

— Отож цыган не зря сказал, — усмехаясь, говорил дед Игнат, — шо крадена кобыла завсегда дешевше покупной, яка бы не была погода, хочь в зиму, хочь в лето… Были в те стародавние времена, по уверениям деда, настоящие конокрады, умевшие уводить чужих лошадей изобретательно и хитро. Вот тут у нас в станице лет десять тому назад угнали колхозную клячу, так то разве была покража? Паслась себе без присмотру та худоба в придорожной канаве, и когда увели ее, никто не «чухнулся». Была

коняка, а может, ее и не было! А если и была — то надо думать, пошла куда по своим кобыльим делам… И не конокрады ее прибрали, где его найдешь, того конокрада? Перевелся… Как выяснилось, свои конюха-сторожа и спровадили ту, скорее всего, последнюю в их колхозе лошадь ближним татарам на колбасу. Есть у татар такая самодельная колбаска, «козичкой» называется — без конины не справишь, и, как говорят, конина та должна быть от краденой лошади, иначе будет колбаса не колбаса, а с краденым конским мясом — лучший сорт, вкуснота тебе и острота, и подлинный смак. Кто понимает, конечно… Колхозные сторожа не понимали и взяли за ту коняку четверть бурячного самогона, вонючего, но крепкого. Их судили, но потом отпустили на поруки — колхоз дал цидулю, что они раньше в конской краже замечены не были и обещают впредь коней больше не красть. И то была правда! Какие с них конокрады, прости Господи!

Вот в старопрошлые годы конокрады были — настоящие мастера. Таких конокрадов, как у нас на Кубани, может, на всей Руси Великой не бывало. Ну, разве что на Дону или Тереке, все ж там конь тоже был в особом почете, а там, где он есть, тот самый конь, там должен быть его увод, или — кража, если по-простому.

Конечно, угоняли их, коней, всегда, а у казаков конский угон еще был особенностью воинского промысла. Когда граница с азиятами проходила по Кубани, то и наши казаченьки, а тем более сами азияты-горцы совершали набеги на сопредельные земли, и лучшим трофеем, военной добычей, были конские косяки-табуны, в крайнем случае — «баранта», то есть отара-другая овец. И пригнать табун лошадок — это была доблесть, о таких случаях докладывали начальству, а о «баранте» особенно не хвастались, — их, тех овец, тогда на Кубани и за Кубанью была тьма-тьмущая, в общем — «як бдчжол»…

Не без того, что и закубанские абреки налетали на наши стада-табуны и угоняли их в свои аулы, и то уж была их добыча, их доблесть… И долго еще после замирения, нет-нет, да те абреки прорывались на правобережье Кубани, промышляли «баранту» или лошадок, казачкам же было строго-настрого заповедано не обижать мирных черкесов, не совершать на их земли предерзких разбойных наездов.

Отошли, забылись те веселые времена, и конский промысел выродился в конокрадство, что было уже не доблестью и почетом, а делом презренным и осуждаемым, так как угоняли теперь лошадушек свои у своих, а это было все равно как предательство и попрание святых уз казацкого товарищества. Правда, конокрадство всегда стремились приписать цыганам, или еще кому-то чужому, но ловились чаще свои. Слава на волка, а шалят-

то пастухи… Да и кто из чужих мог знать наши стежки-дорожки, свычаи-обычаи, кто мог, не привлекая к себе внимания, выследить, где ночуют сегодня те кони, где и как их закрепляют-запирают…

Свои в гости ходят, свои шкоду шкодят, свои зависть плодят, свои коней уводят…

И в пример такому суждению дед Игнат вспоминал случай, очевидность которого подтверждала его правоту. А дело было такое. У друга батьки Касьяна, станичного священника отца Димитрия на старость завелась пара добрых коней. Купив бричку на красных колесах, на них объезжал он окрестные хутора, совершая свои требы. Ездил, когда возникала нужда, в Катеринодар, на рынок там, в гости к зятю и, случалось, к самому благочинному — отцу Елпидифорию, по делам прихода — яко к начальнику своему, поисповедоваться, а то и просто — засвидетельствовать почтение, получить от него благословение или отеческое наставление. Кони были ладные, не заезженные, а главное — любимые хозяином.

— И не было такого станичника, — вспоминал дед Игнат, — который, полюбовавшись на выезд батьки Мытра, не почисав бы потылицу (т.е. затылок) и не сказав бы, шо добре живе поповска братия, як имеет таких коней! А зависть плодить — черту годить…

— Шож, — вздыхал дед, — у каждого свой грех, только у одного он с маково зернятко, а у другого — с головку того мака, а у третьего — с вавилоньску башню! Та не про то наша байка… Хоть трохи и про то… И вот однажды по ближним станицам прокатилась очередная волна конокрадства. Оно всегда проходило волной. Тихо-тихо, и вдруг — слышишь: в том углу украли лошадей, через неделю — в соседнем… Жди третьего случая! Так вот, когда такая волна стала приближаться к нашему юрту, отец Димитрий, посоветовавшись с благочинным, помолясь, справил воротный запор, ночами по несколько раз выходил на свое подворье, бдил… А когда воры-конокрады нахрапно увели строевого коня со двора станичного писаря, то спать ложился на конюшне, тем более, что лето в тот год было на редкость теплым, если не сказать — жарким. А тут как раз случилось, что у него гостевал племянник, матушкиной сестры родной сын — молодой хорунжий Полтавского полка. И тот лихой офицерик, уезжая, подарил дядьке своему, то есть отцу Димитрию, револьвер. Так, на всякий случай, чтобы он, дядько, чувствовал себя увереннее в смутную конокрадную пору. Оно, конечно, священнику револьвер, может, и противопоказан, но будучи под хмельком, отец Димитрий, посомневавшись, взял оружие.

Конюшня была просторной. Постелет он у ее широких ворот прямо на земле пуховые перины, накинет на них рядна, положит рядом матушку Аграфену и посапывает себе до утра. Кони отдыхают в своих стойлах, позвякивая цепными чембурами, из открытых дверей идет прохлада, а для верности у отца Димитрия под подушкой — заряженный и всегда готовый к бою тот самый племянников револьвер.

И вот однажды в теплую лунную ночь отец Димитрий посреди сна вдруг почувствовал какую-то душевную неуютность. А спал он, как оказалось, на спине. Подумалось сквозь дрему, что это от непривычки телесного положения. А может, лунный свет оказал на святого отца свое небесное притяжение, но только стало ему как-то сумно и тревожно. Приоткрыл он глаза и видит: прямо перед ним с вилами наизготовку стоит кладбищенский сторож Пантелей Шкандыба. Стоит и водит теми вилами у самой шеи священника.

Отец Димитрий его сразу узнал. Еще бы: именно он, станичный поп, годов так десять тому назад посоветовал атаману и «обчеству» взять на кладбище того Пантюху, только что вернувшегося по ранению со службы и тут же похоронившего старуху-мать. Был Пантелей в роду своих Шкандыб последним и по старинному обычаю носил в левом ухе большую медную серьгу. По команде «равняйсь» все в строю поворачивали головы направо, и та серьга сверкала во всей красе перед командирскими очами. Начальник старался такого бойца по возможности не посылать на опасное дело, чтобы этот казачий род не пресекся в случае гибели его последнего представителя. Пантюха все же попал в какую-то передрягу и вернулся со службы с укороченной ногой и безобразным шрамом через всю щеку — от носа до уха. Не зря, видно, говорят, что Бог шельму метит…

Родных у него после смерти матери не осталось, и отец Димитрий пожалел безродного, попросил взять его на кладбище для присмотра за порядком. Надо сказать, что в работе своей Пантюха был ревностным и рачительным, содержал кладбищенское хозяйство в должном порядке и, несмотря на свою мрачноватость и необщительность, частенько заходил к отцу Димитрию — помочь по домашним делам, гвоздик где какой забить, а особенно если случалась нужда — кабанчика к Рождеству заколоть, или, допустим, к святой Пасхе какому гусаку-индюку отрубить голову. Отцу Димитрию по сану его такие дела вершить не полагалось, матушка же крови боялась пуще смерти. Вот Пантюха и выручал…

Свет от луны падал прямо в открытые двери конюшни, ярко освещая Пантелея с вилами, лик его озверелый и медную серьгу в

левом ухе. Скосив полуоткрытые очи, отец Димитрий увидел, что кто-то возится у стойла, отвязывая коней. Что было тут делать? Ведь только шевельнешься, как Пантюха всадит в тебя вилы — с такой же сноровкой, как он колол тех кабанчиков. Затаившись, отец Димитрий мысленно молил Пресвятую Богородицу и всех святых, в земле нашей просиявших, чтобы, не приведи Господь, не проснулась его матушка и не дала повод тому аспиду Пантюхе совершить свой смертоубойный грех…

Наконец, пантюхин напарник отвязал лошадей и повел их на выход. Подойдя к лежащим хозяевам, он осторожно перешагнул их, и за длинные чембура потянул за собой коней. Те также осторожно перешагнули через спящих (умная худоба!) и весело зацокали по выложенному красным кирпичом поповскому двору. Пантюха убрал вилы от горла отца Димитрия, обошел священника и, прислонив свое грозное оружие к стенке, заспешил за товарищем. Отец Димитрий, дрожа от пережитого ужаса и обуявшего его гнева, выхватил из-под подушки револьвер.

— Ах вы, анафемы! — возопил он изо всех сил и поднял стрельбу. Злоумышленники от неожиданности бросили коней и кинулись наутек. Почуяв переполох, откуда-то выскочили дремавшие доселе дворовые собаки и с лаем кинулись за конокрадами, но тех уже и след простыл. Кони же, почувствовав свободу, развернулись и, ни в чем не сомневаясь, поцокали вновь к родимому стойлу, в конюшню… Отец Димитрий вдруг с ужасом осознал, что был на грани пролития крови, а то и того хуже — лишения жизни, хотя и злоумышленников, но людей, созданных по образу и подобию Божьему. — Господи, — бросился он на колени, — прости и помилуй меня, раба твоего, за прегрешения вольные и невольные… Долго молился он, благодаря Бога за то, что отвел его от великого греха, а утром, закинув окаянный револьвер в старый колодец, пришел к другу своему, нашему батьке Касьяну. Залезши на башню-«бикет», они за малым самоваром, поразмыслив все как следует, решили не предавать дело огласке, разве что на исповеди благочинному, потому что про того Панька ничего никому не докажешь, и положиться на суд и волю Божью…

— Оно так часто бывает, — рассуждал дед Игнат, — трудное какое дело сразу решению не поддается, а отложишь его, глядишь, оно якось само собой образуется…

И суд тот свершился. Правда, не сразу, ибо, как известно, Бог правду видит, да не скоро скажет. Примерно через год, пропавший перед тем недели за полторы-две Пантюха был найден в степи, бездыханно лежащим на развилке трех глухих, давно не езженных дорог. Обезображенный погодой труп его, однако, не

имел видимых признаков насильственной смерти. По общему мнению станичников, душа у него отлетела самопроизвольно, не совладев с шатостью грешного тела. И то ведь: попала собака блохе на зуб…

Отец же Димитрий, мысленно давно простивший Шкандыбу, еще до этого происшествия, смиряя гордыню, пожертвовал своих красавцев-коней инокиням Лебяжьей обители вместе с упряжью и бричкой на красных колесах. Памятуя, что сам Христос ездил всего лишь на осляти, завел себе одноконную тележку с ладной доброезжей лошадкой. Так, для всякой хозяйственной надобности, чтобы для дела, а не для возбуждения зависти и корысти людской.

Вот такая история с конокрадством приключилась в наших краях. Слава Богу, не отмеченная смертоубийством, ведь в иных случаях и такое бывало, чего греха таить. Как тут не сказать, не признать, что угонная добыча коней лихими набегами в стародавние времена была куда интересней, если не благородней… То была открытая доблесть и боевой трофей, отбитый у противника на правах взаимности. Последние же коннодобытчики шарпали коников впотай, «крадькома», и у своих. Часто случается, что именно так и вырождается доблесть в подлость. И потому лучше было бы, чтобы подобных историй вообще не случалось никогда!

Да что поделаешь: коли были те кони, то были и конокрады. Так уж оно на этом свете повелось, и по всему видно — не скоро переведется.

— А подумать, — говаривал дед Игнат, — так ни кони, ни гроши, ни друга казна-богатство тут ни при чем. — И подчеркивал, что когда всего этого у одних много и мало у других, появляется первый звонок к воровству, а потом оно на просторе цветет и множится… Но вору и слава воровская, будь-то конокрад-казнокрад, или так — мелкий воришка…

БАЙКА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ, про то, как Игнат первый раз в город ездил, что он там видел, и как ему это не понравилось

В старину люди на нашей Кубани жили оседло. Казак только на службе вместе со своим полком мог предпринять какое ни то путешествие, и то в основном по Кавказу и к турецкой границе. Это потом, с преобразованием Черноморского войска в Кубанское, наши деды и прадеды побывали на Балканах, в Манчжурии и еще Бог весть где. Исключением была война с Наполеоном, когда

наши прапрадеды прошли-проехали все европейские державы до самого Парижа. В более или менее отдаленные края ходили чумацкие обозы, в основном по югу России. Потому батько Касьян и считался таким бывалым и «цикавым», так как набрался всякого-такого в довольно дальних краях. Да и поближе к нам по времени казаченьки до службы и после нее сидели по своим куреням, пахали землю, убирали жито-пшеницу, занимались своим хозяйством, и поездка в соседнюю станицу, а уж в «город», как тогда повсеместно называли Катеринодар, была событием. Женщины так вообще дальше своего станичного угла никаких путей-дорог не знали. Свой двор, свой надел в степи, когда ни то — выход на базар, а по праздникам — в Божью церковь — вот и вся география с топографией наших прабабушек. И их бабушек и прабабушек тоже… Бабе дорога — от печи до порога…

Вот почему деду моему Игнату так запомнился первый его выезд в «город». Это же было, по его тогдашним понятиям, почти кругосветное путешествие того же Магеллана, или же скажем, поход генерала Пржевальского в родные края его, значит, знаменитого коня-лошади.

Как-то по осени засобирался батько Касьян в «город» — отвезти на ссыпку зерно и на выручку от той продажи купить кое-какие припасы, нужные для дома, для хозяйства. Сыну Игнату велел приготовить чоботы и шаровары, что само собой было уже событием, ибо, по обычаю тех времен, ребята до зрелой юности бегали в длинных рубахах без штанов, и босиком даже в зимнее время. Правда, если приходилось что-то делать по хозяйству в мороз, то сверху накидывали кужушок, а ноги совали в какие ни то опорки…

— В город приехали затемно, — вспоминал дед Игнат. — Ночевать остановились у родича — дядьки Охрима, двоюродного брата старшего Касьяна, который после службы женился на городской, поступил в казачью управу, и имел после этого постоянное проживание в Катеринодаре. Двор у него был самый что ни есть станичный — большой, с садом, множеством сараев и сараюшек, хата — со всем по-хуторскому приземистая, крыта камышом… Но вот внутри ее Игната поразили две вещи — большая «линейная» керосиновая лампа, подвешенная под потолок и ровно освещавшая всю комнату (в обычных хатах по вечерам чадил «каганец» на столе, и свет от него высвечивал только этот стол, а по углам стоял полумрак), и еще — деревянные полы вместо привычной «доливки» — глинобитного основания, периодически подмазываемого пахучим кизячим раствором. Лампа казачонку понравилась, а полы он мысленно, про себя, не одобрил: ходить по ним было непривычно твердо, со

стуком, и он, боясь этого стука, ходил на носках… Пока батько с дядьком Охримом и Спиридоном вспоминали родичей и знакомых, охали и вздыхали, хозяйка накрыла стол. За вечерей взрослые, как полагается, выпили по чарочке доброй «терновки», привезенной братьями-станичниками, а потом и по другой — за встречу, за здоровье, еще за что-то. В общем, все чин по чину…

Детей у дядьки Охрима была мала куча. Старших дед Игнат не помнил, кто-то из них был на службе, кто-то еще где, а вот со своим ровесником Левком сразу сошелся — ведь он был не только погодком, но еще и братом, пускай троюродным. Утром, когда старшие уехали куда-то закупать железные пруты и полосы, хомуты и еще что-то, Левко поводил Игната по двору, показал ему ребячьи закоулки, угостил очень сладкими сливами. Их дружба сохранилась на многие годы, и потом, лет через тридцать, в годы Гражданской смуты-заварухи, он, правивший чем-то в канцелярии казачьей управы, взял к себе писарчуком сына Игната — Грицька, определив тем самым его судьбу на многие годы, если не сказать — на всю жизнь…

Запомнился Игнату городской рынок. Торговля проводилась с возов или с земли: расстилалась какая ни то ряднина или кошма, и на ней в беспорядке рассыпались предлагаемые покупателю вещи. Где-то ближе к выходу на рынок разместились гончары. Свой товар они выставляли на земле живописными кругами — в центре массивные макитры и сулеи, ведерные корчаги, потом шли глечики — кувшины поменьше, баклаги, кухлики, подойники. Ближе к краю клумбы мелкого гончарного искусства — каганцы, блюдечки, чашки, горшочки и «горшенятки», миски и мисочки, махотки, кружки, пляшечки и стопки, солонки и перечницы, и масса всего другого, потребного человеку в нехитром его домохозяйстве. И вся эта гончарная радость была чистенькой, незакопченой, излучала свет и тепло…

Тут же на подстеленных досках стройными рядами табунились игрушки — коники-лошадки, свинки и лебеди, расписанные глазурью разного рода свистульки с дырочками по боками и сверху. На таких свистульках иной умелец высвистывал «Во саду ли в огороде», «Чижика» или марш «Гром победы»…

— Да, — вздыхал дед Игнат, — умели в старовыну делать добрый посуд! Молоко или там яка вода в глечике в любую жару сохранялась прохладной день, а може, и два… А в глазированной миске борщ не остуживался за весь обед. Не то шо сейчас — нальешь его в тарелку, череэз минуту тарелка накалилась — не дотронешься, а через пять минут борщ охолонув и вкуса уже нема… А еще запомнился ему рыбный ряд. И не обилие в нем рыбы, что само собой разумелось, ибо там было все, что ловилось,

солилось, сушилось, а главное — шло на потребу живым: ночью вытащили ту чудо-рыбину из воды, а ранним утром она — вот она, бери — не хочу… Поразили его сомы — таких он не видел ни у себя в станице, ни даже потом, в самом Петербурге, где ему пришлось впоследствии быть на царской службе. Сомы были огромными, животастыми, спины черные, а пузо — белое. Лежат на столах и жабрами шевелят. Не сомы, а свинячьи, а может — коровьи туши! И не один или два, а превеликое множество, целое стадо, от края тех столов-прилавков и до другого их края, не меньше сотни, а если и меньше, то только на чуть-чуть… Можно было себе только представить, как эти чудовища вот таким табуном гарцевали по водной толще Кубань-реки! Дед Игнат еще малым пацаном выхватил из ерика сома с аршин, да так перепугался усатого зверюгу, что с криком бежал от воды до самого дома, волоча за собой по пыльному шляху ту рыбину на длинной леске из конского волоса. И было чего пугаться? Если сравнить того соменка с увиденными на базаре — он был так, блоха на шелудивой собаке.

А раки! Ах, какие то были раки! Клешня — с добрую мужскую ладонь, а самое-самое, что есть в раке съедобного — его «шейка», так с руку толщиной! Шевеля розовыми усищами, они со скрежетом переползали друг через дружку, и казалось, о чем-то «балакали» промежду собой. А продавали их не так, как нынешних рачат — на десяток, а пятак ведро, а даже не ведро, а огромная цыбарка. Это сейчас пошла мода торговать на штучки и на кучки: рубль кучка, а в кучке — одна штучка…

Дед Игнат говорил, что впоследствии, будучи в Петербурге, он видел чужестранных раков. Их по-заграничному называли омарами. Размером они, пожалуй, бывали и побольше кубанских, но — не то! Цвет у них блеклый, а скорлупа мягкая, возьмешь такого омара в руки, а он как бумажный. Да и вкус — куда ему до нашего! Не тот смак, хоть есть его тоже можно, если сварить в добро просоленной воде с укропом… А то еще есть морской рак, крабом называется. У того панцирь наоборот — не то что не разгрызть — пулей не пробить, а вот раковой шейки никакой, одни клешни, да и те как железные. Мясо вкусное, но его очень мало — на зуб не положишь.

И дед Игнат не забывал еще и еще раз напомнить, что все другие раки — не раки, настоящий рак только наш, речной, пусть и не тот большущий рачище, что водился тут раньше и продавался на городском рынке, пусть нынешний «рачок», но чтоб он был наш, и никакой другой! А мелкий даже слаще!

Да, какие то были раки на катеринодарском базаре, на который еще малым хлопчиком впервые в своей жизни попал наш

дед Игнат. Не раки, а чудо в зеленой скорлупе, живое, неповторимое чудо…

И еще — сласти. Их, тех конфет, лебедей и петушков на палочке, а то еще длинных, обернутых в цветную стружку и просто витых, полупрозрачных стержней было не так много (конфет никогда не бывает «много»!) — при взгляде на которые слюнки сами текли из удивленно приоткрытого рта. Над всем этим царством-богатством восседала тетка-марафетчица «в три обхвата», в цветастой юбке и блестящих калошах на босу ногу. Не тетка, а «царь-баба»! Она скрипучим, пронзительным голосом зазывала покупателей, всячески расхваливая свой товар, который, как казалось Игнату, в ее похвальбе совсем-совсем и не нуждался.

Дед и в старости любил сладкое, а уж в детские годы был сластена «до оскомы». Из редких упреков бабушки Устиньи Лукьяновны мы знали, что он, будучи еще подростком лет семи, увидев проезжавшего по улице старьевщика, предлагавшего ребятишкам за тряпье-рванину хлопушку и леденцы, обменял ему за петушка на палочке сохнувшую на плетне отцовскую рубашку, за что был, естественно, примерно наказан. Нам об этом позорном в его житии случае дед Игнат по забывчивости не рассказывал… А тут, на базаре, «чималая куча» тех леденцов, таких ярких, пахучих!

Батько Касьян вместе с дядькой Спиридоном накупили для гостинцев из города тех леденцов целый короб, немало досталось на этот раз и Игнату, не зря же он совершил вместе со взрослыми эту поездку в этот загадочный и волшебный город Катеринодар!

На обратном пути батько Касьян «трохи пошутковал» над братом Спиридоном. Ему было шутить, что мед пить («шутковать шо мед куштувать»). Дело в том, что еще при подъезде к городу Спиридон подобрал на дороге почти новую подкову и подковырнул брата, что он, мол, ехал впереди — и не заметил того счастья… «Бувае», — буркнул тогда Касьян, но был, видно, задет братиным укором. Перед выездом от свояка Охрима он вытянул ту подкову из спиридонова воза, и когда они отъехали версты две, бросил ее на самом видном месте в дорожную пыль.

— Стой, — радостно заорал Спиридон, увидев ту железяку, сиявшую «як новый пятак» и не заметить которую было действительно непростительно. — Шо, опять не побачив? — торжественно потряс он подковой и сунул ее в свою телегу.

На привале Касьян, хлопотавший возле возов, «крадькома» утащил у Спиридона его «счастье» и за ближайшим поворотом опять подложил подкову на братнином пути. Но Спиридон на этот раз ее не заметил. Тогда Касьян остановился и, сказав, что обронил батиг, пошел назад, поднял подкову и через версту-

другую вновь подкинул ее брату. Тот взял ее молча… Такой фокус Касьян в течение дня проделал еще раза два, а потом невинно спросил у Спиридона, сколько же он нашел подков.

— Богато, — небрежно ответил Спиридон и полез под сено, куда он складывал свои находки. Там была всего одна подкова… И еще одно запомнилось Игнату с той поездки. Это — как батько Касьян хвастался удачной покупкой дюжины дубовых брусьев. Показывая их дядьке Охриму, он, после того как похвалил приобретение, сказал, что заплатил за каждый брусок всего пятак. Охрим цокал языком, крутил головой: надо ж, «такие гарны деревины» и так дешево! Как было тут не позавидовать!

Дома, рассказывая о поездке, батько сокрушался о дороговизне базара, не совсем удачном торге и назвал матери цену «клятого» бруска по 15 копеек за штуку. Мать цокала языком, вздыхала о дороговизне и жалела казаков, которым за все приходится расплачиваться. На самом же деле бруски стоили по гривеннику…

— И на шо ему то було нужно? — вопрошал дед Игнат. — Яка така польза?.. А може на то нужно, як та подкова, которою он шутковал…. Мабудь, жизнь была бы не полна без таких выкрутасов… А бруски, по словам деда, были действительно хороши — ровные, аккуратно обработанные, просушенные. Такие можно было купить только в городе… В Катеринодаре.

БАЙКА ДВАДЦАТАЯ, про то, как казаки на кордонах служили, друг с другом дружили, и о пользе порой почесать потылицу

Ох, и нелегкой же была жизнь на Кубани первых переселенцев-черноморцев. Как говаривал дед Игнат, нашим бедолагам прадедам пришлось не раз пережить и засуху, и холеру, и лихорадку, и мор худобы, и массу неустройств. Редкий курень, перебравшись сюда из далекого заднепровья-заднестровья, сразу нашел то место, на котором бы закрепился до наших дней. Отсюда многие наши станицы имеют к своему названию приставку «ново-», «старо-», «ниже-», «выше-»… Некоторым из них повезло особо — у нас есть станицы и Старонижестеблиевская, и Вышестеблиевская, и была Новонижестеблиевская (ныне Гривенская). Кроме «старых», благоденствуют Новолеушковская, Новопокровская, Новониколаевская, Новотитаровская, Нововеличковская и несть им числа… Не зря остроумцы-зубоскалы придумали для кубанского поселения шуточные имена:

«Старонижесбокуближепричепиловка» или «Староноводаженижекраснодар».

Главным в жизни кубанцев в те давние годы была кордонная служба по охране державной российской границы, проходившей тогда по правому берегу Кубани. За каждой станицей, будь она «выше» или «ниже», определялся участок границы, за крепкое бережение которого она отвечала и куда постоянно выделяла своих казаков. И служба та была священной, пахали же землю «набродом», а жито жали — «наездом»…

Посреди такого участка стояла небольшая крепостица — «кордон», от которого вправо и влево располагались посты — пикеты, или как их прозвали черноморцы, «бикеты». На них с кордона отправлялись дежурные. Между «бикетами» было две-четыре, а то и больше верст, в зависимости от условий местности. Это пространство объезжали конные разъезды, а в наиболее опасных местах, где через Кубань чаще всего «перелезали» горцы-абреки, устраивались засады-залоги и секреты, которые на ночь усиливались дополнительными постами.

На кордоне за простейшим укреплением находились дозорная вышка, казарма, несколько подсобных помещений. «Бикет» же обычно состоял из дозорной вышки, на которой постоянно дежурил казак. От всякой непогоды его защищал невысокий плетень — «лиска», да над головой — камышовая или соломенная крыша. Внизу, у подножья той вышки — небольшой балаган-шалаш, или землянка, где отдыхали два-три казака-сменщика. Тут же стоял «шаплык», обрезанная бочка с дегтем или смолой, и на высоком шесте, так называемой «фигуре» — накрученная просмоленная охапка соломы или хвороста-сушняка. Заметив неприятеля, дневаливший на вышке казак поднимал на шесте особые шары из прутьев и подавал сигнал тревоги. Внизу зажигалась «фигура», черный дым от которой был хорошо виден с других «бикетов». Там «палили» свои «фигуры», и сигнал достигал двух соседних кордонов, где объявлялся «сполох». На подмогу к «бикетам» высылался наряд, который вступал в бой с пришельцами или стремился ограничить злые их намерения. Одновременно с кордона скакали нарочные — на другие кордоны, в ближайшие гарнизоны и людские поселения.

И такое береженье приграничья шло круглый год, денно и нощно, и в жару и в морозе, и в дождь и в снег…

Делом казацкой чести, да и самой жизни было упредить врага, не пропустить его на свои земли, — ведь там жили казацкие семьи и находились все их прибытки-пожитки. Осваивая эти окраинные земли, казаки навсегда привязывали их к Российской державе, защищая границу, они защищали себя…

И несли ту нелегкую службу казачки-черноморцы с должным усердием и ревностью. Постепенно эта служба была отлажена, как добрые часы, и действовала исправно.

Иногда дед Игнат доставал старинную пожелтевшую книжку и читал нам про те кордоны-стражи, протянувшиеся вдоль Кубани от Черного моря и до устья реки Лабы. Особенно любил наш дедуля читать нам о том, как перекликались казаки, дежурившие на «бикетах», перекликались, бывало, по тихим вечерам-ночам… А было то так.

Вечером, как только заходящее солнце опускалось в черноморские волны и степенно исчезало в них, дежурный на самом крайнем «бикете» у Бугаза, в устье Кубани, складывал ладони трубкой и громогласно провозглашал в сторону ближайшего «бикета»: «Эге-гей: слу-шаай!». Казак на вышке второго «бикета» повторял этот клич третьему, третий — четвертому и так далее — по всей границе. Через два часа призыв достигал казачьей столицы Катеринодара, шел дальше, до конца линии, потом тем же порядком возвращался обратно, перекатом, от «бикета» к «бикету» звучал над Кубанью, обгоняя ее быстрые волны, и где-то на рассвете ему с радостью внимал дежурный на той самой первой усть-кубанской каланче, с которой вся эта перекличка начиналась… Раз сигнал прошел по всем «бикетам» без сбоя, значит, все на месте, живы, правят службу…

Вот и наш дальний родич, Спиридон Касьянович, родной брат Касьяна, деда моего деда, нес такую службу на одном из прикубанских кордонов. Дед Игнат говорил, что был он «людина исправна и понятлива» и потому служба ему «давалась». А на кордоне всякое случалось, ведь казаки не только стояли на постах, но и сами себя полностью обеспечивали. Тут нужны были и сообразительность, и хватка, и расторопность. Со стороны может показаться, что размеренная жизнь на кордоне монотонно-однообразна. И в этом есть своя правда, но не вся. Служба есть служба, а на службе чего не бывает…

Прислали как-то на кордон, где служил Спиридон, проштрафившегося хорунжего Хому Здохлого.

— «Здохлый», или «Здыхляк», отож его фамылия, прозвище, — пояснял дед Игнат, — а так он був дюже живый, особливо на всяку шкоду. Провинность же его и пагуба была в том, что тот Хома оказался излишне приверженным к хмельному питию, после чего с ним приключались недоразумения. Вот и тут он, беспричинно надравшись, «с непотребным криком бегал по Катеринодару верхом на коне», задирал прохожих, и на беду свою попался на глаза самому наказному атаману, по велению которого хорунжего отловили и представили перед ясные

генеральские очи. А надо сказать, что атаманил тогда «батько» строгий до чрезвычайности, что казаки-черноморцы прощали ему за такую же чрезвычайную храбрость. Поскольку Хома уже был известен атаману подобными проступками, то генерал тут же повелел посадить шалопая в холодную, а после протрезвления и опохмелки, не лишая чина, на три месяца спровадить на кордон, на рядовую должность. Так что когда тот Хома явился к новому для него месту службы, про него уже знали, что казак он ладный, но гуляка, а по пьяни — шебутной. Ну что ж: гуляка еще не пьяница, а пьяница — не обязательно дурак, ибо пьяный проспится, а дураку уже ничего не поможет. У каждого, говорят, своя «перегородка», и какой Савва, такая ему и слава…

Следом за тем Хомой на кордон «прымандрувала» гарба с харчами — у хорунжего была богатая и добрая тетка, сестра его покойницы-матери, которая дюже любила своего племянника, каким бы он ни был. А что: бывают такие тети и дяди, что добрей родных батька и матери, ничего не скажешь, да чего тут говорить-то: родная кровинушка…

Хома немедленно устроил знатное угощение свободным от наряда сослуживцам. Когда было изрядно выпито и скушано, зашел у них разговор о службе на кордоне, и кто-то сказал, что все было бы ничего, да только дверь в казарму низка, приходится нагибаться, а чуть забудешься, то тут же приваришь на лбу такую гулю, что опасно на «бикет» отправляться: по свету той гули черкесы враз тебя рассекретят! Слово за слово, и казачки заспорили, какой именно нужна дверь в казарму, потому как было высказано мнение, что чем она будет меньше, тем лучше для сохранности тепла…

В спор, само собой, встрял и Хома, сказавший, что какой бы маленькой та дверь не была, а он берется ввести в казарму старую рябую кобылу, что содержалась на кордоне для всякой хозяйственной надобности. Может, трезвую и не пропихнет в такой малый лаз, а ежели ее, кобылу, подпоить, то она запросто проскочит в тот низкий вход, яко в райские врата, несмотря на свой рост и костлявую стать. С ним мало кто согласился, а если кто и поддержал, то только для раздору. В общем, решили попробовать, а чем сатана не шуткует? Пробовать уже не ради спора, а для установления истины, которая, как известно, всего дороже. Оно ж, когда казак загуляет, ему и черт не брат.

Подвели ту худобу к распахнутой настежь двери, влили ей в рот остатнюю баклагу самогону, настоянного на пахучих травах, и Хома потянул ее за повод. Захмелевшая лошадь неожиданно подогнула передние ноги и, резко подавшись вперед, припала к земле. Со смехом и криком казаченьки подтолкнули ее, кобыла

начала вставать, еще раз упала на колени и, поднявшись, оказалась в казарме. Всеобщему ликованию не было удержу…

Когда же пьяная радость малость утихла, шутники сообразили, что кобылу нужно из казармы вывести — для коняки все же есть другое место… Но не тут было: сразу же протрезвев, лошадь уперлась всеми четырьмя копытами и в никакую не пожелала идти в низкую дверь. Все попытки ее как-то протолкнуть, соблазнить свежим сеном, добрым словом, крепкой плеткой или даже дрючком, не давали результата. «Клята худоба» с ужасом взирала на галдевшую толпу и не двигалась с места. Хотели было дать ей еще первача, так оказалось, что он весь вышел, не осталось даже на опохмелку. Было решено, что надо разбирать стенку, чтобы вызволить коняку. Как? Да просто: высадить дверь и вырезать над нею прореху. Но при этом будет порушена крыша, так как одна из продольных слег приходилась как раз над дверью… Тогда, может, подкопать?

Между тем оставленная без внимания кобыла, заскучав в одиночестве, спокойно выбралась наружу и направилась к своему стойлу в углу двора. Ну, как тут не признать, что служивый конь далеко не дурень?

Так памятно вписался непутевый Хома в кордонную жизнь, и может, на этом и завязалась бы бечевочка невезучих его приключений, но хотел он того или не хотел, но они имели свое продолжение.

Месяца через полтора наш Спиридон вместе с тем Хомою был послан вахмистром за лозою — нужно было обновить и подправить кое-что в кордонных укреплениях. А поскольку поблизости лес-бережняк был давно сведен дотла — прежде всего для того, чтобы расчистить подходы к кордону, ну, и естественно, для хозяйственных потреб, то теперь такую лозу рубили поодаль — верстах в четырех-пяти от места службы наших казачков.

Быстро добравшись до заветного места, казаки спешились и приступили к делу. Оно б все ничего, да Хома в то утро, будучи свободным от наряда, успел смотаться до Мотьки-шинкарки — была такая поставщица хмельного зелья. Не так уж, чтобы совсем тайная, но начальники делали вид, что ничего про нее не знали. Жила она на краю придорожного хуторка, и проследок к ее хате не зарастал. В любое время, хоть днем, хоть ночью, стукнешь ей в окошко, такое маленькое, подслеповатое, оно тут же и откроется. Сунешь туда грошик, и через минуту та самая Мотька выдает тебе из того окошечка корчагу «святой водицы», а следом — житную или просяную лепешку с соленым огурцом или с луковичкой. Все чинно, благородно. Опорожнив пляшечку, посетитель вертал ее Мотьке, и окошко тут же захлопывалось, как вроде оно и не

открывалось. Если тебе казалось, что одного порциона мало — стучи снова, и все повторялось по заведенному не нами порядку. Говорили, что никто той Мотьки в глаза не видел, да может, ее и не было вовсе, а так — само собой действовало волшебное окошечко в покосившейся хате на краю придорожного хутора… И был тот хуторок от кордона верстах в шести, может, больше, да бешеной собаке, говорят, семь верст не крюк…

Судя по всему, наш Хома в то утро стучал в Мотькину «виконыцю» неоднократно, ибо, нарубив две-три вязанки лозы, он так разморился, что снял с себя ремень, повесил его на ветку, а сам присел под дерево и сладко задремал. Наш Спиридон поднес к нему свои вязанки и решил спуститься в овражек, где кустарник был погуще, поряснее, и для полноты счета заготовить еще охапку-другую той лозы. Чтобы вахмистр, упаси Боже, не обвинил их в лентяйстве.

И только он продрался сквозь бурьяны и колючки к той лозе, как услышал сзади гомон и гвалт. «Черкесы!» — сообразил Спиридон и присел в кустах. «А как там Хома?» — спохватился он через минуту-другую. И выглянул из своего укрытия. Хома стоял уже связанный, а вокруг него деловито суетились абреки. Один из азиятов стоял совсем рядом с ложбиной, в которой засел Спиридон, и потрошил кошелек-«гаманэц», отобранный у Хомы. Выбрав из него серебряные монеты, он выбросил бумажные деньги и сунул кошелек себе за пазуху. Тем временем горцы поймали казачьих лошадей, посадили на одну из них связанного Хому, стянув ему ноги ремнем под брюхом коня. Потоптавшись на поляне, абреки по сигналу своего, видать старшого, исчезли. Спиридон, почесав потылицу, а он всегда это делал в затруднительных случаях, кинулся вслед за черкесами. Дед Игнат, хорошо знавший того Спиридона, говорил, что он, Спиридон, мог бы дать тягу, прибежать на кордон, поднять тревогу и избавить себя от хлопот и риска — своя рогожа чужой рожи дороже… Но нет, не смог он бросить товарища, путем не дознавшись о его дальнейшей судьбе. Лес скоро кончился, абреки ускорили шаг и скрылись за поворотом. Спиридон направился на бугор, и увидел, что горцы поскакали к ближайшему аулу, который считался мирным. «Ну, бисовы азияты», — подумал он. Ну, да чего уж их так уж осуждать, и мы им немало насолили, и они нам нет-нет, да и «накашляют»…

Черкесы между тем разделились на две партии — одна отправилась, видать, по своим саклям-домам, а другая, поменьше, подалась куда-то в сторону. Спиридон заметил, что в центре этой группы находился и Хома, которого они примечал по немалому росту и бритой голове с чубом-«оселедцем». Обогнув аул, а шел

он сквозь кусты, дёром, Спиридон нашел малозаметную тропу, по которой ушла интересующая его ватага. По следам на тропе он определил, что среди черкесских коней были и наши, казачьи. Видно, абреки повезли пленника прятать куда-то подальше от глаз.

Вскоре Спиридон увидел: возвращаются. Притаившись в кустах, он приметил: горцы проскакали без Хомы. Уж где-то к вечеру, пройдя по следам больше версты, казак натолкнулся на какой-то загороженный где жердями, где каменьями, довольно обширный баз, внутри которого проглядывалось строение, невысокое, врезанное в гору. «Не иначе, як абреки запхнули Хому в те хоромы, — сообразил Спиридон, — только хорошо ли ему в эдаких палатах?».

Широкие двери в «хоромы» были плотно прикрыты, приперты колом, а на кованых железных петлях висел здоровенный, как бы теперь сказали, «амбарный», замок- захват, простой, но крепкий. Спиридон окликнул Хому и, убедившись, что его друг находится внутри сарая, попытался сбить замок камнем, но тщетно. Тогда он поднялся на крышу строения, разобрал часть его кровли и спрыгнул внутрь.

Ночь была лунная, но в сарае, как поначалу показалось казаку, была тьма кромешная. Приморгавшись, Спиридон увидел сидящего в углу бедного Хому. Волосяная веревка, которой абреки скрутили ему руки, сразу же была разрезана, и хорунжий попытался встать, но тут же, скрипнув зубами, со стоном плюхнулся наземь. Дело было в том, что при нападения азиятов Хома сопротивлялся, его ма лость помяли, и одна нога оказалась сильно зашибленной. Было от чего нашему Спиридону еще раз почесать потылицу — вытащить грузного Хому через крышу вряд ли удастся… А если и удастся, то как он будет идти дальше? Тут, как говорят, надо соображать быстрее, чем думать… Он огляделся. У противоположной стены виднелись их кони, а у дверей — седла. И Спиридон, как ему показалось, понял, что делать…

Он в полутьме обошел сарай, ощупал его углы, обнаружил в одном из них небольшую жердину и попытался с ее помощью если не вышибить дверь, но для начала хотя бы как-то ее расшатать. Но не тут-то было: жердь крошилась, не принося никакого вреда ни двери, ни дверному проему…

Стало светать. Спиридон присел рядом с Хомой и третий раз запустил свои пальцы в затылок. Но никаких новых думок в его бритую голову не приходило. И в это самое время он услышал приглушенный говорок — к сараю кто-то приближался. И Спиридона осенило. Утро, как говорится, вечера мудренее!..

— Давай, скорее седлаем коней, — шепнул он Хоме. — А там, як Бог укаже!.. Он набросил на лошадей седла, стянул подпруги-подпузники, помог немного очухавшемуся Хоме взобраться на своего коня, и казаки верхами встали напротив дверей. И как раз вовремя: сквозь щель над воротами было видно, что к сараю подошли два черкеса, молодой джигит и седобородый старик. Молодой что-то рассказывал спутнику, тот одобрительно кивал головой. Черкесы повозились у замка, отперли его и со скрипом открыли створки ворот.

Спиридон и Хома с воплем пустили на них лошадей. От неожиданности горцы отпрянули в стороны, Спиридон, придя в озверелое состояние, словно пикой пнул молодого черкеса жердью, и казаки вихрем помчались из база на простор, на волю-вольную, на свободу. Казак на коне — ветер! Э-эх, копейка, играй орлом!

— Отож, дети мои, — повторял на этом месте своей байки дед Игнат, — из всякого безвыходного положения завсигда бывает какой ни то выход. Треба только поскресты потылицу (затылок), та подумать, як следует! Тому пример — родный брат моего дида Спиридон Касьянович, хай ему на том свети добрые вареники приснятся! Умел он, коли шо, потылыцу покарябать-поскрести, и подумать-померекать… — у а дальше что было? — нетерпеливо спрашивали мы деда.

— Дальше, дальше, — бормотал дедуля. Он и сам не любил незаконченных баек. — Лозу наши казаченьки на кордон-такы прывезли, а тут як раз прыспила до Хомы теткина гарба, так шо все закончилось благопристойно… Вот только Хома, по словам деда, был печален: абреки обрезали ему чуб-«оселедец» — хотели продать казака-черноморца абадзехам, горцам воинственным и торговым. А те черноморцев не покупали, считали, что казак обязательно «задаст лататы», убежит то есть… Как увидят пленника с чубом-чуприной, так ни в какую. И черкесы, чтобы выдать пленного за обычного российского солдата, сразу же обрезали ему «оселедец»…

Ну, да чуб отрос, Хома Здыхляк дослужился потом до сотника, жил на хуторе под Джерелиевкой, переменил фамилию, стал Дыхляченком писаться. Насчет гульни вроде как бы притих. Так оно ж говорят, черт и тот под старость в отцы-монахи подался… Спиридон навещал его в своих старых годах. И не раз они пили за те дубы, из которых долбят нам гробы, и чтоб те дубы росли себе и росли — еще сто лет и более…

Ну, а кордон еще долго продолжал жить своей кордонной жизнью. На смену одним казакам приходили другие, их сменяли первые. Тяни, казак, лямку, пока не закопают в ямку. Блюди,

казак, границу, плюй в ружницу, да не мочи дуло! И как прежде, теплыми вечерами, когда на природе устанавливалась благодатная тишина, раздавался их клич:

— Слу-у-ша-а-ай! — Слу-у-ша-а-ай! И так — по всей линии, от Бугаза и далее, до кордона Изрядного, близ устья реки Лабы… — Слу-у-ша-а-ай! Дед Игнат любил представлять нам, его внукам, в лицах, как перекликались в старину сторожевые казаки на «бикетах». И часто говаривал, что и сейчас шумят волны нашей богатырь-Кубань-реки так же, как шумели при наших прапрадедах… И в этом шуме приглушенно звучит тот давний казачий клич… Клич призыв, клич памяти:

— Слу-у-ша-а-ай! Прикройте глаза и прислушайтесь, и почешите-поскребите затылок-потылицу, и вам обязательно придет в голову какая ни то добрая думка. С памятливой головой такое обязательно случается…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ, про атамана Левка Тиховского, кровавых абреков и про рогач казачки

— Отож, как придется вам, деточки, побывать у того места, где из Кубани вытека Протока, — наставлял нас дед Игнат, — то не премените зайти на хутор Тиховский, шо приютно притулился недалеко от Красного лиса. В стародавни годы близь него був казачий кордон, Ольгиньским прозывався… От его теперь осталась только одна память — Белый крест на краю хуторского кладбища… И он объяснил, что поставили тот крест на могиле казачков-черноморцев, убитых в этих местах азиятами-абреками в неравном многокровном бою. Крест этот сейчас повален в бурьяны, а может, и вовсе порушен — дурням батькивщина не в лад.

— А дило, в память якого стояв той крэст, було такэ… — И, настроившись на соответствующий лад, дед Игнат рассказывал нам байкупредание, байку-легенду про стародавний набег джигитов-абреков на кубанские земли, историю кровавую, но почему-то подзабытую…

Давно то было, еще когда в Катеринодаре сидел наказным атаманом не то Бурсак, не то Рашпиль. Скорее всего, Бурсак… Да, конечно же Бурсак! Но не в этом дело. И тот и другой правителями были крутыми, но справедливыми, и то, что требовали от других, то первыми исполняли сами…

Так вот, морозной январской ночью близ Ольгинского кордона через Кубань «перелезла», как тогда говорили, необычно

большая ватага абреков — пошарпать казачьи курени-станицы, нахватать коней-баранты, да и доблесть свою волчью лишний раз отточить, удаль разбойную, хищную показать. В общем, те хлопцы были серьезными, и было их очень много, «як бджчол». Залога (разведка, засада) успела предупредить кордоны и «бикеты», но горцы не стали размениваться на пограничные посты, а как половодье, всей массой хлынули мимо Ольгинского кордона вглубь кубанской равнины, к станицам и хуторам, где не было в то время настоящей воинской силы, ибо казаки находились на службе, на передовой линии по Кубани, да в походе — шла очередная война с турками.

Ольгинский кордон, где начальствовал в ту пору полковник Левко Тиховский[12], казак Корсунского куреня, изготовился к бою. Однако абреки, выставив на буграх наблюдателей, повернули одним крылом на Ивановский курень, а другим — на Стеблиевский, грабя и сжигая встречавшиеся на пути хутора и кошары. Зарево поднялось на полнеба, черный дым злыми хмарами покрыл небосвод…

Сполошно загудели по всей округе набатные колокола, и все, кто мог держать в руках какое-либо оружие, вышли на защиту своих селений.

Батько Тиховский мог отсидеться за крепостным тыном. Но то был настоящий рыцарь-казак, защитник и радетель родной земли. Прихватив одну пушку, он с двумя сотнями спешившихся казаков догнал горцев и крепко ударил по их тыловой ватаге. Под меткой картечью и огнем из «ружниц» полегло немало абреков, и налетчикам пришлось повернуть часть своих сил на отчаянную горстку казаков.

Бой был никак не равным: на поредевшие ряды черноморцев валом валили все новые и новые толпы азиятов. Окруженные со всех сторон, казаки отстреливались до последнего патрона, а потом в рукопашную бросились на прорыв — один против двадцати… И тут к черкесам подошла конница. Смертным боем бились казаченьки, и почти все до одного полегли на том ратном поле. Славную смерть принял и их предводитель — седоусый полковник Левко Тиховский. Сражаясь в первых рядах, он был не единожды ранен и, истекая кровью, продолжал отбиваться от наседавших врагов, пока не был изрублен ими на куски.

Недаром то место исстари звалось «раздорами» и, видать, не только потому, что Кубань тут «разодралась» на два потока, но еще и оттого, что именно здесь проходили частые стычки-бои, драки-раздоры.

Среди погибших казаков Ольгинского кордона было и двое двоюродных братьев нашего Касьяна — деда нашего деда Игната.

Вечная им память, и пусть пухом будет принявшая их земля. Тех братьев еще недавно поминали в станичной церкви, яко воинов, павших на поле брани за други свои, а ныне молятся о спасении их душ вкупе со многими иными, имена коих Бог веси…

Геройское сражение отряда славного батьки Тиховского во многом ослабило удар абреков на Ивановский курень — им удалось ворваться лишь в крайние хаты той станицы. Но горя и слез беззащитным людям налетчики принесли немало. Услышав женские вопли и детский плач, квартировавшие в Ивановке егеря бросились на выручку и вышибли нападавших в поле, где они попали под удар подмоги, примчавшейся из ближайших куреней.

Сгоняя захваченный скот в гурты, разбойная орда стала вытягиваться к обратной дороге. И надобно ж было такому случиться, что в тот Богом проклятый день третий брат Касьяна, самый старший и числящийся уже в стариках, оказался на одном из дальних стеблиевских хуторов, куда он после Крещения заехал проведать свою дочку Горпыну (Агриппину) с детьми, а заодно и помочь ей по хозяйству — ведь зять отбывал свою очередь на кордоне. По стариковской привычке он встал очень рано, до света, и пошел на баз — «до худобы», сменить подстилку, задать корму…

И тут до его слуха донеслась ружейная пальба, невнятный гомон, и вся округа неожиданно осветилась зловещим огнем близкого пожарища. Дед схватил вилы и бросился из конюшни, и почти у дверей увидел юркого азията, в руках которого полыхал просмоленный квач. Не задумываясь, старый казак всадил в него вилы, без всякой натуги приподнял его и сбросил «на гнояку» (на навоз) — то ли абрек оказался легким, то ли у деда в горячке сил прибавилось, но только совладал он с той вражиной чрезмерно легко. А из хаты вдруг донесся захлебный вопль его дочери — видать, туда тоже ворвался какой ни то непрошенный гость.

Казак опрометью бросился в распахнутую дверь дома и увидел, что его Горпына, девка в немалой силе и крепкая в кости, приперла черкеса к стене рогачом (ухватом). Она только что собиралась вытянуть из печи чугун с какой-то запаркой для скотины, как в хату вскочил тот абрек. Дед проткнул супостата вилами, и тут его достал третий азият. Правда, удар пришелся по левому плечу старика, потому как в тот момент Горпына высвободившимся рогачом съездила бандюгу «по въязвам», тот упал на колени и на карачках выметнулся из хаты, только его и видели…

Вот такой смертельный бой принял под старость старший брат нашего Касьяна, бой кровавый и памятный. Черкесов из хутора выбили примчавшиеся казаки, а дед вскоре оправился от

раны, хотя рука его «сохла» всю оставшуюся жизнь. Он протянул долго, и на девятом десятке своих годков любил вспоминать те вилы и тот рогач, которыми отбивались они с Горпыной от вражьей напасти. У казака, когда надо, и дышло стреляет, так что удивляться тут нечему…

— Отож, — вздыхал дед Игнат, — може, они и не отбились бы от абреков, если б в хутор не ворвался казачий отряд. Но и не подставляли свои головы безропотно… Ох, случались страшенны дела и в стародавни дни-денечки. Шо було, то прошло… Да, большой беды наделали в тот раз абреки-кавказцы на нашей земле. Перемогла вражескую напасть каждодневная готовность к бою любого казака, будь он в строю или дома. Вот и тогда не дали они вражьей орде разгуляться по кубанским куреням. Да, была у них сила, да с нами Бог, а где Бог, там и правда. Абрекам дорого обошелся тот дерзкий набег, настолько дорого, что у них навсегда пропала охота к подобным массовым нападениям на казачьи земли.

Потом я, помня дедов рассказ, читал про Ольгинский кордон. Сам Суворов облюбовал это место и установил тут небольшую, но крепкую крепостицу — «фельдшанц Левый», а поблизости, ниже по Протоке, настоящую крепость Благовещенку. Близ остатков того фельдшанца и возник в свое время казачий кордон на кубанском рубеже России. После черкесского погрома 1810 года его быстро восстановили и он долго еще служил свою нелегкую службу, прикрывая одну из знатнейших переправ через Кубань.

Впоследствии на противоположном берегу реки было сооружено предместное укрепление — Ольгинский «тет-де-пон». Сейчас ничего не осталось от тех укреплений — последние редуты заброшенной фортеции смыло обильным кубанским разливом в 1929 году.

И мало кто сейчас знает, что здесь неоднократно бывал корнет-гусар Михайло Лермонтов, командовавший в чеченской войне летучей сотней казаков-охотников, и что через эту крепость прошли многие декабристы, отбывавшие ссыльную службу на Кавказе, а также другие, известные в русской истории люди. Многое развеяно в памяти людской, смыто, забыто… И лишь хутор Тиховский, затерявшийся в развилке Кубани и Протоки, своим названием неназойливо напомнит: был такой атаман, Левко Лукьянович Тиховский, и были его сподручники — казаки-черноморцы, жизни свои положившие за наше с вами благоденствие.

— А крест тем казакам восстановят, — уверял нас дед Игнат. — А ще лучше, так поставят новый… Бо не може того быть, шоб вовсе зачерствели души потомкив — все ж мы все одного корня,

одного замеса, одного рода-племени — казачьего…

* * *

Через много, много лет мне довелось-таки выполнить пожелание деда и побывать на этом историческом месте. Соскочив с попутного грузовика, я полевой тропинкой направился к видневшемуся вдали хутору, утопавшему в курчавой зелени садов, сквозь которую проглядывались кое-где ослепительно белые стены людского жилья. Тропа запетляла в обход небольшого ложка, я же, постояв на его краю, решил скоротить свой путь и пошел напрямки, через низину, «навпростэць», как говорят в таких случаях мои земляки?кубанцы…

Обойдя островок колючих кустарников, я попал в дремучую заросль лугового разнотравья. Высоченные, до пояса, а порой и до плеч, гибкие стебли «буркун?травы» (донника), тимофеевки, козлятника, перевитых вьюнком разного рода горошков, «кашек» и полевых гвоздик, цикория («пэтрива батига») и других чудес нашей степной ботаники буквально поглотили меня, пешехода, в свои пахучие волны, и минут пятнадцать я в полном смысле продирался сквозь них, пока не выплыл на противоположный «берег». Оглянулся и едва заметил свой след: травы были настолько густообильны, что мой проход сквозь эти дебри не так уж сильно их потревожил. Какая благодать!

Зайдя на тишайшее хуторское кладбище, я тут же увидел чуть покосившийся могучий каменный крест. В его верхней части поблескивала медная дощечка с пространной надписью: «Командиру 4?го конного Черноморского казачьего полка Льву Тиховскому, есаулу Гаджанову, хорунжему Жировому, 4?м сотенным есаулам и 140 казакам, геройски погибшим на сем месте в бою с горцами 18 января 1810 и здесь погребенным. От черноморских казаков усердием Василия Вареника. 1869 год».

Табличка новая, привинченная на месте старой, варварски оторванной в теперь далекие от нас не то 30?е, не то 40?е годы… Что ж, спасибо неизвестному доброхоту, восстановившему добрую память о наших предках, об их боевой доблести. Не зря сказано, что люди — смертны, доблесть же их — нетленна!

Хутор, возникший у братского кладбища, с 1899 года носит имя полковника Тиховского, и это имя чудом уцелело в круговерти коллективизации и в более поздние годы различных реорганизаций и реконструкций. Если бы не случай, быть бы хутору либо «Новым», либо «Красным», либо еще каким, например, «Дзержинским» или, прости Господи, «Ежовым»…

Перекрестили же славную казачью станицу Батал-пашинскую, построенную на месте победы русских над турецкими войсками, в котором был пленен анапский правитель Батал-паша, в город Сулимов. Через год-полтора Сулимов тот оказался «врагом народа». Станицу срочно переименовали в Ежово-Черкесск. И опять невпопад: теперь уже Ежов стал еще более знаменитым «врагом народа», а «Пашинку» (так именовали станицу в просторечии) превратили в город Баталпашинск, однако, ненадолго — вскоре его обозвали «Черкесском». Вроде нейтрально, но как выяснилось — ходили по лезвию: в стране появились не только «враги народа», но и «народы-враги» — балкарцы, ингуши, чечены, калмыки, крымские татары и прочие, и прочие. Как не попали в этот скорбный список черкесы, известно одному Аллаху, а то носить бы этому городу снова имя турецкого паши, хоть и врага — да не своего родом.

Лишь несколько станиц, видать, по безграмотности партийных и прочих властей сохранили имена, полученные в честь «царских сатрапов» — генералов Засса, Раевского, офицера Витязя… И вот — хутор Тиховский оказался в этом ряду. Или взять тот же хутор Лебеди — мало кто теперь уже помнит, что назван он в честь генерала Ивана Григорьевича Лебедева, помощника последнего «царского» атамана Кубани Бабыча. Уж очень уважаемый был генерал, справедливый и честный служака. Когда в двадцатом году его, глубокого старика, арестовала ЧК, рабочие «Кубаноля» выступили в защиту «деда Лебедя» и его отпустили, дали умереть своей смертью. А хутор Лебедевский (до 1915 года он звался Вороной греблей) в народном пересказе стал «Лебедями». Теперь, говорят, это станица. На все промысел Божий…

Положив к памятнику-кресту охапку луговых цветов и поклонившись святому месту, иду вдоль хуторских строений к реке. «Большая» вода всегда действует успокоительно-умиротворяюще. Бегут и бегут волны, и будут бежать в будущем, как бежали и плыли они сто, двести и более лет тому назад…

II. О СЛУЖБЕ КАЗАЧЬЕЙ, ТО ВЕСЕЛОЙ, ТО МРАЧНОЙ

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ, про Самурские казармы и отбор казаков в императорский личный конвой

Службу царскую наш дед Игнат начал в Катеринодаре, в тех самых Самурских казармах, в которых почти через полвека принимал присягу и я, его внук. Как-то посетив меня спустя месяцев пять-шесть после призыва, дед и просветил меня по этому интересному для нас факту. После Великой Отечественной войны в этих казармах располагалось артучилище, куда я попал вместе с одноклассником Жорой Олейничем, которого за основательность фигуры и в суждениях с восьмого класса называли не иначе, как по отчеству — Кузьмичем.

Когда в училище приезжал кто-нибудь из наших родичей, мы выходили на «свиданку» оба — узнать новости, получить письмишко, а то и передачку от «своих». Военный городок еще не был восстановлен после оккупационной порухи, специального гостевого помещения не было, и мы принимали посетителей у разрушенной стенки некогда красно-кирпичного забора. А коль, говорят, будут гости — будут и гостинцы…

Вот и в тот раз, дед, как сейчас помню, поставил на остатки былого ограждения фанерный короб с «домашними» пирожками, и мы с Кузьмичом, хотя только-только что пришли с обеда, живо приступили к их уничтожению. Дед же, тыкая скорченным, узловатым пальцем в сторону сохранившихся строений, вспоминал:

— Тут была конюшня, ось там — наши оружейные мастерские, швальня, а тут — казарма первого шкадрона…

По странной закономерности, все второстепенные строения, те же мастерские, склады и тому подобное, функционировали на своих прежних местах, даже ветеринарный лазарет, места же обитания людей — разрушены, взорваны или сгорели в только что завершившейся войне. В наскоро восстановленных зданиях ютились штаб, медсанчасть, два первых дивизиона нашего артиллерийско-минометного училища (КАМУ), недавно возвращенного сюда из далекой Кушки. Третий дивизион, в котором я, дедов внук, начинал вкушать радость солдатской службы, размещался в одной переоборудованных конюшен прежнего времени. Этот факт дед Игнат оценил положительно:

место, мол, обжитое, да и зимой теплее будет — конюшня ниже двухэтажной казармы, будет ветерком не так продуваться…

То, что его внук попал в те самые Самурские казармы, где некогда служил он сам, дед воспринял как само собой разумеющееся: а куда ж ему, как не в Самурские?

— Станицы нашего кутка почти все тут служили, — сказал он нам. — Порядок был такой. И вси наши родычи перебывали тут, соколики — и Шевченки и Трояны, и Билаки и Хоменки, все браты и дядьки. Мало кто не удостоился самурского життя… Отсюда як раз меня и в гвардию поверстали, через год после обычного служения.

— А что ж не сразу в Петербург? — наивно спросил я, заподозрив в этой затяжке что-то не совсем ладное. — Сразу було не можно, — усмехнулся дед. — К царю в конвой брали только тех, кто пообтерся в строю, и про кого начальство имело свою гарантию. А шож тебе брать в импэраторский конвой прямо с майдана, с вулици? — Ну, а как это было? — Отож не так просто, як може показаться, — отвечал дед и неспешно, как бы нехотя, рассказал, «как это было». Началось, как всегда, со слуха: явился, мол, из самого Петербурга офицер, не то сотник, не то есаул, дед уже не помнил, но птичка наиважнейшая — наши местные полковники перед ним, можно сказать, меньше той Моськи перед слоном: не куснуть, не гавкнуть. Что ты! А все дело в том, что при нем — бумага с полномочиями от самого царя-императора Мыколы Александровича, Божией милостью и прочая и прочая… И наши отцы-атаманы были должны оказать ему всякое вспомоществование в наборе добрых казаков на формирование и пополнение кубанской сотни Его Императорского Величества Личного Конвоя[13].

И прозвище того офицера не как бы там абы как, а — барон! Унгерн[14].

— Чулы про такого? То-о же! Но только тот Унгерн, объяснил нам дед, про которого все слышали, помоложе будет, может, племянник или еще кто. «Младший Унгерн» перед Мировой войной был еще только хорунжим в забайкальских казаках, это он потом верховодил и славился, особенно в Монголии… Так что приехавший в Катеринодар за казаками для конвоя барон был постарее и, может, не такой злющий, каким, по слухам, был его отчемаха-племянник или просто младший родич.

И как только он появился, тот барон Унгерн, так сразу же все знавшие писаря шепнули: будет смотр, и барон будет самолично отбирать для гвардии тех, кто ему «покажется». И что он уже указал: «в строю должен быть весь наличный состав — и ездовые, и денщики, и повара, и писари, и прочие мастеровые. Без

изъятия». А хворых он потом посмотрит в лазарете.

— И все мы ждали того смотра, — улыбался дед Игнат, — як манны небесной, потому як служить в конвое дюже почетно (яка хворма!), дюже интересно (Россию побачишь, Петербург!), и дюже выгодно на всю остатню жизнь. На похоронах и то скажут, шо цэ — конвоец! Да, каждый мечтал стать конвойцем, мечтал и надеялся, кроме, может быть, самых что ни есть недомерков, редкобородых и «кырпатых» (безобразно курносых). Да кто из нас считает себя совсем уж неказистым? Ну, если и есть у тебя что-то не так, так это же «чуть-чуть», и судьбе не помеха!.. Мало кто не считает себя хорошим, ладным, достойным, даже если у него тех достоинств, как у козы хвоста…

А по военному городку галопировали слухи: «барон у наказного атамана», «барон у нашего генерала», «барон обедает», «барон… еще где-то…»

И вот, он настал, тот долгожданный смотр!

— Вот тут, на плацу, — показал дед Игнат поляну, на которой нас, курсантов, тоже выстраивали по разным поводам, — мы и побачили того Унгерна… Барон шел вдоль того строя и внимательно осматривал каждого казака, как говорится — с ног до головы, и через пятого-десятого указывал на того или другого, кто ему «показался». Идущий рядом вахмистр называл фамилию счастливца, и адъютант заносил ее в свой реестр. И так шеренга за шеренгой… Дед Игнат с первого захода попал в число отобранных, если не сказать — избранных, и продержался в этом числе на всех последующих смотрах.

С отобранными в первом заходе казаками Унгерн беседовал отдельно, расспрашивал о службе, о семье, а затем о каждом кандидате подробно говорил с отцами-командирами. Потом отобранных вновь построили на плацу — теперь уже с лошадьми, и отдельно тех, кто по условиям своей службы их не имел. Дед Игнат как раз был таким «безлошадным» — его, как знающего кузнечное и слесарное дело, вскоре после призыва определили в оружейную мастерскую, и он своего коня с оказией отправил в станицу.

После этого смотра число «безлошадных» заметно увеличилось за счет отбраковки их коней, непригодных по той или иной причине к службе в конвое. Учитывались все необходимые стати, и годная для обычного строя лошадь часто не соответствовала «гвардейским» требованиям. Всем «безлошадным» было предложено тут же в полку найти подходящих коней и выкупить их за казенный счет или обменять по договоренности с хозяевами. Начальству вменялось в кратчайший срок обеспечить эти манипуляции с наибольшим

успехом: «бегом и угодно» (т.е., быстро и надежно).

У деда Игната на ту пору был хороший знакомец — казак Мышастовского куреня Павло Зозуля, у которого как раз и содержался самый что ни на есть подходящий конь, а сам Павло давно тянулся к оружейным мастерским и очень хотел туда перевестись. Нужно сказать, что мышастовец не ладил со своим вахмистром — уж больно тот был сердитым до рядовых казаков и безмерно ласковым для начальства — «шкура», одним словом. Чуть, бывало, тот Зозуля замешкается или еще что — тут же ему от вахмистра наряд вне очереди, да еще с приговором: знаем, мол, вас, мышастовских котов — мышей не ловите, потому и «мышастовские»!

А незадолго до унгернского приезда, на лагерном выезде, Зозуля, будучи дневальным, где-то после обеда, когда все отдыхали, услышал из вахмистровой палатки зверообразный рык. Осторожно взглянув в ту палатку, Павло увидел, что это храпит их супостат-вахмистр. Видно, разморило его летнее солнышко после сытной едобы, и он, лежа на спине с открытым ртом, выводил такие рулады, что позавидовал бы полковой оркестр, если бы он, конечно, был без «великого» барабана и литавр.

Позвав напарника, своего земляка, тоже мышастовского, Павло показал ему это чудо-юдо, а потом предложил «пошутковать» над начальством — насыпать ему в рот чего такого — табаку, соли, а может быть, живых тараканов — мол, сами забрались в уютное для них место…

Сказано — сделано, брехать казак не свычен. Наловив жменю этих бесподобных тварей, Зозуля осторожливо проник к лежбищу вахмистра, всыпал их в разверзнутую пасть и скороспешно выскользнул из палатки, по-быстрому застегнув ее полы. Однако невеликую ширинку оставил, через которую они с напарником и наблюдали со злорадным наслаждением дальнейшее развитие событий.

Тараканы, попав в непривычное для них место, вначале как бы омертвели, но очень скоро пошевелились и подались к свету. «Шкура»-вахмистр, вероятно почувствовав нечто странное у самого своего нутра, притих, спросонья не понимая, что его беспокоит. Тут бы клятым насекомым тоже бы притихнуть, но они не осознали серьезность момента и всесильно продолжали карабкаться на волю. Что померещилось бедному вахмистру со сна, доподлинно неизвестно, но только морда у него покорежилась, он взревел как «скаженный бугай», поперхнулся зазевавшимся тараканом, вскочил и начал суматошно отряхивать усы и бороду, плеваясь, сморкаясь и кашляя. Зозуля и его товарищ порскнули от палатки, давясь от смеха и восторга —

доняли-таки вахмистра, кавун ему печеный!

Прямых улик против дневальных у вахмистра не было, но лютость свою он умножил. Подозревая, видно, что тут что-то не так, не естественно… И теперь он говорил, что от мышастовских всего можно ждать, такие уж они хитроныры и баламуты…

В общем, тот Зозуля окончательно понял, что житья ему впредь не будет, а тут такая оказия! Дед Игнат свел Павла с начальником мастерских, а коня его показал барону, и оба они, и конь, и его хозяин свои экзамены выдержали. Писаря шепнули друзьям, какую цену надо назначать за коня, чтобы не продешевиться, деньги ведь шли казенные, а казенное, как говорится, и в огне не тонет, и в воде не горит. И все решилось к взаимоудовлетворению: Зозуля перебрался в мастерские, уйдя из-под железной руки свирепого «шкуры»вахмистра, а дед Игнат без особенных хлопот заполучил славного коника, с которым благополучно отслужил в конвое положенный срок. Хороший был коник, на таком и перед царем было не стыдно погарцевать-покрасоваться. Дед его тут же переименовал в «Мальчика» (а кем же ему быть, как не «Мальчиком»?!) и быстро с ним подружился — понятливая была лошадка, строгая в строю и ласковая к хозяину.

А еще нашему деду Игнату из всех этих событий запомнился такой случай. Во время одного из построений отобранных для царского конвоя казаков вдруг полил дождь, да не абы какой, а настоящий, «гвоздевой». Строй — святое место, и никто из казаков не дрогнул, хотя, может, каждый бы хотел дать деру от такой непогоды. А вот кое-кто из офицеров, сопровождавших барона Унгерна, заоглядывался — оно и понятно, кому хочется зазря мокнуть, онито были не в строю! Барон же бровью не повел:

— Братцы, — сказал он, — дождь для нас — счастливая примета! И приказал кому-то из офицеров подать казакам команду: «Налево, правое плечо вперед, в казарму бегом МА-Р-Ш!». Сам же стоял под проливным дождем, пока ему не подали коня, сел на него и легкой рысью удалился с плаца… Умел держать форс тот барон Унгерн фон Штернберг, поглядите, мол, каков я — слуга царю, отец солдатам. Оно, конечно, у каждой пташки свои замашки, но форс для офицера — первейшее дело.

— Отож и кончилась моя служба в тех Самурских казармах, — вздохнул дед Игнат. — Потом нас распустили по домам, а после отпуска погрузили в вагоны и марш?марш до самого Петербурга, в вернее — до села, до Царского… Царь — он был «сельский» житель, города не долюблювал… И пошла моя «сельская» служба в личном конвое его императорского величества всероссийского самодержца Мыколы другого, хай ему

вспомянется: царь он був добрый, хоть и не выдный собою, та и свое дело по?царски, надо думать, вершить не дюже умел, профукал царство, пропустил про? меж пальцев, як текучу воду…

Пока дед рассказывал нам про свою «самурскую» службу, мы с Кузьмичом, внимательно слушая, ели из его короба бабушкины пирожки, и хотя дело было, повторяю, сразу после обеда (а курсантов тогда кормили весьма основательно), уплели за полчаса тот короб полностью, было же в нем пирожков не менее двухсот. Увидев это, дед спросил, а что мы ели на обед и сколько нам чего положено по норме, например, мяса, хлеба, сахара… Мяса, как помнится, было положено 200 граммов, на что дед Игнат сокрушенно заметил:

— А нам царь?батюшка фунт нарезал! — Зато у вас были посты! — откликнулся основательный Кузьмич. Надо сказать, что один «рыбный день» в Советской Армии был введен позже, так что «свои» полфунта мяса мы действительно получали ежедневно. Дед, улыбаясь, махнул рукой: во?первых, к постам тогда все были привычны и не воспринимали их как наказание, а даже наоборот, понимали их пользу, а во?вторых, посты в царской армии соблюдались не настолько уж строго: — Армия цеж не монастырь, та и не пансион благо? родных барышень, — пирожных нам не давали, а так — здорова ества была от пуза… На поход, на войну, при хворобу посты нам прощались. Зато чарка, а то и две, нам полагалась часто… Но — шоб без всякого пьянства и — не в ущерб службе — ни-ни! А шо та чарка при добротных харчах для здоровых хлопцев, ладно скроенных и крепко сшитых! Одна польза… Опять же горилку не переносят мокробы всякой хворобы, а це тоже немаловажно…

С нами вместе (со мной и Кузьмичом) в первом взводе шестой батареи служил парень по фамилии Зозуля. И звать его было тоже Павлом, и он тоже был из станицы Мышастовской. Ну, наверняка, внук того Павла Зозули, про которого нам рассказывал дед Игнат. Мы с Кузьмичом тут же, распрощавшись с дедулей, допросили своего сослуживца, надеясь поразить его таким совпадением. Но Пашка ничегошеньки не знал, не ведал про своего деда. И умер он где-то еще до войны, батько же про такие дела ничего не рассказывал, а мать и бабушка и подавно ничего не знали. Когда я потом поведал деду Игнату про нашего Зозулю, он без всякого сомнения заявил, что если он не прямой внук того казака, то уж наверняка внучатый племянник. Не бывает такого, чтобы из одной станицы и не родич. Если взять на круг, то все казаки, а черноморцы в особенности, в той или иной степени братья. Как, допустим, потомственные дворяне, или купцы старых родов промеж себя тоже родичи. Разве что недавно приписанные

в то или иное сословие и еще не успевшие породичаться.

А тут на тебе: из одного куреня, под одним прозвищем, да чтоб не родня! Да такого не бывает!

Курсант Павло Зозуля был хорошим парнем, честным, совестливым, добродеятельным. Пусть об этом знают его внуки. И когда перед нашим выпуском из училища в городок прибыл некто майор Кузьмин отбирать молодых лейтенантов (пока еще будущих, но «вот-вот») в воздушно-десантные войска, то среди желающих пойти в «крылатую гвардию» рядом со мной, внуком казака Игната, встал Пашка, внук казака Зозули (пусть даже и не того самого, а там, как знать?..), и мы вместе переживали, возьмет ли нас тот майор в десант или нет?..

И точно также, как полвека назад здесь прислушивались и приглядывались к прибывшему «сверху» барону, так и мы — к нашему «покупателю» из ВДВ: «майор пошел в столовую», «майор у генерала», «майор в учебной части»… И, наконец, завтра — комиссия!

Отбор в «крылатую гвардию», правда, был попроще, чем в конвой его императорского величества. Здесь не нужны были красивые бороды и кони одной масти. Комиссию интересовало здоровье кандидата, его физические данные, результаты выпускных экзаменов… И загремели мы с Пашкой в те самые «веселые» войска, что зовутся воздушно-десантными — я в «непромокаемую» Тульскую дивизию, а Зозуля — на Дальний Восток, в Манзовку. Года полтора мы еще переписывались, потом потеряли друг друга, по-видимому, навсегда. Благоразумный же Кузьмич не высказал желания идти в «десант» и был зачислен в обычную наземную часть, правда, тоже гвардейскую, которая стояла в Белоруссии, в Старых Дорогах. Так разошлись наши пути-дороги, и старые и новые…

А еще через полвека я, будучи в Краснодаре, пошел на улицу Северную — взглянуть на те достопамятные Самурские казармы. И ничего не узнал: военный городок окружал высокий глухой забор, за которым высились непонятные казенные дома. Через КПП изредка пробегали курсанты в таких же «юнкерских» погонах, какие некогда красовались на наших плечах, но здесь теперь размещалось другое училище, не имеющее ничего общего с нашим родным ордена Отечественной войны КАМУ, которое было переведено сначала в Прибалтику, потом в Минск, где его благополучно расформировали при очередном, кажется хрущевском, сокращении армии. Подошел я, естественно, к тому углу, где некогда на остатках еще дореволюционной ограды мы с Кузьмичом поедали привезенные моим дедом «домашние» пирожки. На белой стене отчетливо вырисовывались темные

полосы от армейских сапог — следы «самовольщиков», облюбовавших это отдаленное место для несанкционированного ухода за пределы части. Жизнь продолжалась…

Мне почему-то стало грустно. Может, потому, что я уже никогда не буду штурмовать подобные препятствия: незачем и не к кому…

А вот дед Игнат, посетив меня в достопамятные времена, не грустил — он был рад свиданием с внуком и своими Самурскими казармами. «Моих» Самурских казарм не стало.

Почти не стало…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, про службу и охоту царскую, да про самого Царя-Батюшку

Про службу свою, в полном смысле «царскую», дед Игнат рассказывал охотно и с интересом — считал, что именно та служба и была главным событием его жизни. Но вспоминал не ход ее и последовательность, а отдельные случаи, пусть не столь важные, но запомнившиеся. И рассказы его о той службе звучали для нас как одна длинная байка… Жизнь ведь измеряется не днями прожитыми, а теми, что запали в память. Ну что вспомнишь об обычных буднях рядового казака, пусть даже и конвойца? Занятия — «пеше по конному», в конном строю, фехтование и рубка, гимнастика, укладка походных вьюков, изучение уставов, «словесность», «беседы о войне», перековка лошадей, и — караулы, которые, собственно, и считались настоящей службой, ибо все остальное было учебой и подготовкой к делу — охране Его Императорского Величества Государя и Самодержца Всероссийского Николая Александровича, особы священной, помазанника Божьего, а равно и членов его августейшей семьи. Из них «величества» — только сам царь, его мать, а также жена, остальные — «высочества».

Всех надлежало знать в лицо и помнить назубок титулование и порядок обращения к ним, форму ответа на их вопросы, ежели такие случатся. Кроме того, у царя было множество генералов и высоких сановников. Многие из них имели прямое отношение к гвардии и армии вообще — их тоже следовало знать и должным образом величать.

Во всех этих премудростях новичков натаскивали унтер-офицеры, ибо выпускать «неотесанного» бородатого верзилу перед ясные очи особ высочайших было никак не можно.

Что греха таить, иному казаку-станичнику было бы легче в

одиночку выкопать криницу или нарубить знатную поленицу дров, чем все это вызубрить. Но — вызубривали. Потому как очень хотелось не отстать от других, и быть отчисленным из конвоя за тупость или вечно прозябать дневальным в конюшне. Вызубривали, и еще как! Казак — не турецкая лошадь, все поймет и все постигнет. Вероятно, не каждый высокопоставленный царедворец мог похвастать такой четкостью и такой готовностью «в любой момент дня и ночи» отрапортоваться хоть царю, хоть генералу, хоть кому бы то ни было. И ответствовать явственно, глядеть бодро и чуть весело, не пряча глаз, с полной готовностью кинуться хоть в огонь, хоть в воду, и образцово выполнить любой приказ, любое повеление. На то и служба, тем более царская!

Однако, сам император «Мыкола» казакам «не показался»: не «взрачен», малого росточка, с добрым, даже ласковым лицом… То ли дело главный командир всей российской гвардии Великий князь Николай Николаевич, царев дядько — рослый, представительный, резкий, с грозным взглядом. Орел, а не… голубок. Недаром, если на людях Николай Николаевич появлялся в свите царя, обыватели во все глаза смотрели на него, наивно, по-своему обоснованно, полагая, что именно этот высокий, блестящий сановник в генеральской форме и есть император. Конвойцы тихо пошучивали, что это, может, и к лучшему: случись покушение (тьфу-тьфу, не приведи, Господь!), то бомбисты обязательно перепутают и бабахнут по Николаю Николаевичу, не заметив в толпе царедворцев подлинного царя.

По слухам, в германскую войну Великого князя еще при жизни царя исподтишка называли «Николаем Третьим». И неудивительно, что после революции, уже в эмиграции, он доживал свой век весьма почитаемым, считаясь как бы законным наследником уже покойного российского императора и блюстителем его престола. Но до того еще было ой как далеко!

Дед Игнат часто вспоминал, что он в конвое застал еще унтеров-сверхсрочников, хорошо помнивших отца «царя Мыколы» — императора Александра Александровича. Вот то был, по понятиям станичников, настоящий во всех отношениях царь: богатырь, если сказать коротко. Конвойные как-то видели, как их величество, прогуливаясь по парку, подошел к бревну, лежащему где-то на задворках, поглядел-поглядел на него, потом ухватил ту деревину руками за один конец и, не очень тужась, поставил бревно «на попа». Полюбовавшись на могучий ствол, он толкнул его слегка, и бревно упало на землю — это, значит, чтобы оно как-нибудь не завалилось само и не придавило кого ни то. Казаки потом вдвоем пытались поставить ту бревнину «на попа» — не вышло, пришлось звать третьего…

Поговаривали, что царь Александр был не дурак выпить, но про то дед Игнат «чув» (слышал) не от конвойцев, а уже после революции от разных грамотных людей. И брехали про то складно, мол, носил он за голенищем плоскую фляжку с романеей и частенько к ней прикладывался… А то вроде у него было и такое развлечение: вдвоем с одним доверенным генералом устраивались они на бережке дворцового пруда как будто бы ловить рыбу. А в воде лежали заранее заготовленные бутылки и баклаги с разными хмельными напитками. И денщик по сигналу царя цеплял на крючки то одну, то другую склянку. Выдернув ее, «рыболовы» тут же выпивали, что в ней было, каждый раз радуясь улову и гадая, что же им «клюнет» в очередной раз…

— Може и було такэ, — вздыхал дед Игнат. — Шо царю не придумается! Но шоб он був пьянчугой, того не може будь: старые конвойцы про то не сказали. А они брехать бы не стали… В общем, могучий был царь, что погулять, что бревно покатать. Дюжий и видный. Вот только бомбистов страшился — ведь на его батьку, деда нашего Николая, семь раз покушались, пока не достали… Ну, слава Богу, с «третьим» Александром обошлось, умер своей смертью. И в кого только царь Николай уродился — ни в отца, ни в деда, ни в доброго соседа…

Бомбистов-покушателей боялись и при «втором» Николае, хотя анархисты-революционеры за царем охотиться как бы перестали, взрывали и подстреливали министров и губернаторов. Но чем, как говорится, черт не шутит…

Был в годы дедовой службы случай, когда офицеры одной из петербургских частей, видать, молодые — старики на такое дело не пошли бы, по хмельному возбуждению усомнились в бдительности императорского конвоя, и один из них на спор взялся тайно пройти в неурочное время в царский дворец. Через парк он таки тихобродом перебрался, проследив маршруты конных патрулей, а когда выполз из кустов и бросился на балюстраду дворцовой веранды, был схвачен, скручен и бесшумно (нельзя же было нарушать покой царского семейства) доставлен куда надо. Оружия у злоумышленника при себе не было, и это спасло его от серьезной кары. Офицера подвергли суду чести, признали легкомысленным пройдохой и отчислили из гвардии в отдаленный гарнизон. Как говорится, был рог, да сбил Бог… Конвою объявили царское благоволение, всем выдали по чарке, тем же, кто сцапал незадачливого спорщика, определили отпуска.

Немало колготни и хлопот доставляли конвойцам царские выезды. В них полагалось участвовать не только для показной красоты и церемониальности царского поезда, но и для упреждения возможного покушения на августейшую особу.

Конечно, на всем пути следовании императора неустанно орудовали чины полиции и разной жандармерии, орудовали негласно и гласно, тайно и явно, обеспечивая безопасность каждой сажени, каждого аршина, вершка… Конный кортеж был, пожалуй, последним рубежом этой охраны, и ее, можно сказать, символом — кто бы не любовался царским поездом, он меньше всего думал о переодетых филерах и агентах, кишмя кишевших в толпе, а вот бородатых конвойцев в красочных мундирах не заметить было нельзя — они были рядом с царем, отвлекали на себя внимание зевак и облегчали работу тайных соглядатаев, которые как раз наоборот — меньше всего взирали на казаков, а опасливо сверлили и просвечивали наметанными очами публику, ежемгновенно ожидая от нее любого крамольного действия.

От конвойцев же требовали «ворон-галок» не ловить и никого не допускать к царскому возку, если кто ненароком как-то просочится сквозь полицейские охранные цепи и вознамерится лично пообщаться с императором. Воспрещалось также брать для передачи какие-либо записки и письма, а букеты для подношения принимать только по знаку своего непосредственного начальника и передавать их царю или царице после внимательного осмотра. Чтобы в том букете не было ничего постороннего. Кидать же цветы из толпы — упаси Боже, строжайше воспрещалось, но то была опять же забота полиции.

Деду Игнату как-то выпало счастье (есть теперь о чем вспомнить!) передать такой букет царю. А было это на больших Псковских маневрах, и Николай II, проезжая через город, где по всем улицам стояли толпы любопытствующего люда, разгонять который было не велено. Какая-то дамочка вдруг оказалась чуть ли не на проезжей части и попросила оказавшегося тут нашего деда (а был он тогда вовсе не дедом, а красавцем-конвойцем) отдать цветы его величеству. Дед покосился на сотенного есаула, тот кивнул головой, и он подхватил из рук дамочки громадный и весьма приглядный букетище, быстро осмотрел его, и не найдя в цветах ничего лишнего, подъехал к императорской карете и поклонившись, подал букет царю. Николай взял его и тихо, как-то по-доброму ласково сказал:

— Спасибо, братец… На всю жизнь казак запомнил бледное, если не сказать — молочно-белое лицо царя, безгрешно голубые глаза и… какую-то болезненную беспомощность. Видно, застал он его в минуту душевного расслабления, когда человек незаметно для себя отходит от окружающего, остается со своими думками…

— Хороша людина був царь Мыкола, — отмечал дед Игнат, — добрый и набожный… — И, подумав, со вздохом добавлял, — Но видно, для царя мало быть добрым и набожным… Оттого и не

усидел на престоле… Случившийся на учениях петербургский корреспондент снял на карточку сцену вручения императору верноподданейшего букета, и через какое-то время в одном из столичных журналов была помещена та фотография в наилучшем виде. Дед Игнат долго хранил тот журнал, и лишь в начале тридцатых куда-то его запрятал, да так и забыл — куда. А жаль, какая бы была для всех нас память!

* * *

Молодые конвойцы поначалу удивлялись обилию придворных, блеску их мундиров, несуразности (по казачьему представлению) дамского одеяния. Дед Игнат с удовольствием рассказывала, как они спорили, зачем одна из фрейлин носит очки. Одни утверждали, что они увеличивают зримые этой дамой предметы до невероятных размеров, и это ей приятно. А что: интересно посмотреть на блоху величиной, допустим, с жабу, или какую другую козявку ростом с овцу… Другие же считали, что очки она носит либо для моды, либо они ей положены по должности, как, к примеру, адъютантам шнуры-аксельбанты. Улучив момент, когда она прогуливалась с императрицей по парку, ей на пути положили соломину: если очки ей действительно все подряд так увеличивают, она перешагнет через нее, как через бревно, высоко подняв ногу… Фрейлина прошла по соломине, не заметив «препятствия», убедительно доказав, что очки у нее — для форса…

А вот белые ночи хлопцев не удивляли, не мог же царь (царь!) жить в обычной, незатейливой природе, без чудес и уму непостижимых явлений!

Неподалеку от казарм конвойцев размещались царевы псарни. Это заведение считалось весьма почтенным, уважаемым. Собакам в нем жилось не хуже, чем прочей императорской челяди. И повадились казачки-конвойцы для собственного удовольствия и времяпрепровождения поддразнивать тех псов. Бывало, как-нибудь под вечер подползут к тому заведению с тыльной стороны и давай выть по-волчьи, а то и просто гавкать и тявкать на пример станичных беспородных шавок. Что тут начиналось на псарне! Их благородия высокородные псы поднимали такой гвалт, так остервенело рвались на волю, в злом охотничьем азарте, что уму непостижимо! Что ж, и царские собаки — они все равно собаки! И на самого царя могли ощериться… А тут такая оказия! А может, им на той псарне все наобрыдло, они были и рады погавкать-потешиться…

Подсвистнув для задора, шутники отползали от дворцовой псарни, еще долго наслаждаясь произведенным переполохом. Псари, разобравшись в причинах периодически повторяющейся тревоги, зачастили в казармы, слезно прося казачков не беспокоить зазря благородных животных. На время эти развлечения прекращались, но через месяц-другой повторялись снова…

И то, может, и вовсе перестали б конвойцы дразнить тех императорских псов, да псари попросили их все же иногда поднимать переполох. От долгого безделья, бывало, собаки скучали, теряли аппетит, а это — не дело. После тревоги же у них отлегало от сердца, и они, отгавкавшись и отвывшись, заметно веселели, чувствовали свое собачье достоинство…

Надо сказать, что царь-батюшка весьма был привержен к охоте, частенько выезжал пострелять-пополевать и бывал в хорошем настроении, когда охота удавалась. А как она могла не удастся, если императору в той серьезной забаве помогали десятки, а то и сотни егерей, псарей, загонщиков и разного рода чинов, к тому делу приставленных.

В специальное угодье во множестве запускалась разная дичина, которая потом и отстреливалась сотнями и тысячами штук, в зависимости от числа сановников, приглашенных на царскую охоту.

— Ну шож то за охота? — посмеивались станичники. — Все одно як послала тебе жинка каплуна прирезать, абож гусаку голову отрубать!.. Сам император стрелял довольно метко и за один заход «добывал» с полсотни диких петухов-фазанов, вальдшнепов и зайцев. Иногда царь охотился на глухарей. Все это был, как говаривал дед Игнат, отстрел безобидной живности — на волков, медведей или, допустим, оленей-зубров царь под Петербургом не хаживал. Для такой охоты были особые выезды на Белорусщину или на Кавказ, но нашему деду не привелось быть с царем ни в Беловежье, ни в Теберде.

Особое удовольствие для царя Мыколы было подстрелить сову, вероятно, потому, что была она не привозная, а местная, а значит — редкая. К тому же считалось, что эта «хищница» наносит ущерб «культурному» охотничьему хозяйству.

В царскосельском парке император любил подстрелить ворону, особенно в межсезонье. Чтобы не терять остроту глаза и еще потому, что был уверен — эта птица если не вредоносная, то уж во всяком случае бесполезная и докучливая.

Бывало, выйдет на прогулку, а тут она, та ворона, вдруг шмыгнет откуда-то, да еще, глядишь, каркнет себе на голову. Царь щелкнет пальцами, ему тут же подадут ружье. Трах-тарарах,

и конец вороньему счастью. Царь доволен, идет дальше. Глядишь, подлетит еще одна. Трах-тарарах, и этой конец.

А однажды убитая их величеством птица зависла на дереве. Царь посчитал это за непорядок и всадил в нее еще заряда три, но от клятой вороны только перышки летели, она же теми выстрелами вбивалась еще глубже в развилку ветвей. Император велел егерю довершить дело, а сам пошел дальше по державной хлопотне радеть, да думать о народном благе. Егерь принес какое-то особенное ружье, с коротким, но толстым стволом, что-то вроде ручной мортирки, жахнул два раза мелким бекасиным дробом, и от той вороны не осталось ничего — разнесло в пух и прах.

И еще царь при любой погоде регулярно выходил на прогулку, подышать вольным воздухом, отрешиться от нудных государственных забот, а заодно на ветерке, может, о чем и подумать. Дровишки рубил, а зимой чистил от снега дорожку в парке. Самой обычной лопатой, не какой-нибудь особенной, «царской» — серебряной или золотой. Надо ж было и ему подразмяться, мужик все же, хотя и российский император.

Казакам-ковойцам, вспоминал дед Игнат, надлежало охранять царскую особу недреманно, но перед очами императора не мельтешить, по возможности держаться подальше и в тени, но так, чтобы в любое мгновение оказаться рядом и отсечь злоумышленника, будь то, не приведи Бог, бомбист или иной какой покушатель.

— Что ж вы так его берегли, — иногда вопрошала деда бабушка Лукьяновна, — так уж берегли и не уберегли?! — Так тож не мы, — упирался дед. — При нас все було путем… То его генералы та депутаты низвергли, и на то була Божья воля. А мы, простые люди, царя любили. Не чванливый он был, но и не такой, як все, потому як царь… Воно всеж лучше, як наверху природный царь, а не абы хто… Мы его каждый день бачили и понимали: Царь! И в служби той было наше счастье, наша доля. А наша доля — Божья воля…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, про хорунжего князя Дядянина, да про станичника Степана Стеблину, и про службу царскую

Из командиров императорского конвоя дед Игнат больше всех других вспоминал ближайшего к рядовым казакам офицера — хорунжего князя Дядянина.

— Отож настоящее прозвище того хорунжего было Дадиани,

— уточнял дед Игнат. — Дадиани Давид Константинович[15], и не простой какой князь, а «светлейший», породистый! До конвоя он служил в Первом Великой Княгини Анастасии Михайловны Хопёрском полку. Ну, а мы его иначе як «Дядянин» не называли — так сподручней. Но обязательно и непременно — «князь». Такое ему было прозвище и честь… Титулованные офицеры в казачьем конвое попадались редко — командирами конвоя бывали и графы, и бароны, а пониже — в основном выходцы из полков Кубанского казачьего войска. Был один сотник — принц персидский Реза, пришедший в конвой из пехотного Изюмского полка, но дед Игнат не помнил его, знал понаслышке, что был такой… Князь же Дядянин был близко, рядом, «свой хорунжий».

Занятий со своими подчиненными он почти не проводил, но зато регулярно с ними ходил в караулы. Дело это считалось весьма ответственным, и почти все караулы при особе царя-батюшки возглавлялись господами офицерами. Молодой и красивый князь отличался незаурядной силой и веселым нравом. Гнул подковы, крестился двухпудовиком, скручивал в узел железные гвозди. Под настроение кружил на плечах жердь с повисшими на ней 10–12 казаками.

Как-то в карауле попросил себе кружку чая, сахар — в прикуску. Караульный из свободной смены принес ему ту кружку, поставил на стол, а рядом — два кусочка сахару. «Куда мне столько? — спросил хорунжий. — Я сладкое не люблю, отломи половину!». И подает казаку кусочек сахару. «Как?» — не понял тот. «Да вот так!» — князь показал, «как»: взял тот кусок и пальцами, словно это был хлеб или, допустим, мягкий сыр, отломил себе, сколько ему было нужно. «Ну-ка, попробуй!» — предложил он караульному. А нужно сказать, что сахар тогда продавали «головами» — выточенными на машине конусами в пол-аршина и более, и был он твердющий, как камень. Его кололи специальными щипцами или крошили ударом молотка. Крепко стукнут по такой «голове», от нее отвалится небольшая часть, и в том месте, где сахар раскалывается, вспыхивает синий огонь. И ничего удивительного в том, что караульный не смог отломить от чималого куска меньший — не было. Не смогли этого сделать и другие. «Что ж вы, хлопчики, а чи мало каши ели?» — подшучивал князь, переламывая те куски легко и просто, как ему хотелось. «Ну, — подзадоривал офицер, — давайте, если кто переломит вот этот кусок — всему караулу после смены ставлю ведро водки!».

А надо сказать, что князь был из богатых, хотя сам он так не считал. Мама ему давала на месячные расходы 50 тысяч ассигнациями, и добру-молодцу их обычно не хватало. Все до

копейки прогуливал с друзьями-товарищами и через три недели начинал торопить свою мамочку — подай, мол, Христа ради… Это в то время, когда на Кубани за рубль можно было выторговать овцу, а то и не одну.

Предвкушая даровую горилку, казаченьки призадумались, пошушукались и разбудили из отдыхающей смены одного из своих товарищей, известного силача — авось не подведет… Казак, по фамилии Скакун, из титаровских, спросонья никак не мог взять в толк, чего от него хотят. Тем не менее, взял предложенный ему кусок сахару и прижав большим и указательным пальцами, размолол его в песок. Восторгу князя Дядянина не было предела, и он на радостях выдал уряднику гроши на два ведра водки, но только с условием, что они раскассируют добавку дня через два, чтобы не переборщить, а то мало ли чего.

— Так шо и посеред рядовых казачков были хлопцы достойные, — с удовлетворением отмечал дед Игнат и, ухмыляясь, обычно добавлял: — Не лаптем, бачил я той лапоть! — горилку хлебали! А князь Дядянин один раз поставил нашему караулу аж три ведра той горилки под тем же наказом: пить, но не напиваться… А было это так…

Служил с нашим дедом в одном взводе станичник — Степан Стеблина. Ладный был казак, совестливый, добрый и надежный, как и положено для воина лейб-конвоя. Както ошивался он по какому-то делу близ дворца, и старшая дочка царя великая княжна Ольга обратила внимании на красавцаказака и спросила, из какой он станицы.

— Из Стеблиевськой, ваш императорск высочеств, — отчеканил бравый служивый, вытянувшись по стойке «смирно» перед десятилетним «высочеством».

— А как вас звать-величать? — Степан Стеблина, ваш императорск высоч!

— Стеблина из Стеблиевской? — переспросила царевна.

— Так точно: Стеблына из Стеблиевськой!

— Мама, мама, — радостно закричала девочка, бросившись к императрице. — Смотри: этот казак из станицы Стеблиевской и фамилия у него Стеблина, как интересно!

— Прелестно, — промолвила царица, искоса бросив взгляд на казака и, видно, оценив его образцовую выправку, изволила высочайше улыбнуться гвардейцу: — Господь вам на помощь!

— Рад стараться, ваше императрск величество! — отрапортовался станичник и покраснел, подумав, что ответил как-то невпопад: чего уж там стараться — ну Стеблина из Стеблиевской, и теперь как тут не старайся, по другому не

станет… Княжна запомнила его и потом несколько раз, увидев его где-нибудь, грозила пальчиком и лепетала:

— Стеблина из Стеблиевской…

Товарищи, понятное дело, подшучивали над Степаном, что мол, не лови мух, будешь царевым зятем. А что — такое, можно сказать, небывалое, тоже бывало! Стеблина отмахивался, что вы, мол, дурни, да о чем вы, меня ведь в станице ждет ненаглядная, чернооокая с двумя ой какими сынками-казачатами, наследниками…

И вот однажды наш дед Игнат вместе с тем станичником стоял на посту у резных золоченых дверей в царскую опочивальню. Друг против друга с шашками наголо. Глубокой ночью во дворце — глухая тишина, покой — и скукота нездешняя. И видит дед Игнат, что товарищ его как бы засыпает.

— Степа-ане! — тихо окликает он того. — Шо? Га? — вздрогнув, пробормотал Стеблина и, покачнувшись, уронил саблю. Пытаясь ее поднять, он как-то неловко шагнул вперед и носком сапога ударил по клинку. Словно молния, сверкнула сабля по гладкому зеркальному паркету и с оглушительным звоном полетела по ступеням широкой мраморной лестницы, с которой на ночь убирали ковры. Звук падающей закаленной «железяки» гулким эхом отозвался по всей анфиладе пустующих высоченных покоев и коридоров замершего в тот поздний час императорского дворца. Князь Дядянин, бывший на ту пору начальником внутреннего караула, воспринял этот необычный шум как нечто крайне угрожающее и, не задумываясь, поднял караул «в ружье». Оставив за себя разводящего, хорунжий с двумя караульными выскочил на площадку перед парадной лестницей. В это время Степан, наконец, догнал свою «кляту шаблюку», схватил ее, и как кот от «скаженной собаки», взметнулся вверх по лестнице на свой пост, так что князь только мельком увидел его паническую фигуру где-то там, на самых верхних ступенях.

Разобравшись в происшествии, хорунжий собрал унтеров и старослужащих на «малый военный совет». Все как следует обмозговав, конвойцы поддержали желание князя огласке сие дело не предавать, так как действительного ущерба службе оно не принесло, а по формальным признакам могло дать последствия сильно неприятные. И не только Стеблине, но и прежде всего любимому командиру князю Дядянину: доложат «наверх», и начальство будет обременено «иметь суждение»… Как, мол, это могло случиться, что казак конвоя его величества вдруг задремал (а скажут — «заснул») на посту! А кто был караульный начальник? А кто там еще был? А что это за гвардия такая, что спит на постах? И так далее и тому подобное, со всей вытекающей

отсель славой и бесславием.

Нет, уж коли есть возможность, а такая возможность по общему мнению была явной, то лучше соблюсти должную скромность и не выпячиваться. Стеблине же для науки после смены с караула объявить месяц беспролазного дневальства на конюшне, дабы впредь был «посурьезней».

Князь Дядянин попросил караул все случившееся соблюсти в тайне, никому ни гу-гу, потому как их товарищу за сей проступок грозит военный суд, а хлопец он, все это знают, не плохой, если не сказать, что даже хороший… Ну, а всему караулу «для замывки» — три ведра горилки, но не разово, а по обстоятельствам…

Так и кануло в небытие это ночное происшествие, урону службе не принесшее, но уж лучше бы его не было бы вовсе. А может, его и не было — раз забыто-закопано навсегда. Но горилка-то была…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, про «рэпаного» казака «гильдейского» и его гостевание в Российской столице

Был у нашего деда Игната родич, не кровный, но весьма близкий — родной брат мужа материной сестры Никита Фоменко, или, как он сам себя величал — Мыкита Хвомэнко. По нынешним понятиям — десятая вода на киселе, ну может, пятая, но в те времена — хоть и «через дорогу навпрысядку», но — родич, дядько Микита. Тем более, что он постоянно кого-то крестил, сватал, женил, выдавал замуж и тому подобное — любил эти события, понимал в них толк и был всегда на них коноводом. Без него, как говорится, не святилась никакая вода…

Унаследовав от своего батьки довольно серьезное торговое дело (Фоменки держали «ссыпку», скупали зерно и снабжали им других оптовиков), Микита приумножил его и получил «гильдию», чем очень гордился и в похмелье куражился: «Я гильдейский купец и рэпаный казак». Иногда путал определения, и тогда у него получалось: «гильдейский казак и рэпаный купец», что означало уже высокую степень «похмелюги» и что с возлиянием «трэба завязувать». А «рэпаный» — значит «потресканный», то есть весьма старый, морщинистый, кондовый, долженствующий вызывать особое уважение.

В трезвом бытии он слыл отменным организатором, рассудительным, весьма практичным хозяином и добрым, незлобивым человеком, в подпитии же в нем прорезывалась

романтическая жилка и он бывал способен на непредсказуемые действа. Так, в памяти потомков сохранился рассказ, как он, будучи в Киеве, после пятой-десятой «пляшечки» доброй терновки, которую весьма почитал, зашел в зверинец и попытался покататься на страусе. Та худоба ему понравилась своим представительным видом, и Микита решил, что ее было бы в самый раз использовать как тягло. Однако, гордый страус скорее всего так не думал, и когда «рэпаный» казак вскочил на его спину, он его сбросил и, отскочив в сторону, возмущенно застрекотал. Его возмущение Микита вполне понял и одобрил, но в соседней загородке находился пеликан («птиця-баба», как называл сие создание сам «Хвомэнко»), который, косясь на страуса и его незадачливого наездника, широко открыл клюв, подняв его вверх по свойственной этим птицам навычке.

— А-а, так ты, бисова баба, ще будешь смеяться над рэпаным казаком! — загорелся Микита и перелез за ограду к незадачливой птице. А нужно сказать, что был он левшой (правая рука у него «сохла») и левой рукой мог не только подписывать бумаги, но и весьма успешно «тюкать» кувалдой в кузне. Короче, Мыкыта, как он сам говорил, «добре вризав» пеликану по его неумной голове именно левой, что и было специально отмечено в полицейском протоколе по случаю того проступка. Отягчающим обстоятельством происшествия было то, что несчастный насмешник-пеликан «с непривычки», как объяснял наш герой, «тут же загнулся». Дело кончилось немалым штрафом, против которого «гильдейский казак» никак не возражал — власть он почитал, особенно полицейскую: власть — она от Бога, а с Богом спорить — йижака ковтать (ежа глотать). Потерпев неудачу с приручением страуса, дядько Микита купил двух верблюдов, на которых в Славянском порту потом долгие годы подвозили всякую кладь. Главным же достоинством этих животных считалась их способность оплевывать обидчиков, причем исключительно метко. Хозяин не возбранял хлопцам поддразнивать двугорбых, доводя их ко всеобщей радости до карательного плевка.

А еще дядько Хвомэнко держал у себя на подворье ворона, подобранного где-то в дальних путях-поездках.

— Кажуть, шо ця птица, — говаривал Микита, — дюже живуча — живет триста годов. И це треба проверить: може брешуть!..

И вот этот родич приехал как-то в Петербург и, провернув свои торговые дела, явился проведать племянника, то есть нашего деда Игната, и купно — остальных станичников-конвойцев. Как водится, он привез поклоны и приветы от знакомых и

родственников, а также гостинцы и подарки. Не разменяваясь на мелкие радости, «гильдейский купец» передал отцам-атаманам бочонок паюсной икры, а рядовым — два бочонка: один, естественно, с салом, а другой с каспийской селедкой «заломом». Сам он больше любил местную — керченскую селедочку, но по его понятиям она мало годилась для подарка — была мелковата. А вот «залом» в самый раз: глядишь, и душа радуется — сплошной смак в аршин длиной… И нужно отдать ему должное — казаки оценили приношение и навалились именно на «залом» — хотелось чего-то солененького, неказенного.

Покалякав с земляками, дядько Микита отпросил племянника и его двух ближайших друзей-станичников отобедать с ним «в номерах».

— Гулять будем дома, — говорил Микита, — в чужом краю ударяться в загул непотребно и грешно… А посидеть землякам за столом-обедом непременно треба… И это был «крепкий» обед, о нем дед Игнат с удовольствием вспоминал всю «остатнюю» жизнь.

У самой гостиницы крутился красномордый полицейский чин — дядько сунул ему серебряную монетку, и тот с готовностью взял под козырек. Лишь только вошли они в здание, как к «гильдейскому купцу» подлетел, словно на крылышках, служитель и подобострастно вопросил дядьку Микиту, чего он соизволил бы пожелать.

— Обед, — коротко бросил тот. — Из двенадцати кушаний на четыре персоны, — он кивнул на своих гостей. — Но до того… четыре тазка (т.е., тазика), затем — салфеток и раз-два… гм… и шестнадцать бутылок… того, як его… шампаньского… Про остальное скажу потом…

— Нам шампаньского не трэба, — хотел было остановить его племянник, — мы непривычны…

— Знаю, — нетерпеливо отмахнулся дядько. — Пить будем горилку, або як есть горилка, то и в аду не жарко… А це — для другого… Пошли!

И не успели наши казачки-мужички войти в номер, как на столе засверкали высоченные бутылки.

— Значит так, хлопцы, — сказал дядько, — кажному взять по тазку и вылить в его по четыри пузыря цого паньского пытия… Он показал, как откупоривать шампанское, и когда братва с веселым шумом наполнила им тут же поданные тазики, велел поставить их на пол против себя и снять чоботы и онучи.

— Паны в шампаньском купають непотребных девок, — пояснил Микита, нам будет негрешно охолонуть свои натруженные ноги в ции дужэ благородни пакости… Плюнем на их благородство, хай им, панам, икнется! Переглянувшись, казаки

выполнили пожелание хозяина — чудить так чудить!

— Ось так будь добре, — крякнул Микита. Тем временем в номере появился служитель с перечнем готовых блюд-закусок. «Гильдейский» отмахнулся:

— Не надо, — сказал он. — Будемо обедать не по писаному… Значить так, для почину давай нам четверть водки с перцем и всяку мелку закуску… И шоб там помимо ковбасок-селёдок была дичина. Така легосенька дичина, не лосятина-кабанятина… Шо у вас есть?

— Фазаны, перепела, рябчики, — согнулся в поклоне официант. — Стой! Неси по три перепела, не объедаться ж нам… И ту, как там ее… солянку, о! — Солянка — цэ вроди нашего борща, — пояснил он гостям. — Борщ кацапы варить не умеють, а солянку — ничего, йисты можно… И щэ… ось тих, як их… манэнькых таких вареников с мясом! — Пельменей, — догадался официант. — Эгэш, хай будуть пелмени…

Затем он заказал зажарить «шмат мяса» фунтов на двенадцать, и еще что-то, а когда служитель заявил, что заказывать можно все, что угодно, Микита встрепенулся:

— Так таки и все? Тоди поджарь нам на масле цыбули и дай нам отварного буряка на том же масле. Записал? Ну и добре… А после ухода официанта он злорадно сказал казакам:

— Ось побачите, як воны найдуть нам ту цыбулю и той буряк, ели бы они ту еду сами всю остатню жизнь! Когда на столе появилась горилка и первые закуски, «гильдейский» дядько пожелал, чтобы после солянки и третьей или четвертой «пляшечки» пригласили музыкантов — «одного с бандурой, абож со скрыпкой, а другого с сопилкой — цэ така дудка с дирками…»

— Флейта? — Хай буде хлейта, — согласился дядько. — И шоб заиграли шо набудь жалостливое, такое, шоб без перца достало до сердца… А як мы их отпустымо, хай заходит трубач… И на велыкой трубе продудыть нам шось такэ… великэ, пидъёмнэ, иерихоньскэ!

И начался, что называется, пир горой, хотя дядько Микита и прозвал это событие обычным обедом «при любезных гостях». Сняв черкески, казаки помыли в шампанском ноги и по примеру хозяина вытерли их салфетками, переобулись в принесенные служителями легкие чувяки. Перекрестившись, приняли по первой, и пошло-поехало… Посреди обеда в номер ввалились музыканты и по дядькиной просьбе сыграли нечто очень печальное, душещипательное.

Скрипач выводил что-то такое жалостливое, что всем по пьяному делу захотелось всплакнуть, и дядько Микита действительно прослезился, обхватив руками свою чубатую

хмельную голову… Потом выпили за «жизнь нашу горемычную» и за «пронеси, Господи, мимо нас пагубу злу и немоготу телесну…». После чего высоченный и очень «сурьезный» трубач на своем инструменте, отчищенном до золотого блеска, воспел хвалу бытию земному и славу благодати небесной… Дядько Микита воспрял духом, а по его примеру и его «разлюбезные гости», за что тоже была принята на сердце очередная «пляшечка» доброй горилки…

И были скушаны на том обеде запеченные в сметане карасики, и сваренные в соленой воде большущие раки-омары, и «пирижечки с мясом», с капустой, и еще какие-то яства. И конечно же, вареники со сметаной, много вареников, кто сколько хотел, «от пуза»…

Где-то к концу обеда явился официант, явно сконфуженный, и попросил «расталдычить» ему повнятнее и, по возможности, подробнее, что есть такое «цыбуля» и, естественно, «буряк». Ибо в припасах ресторана такой съедобы нет, и они уже посылали в соседние с просьбой выручить, но и те оказались бессильными перед таким «закрученным» заказом.

— А шо я вам казав! — торжественно воскликнул дядько. — Они бисовы кацапы-москали ничего не соображают в здоровых людских харчах! А за все им давай копейку, и копейку беленьку, черненьку на дух не переносят! Ладно, — сжалился он, — обойдемся без цыбули и без буряка, снимаю заказ! А замисто его ось принеси нам, любезный, по ананасу! Надеюсь, шо хоть ця чепуховина у вас не перевелась! Только неси их в натуральном обличьи, шоб каждый побачив, шо цэ такэ!

«Чепуховина» тут же появилась на столе, а как ее есть — казаки не знают. По словам деда Игната, ягода эта для них была очень непривычной: продолговатая, в два кулака, покрыта жесткой шкурой, квадратиками, на манер, прости, Господи, черепахи. А вверху — зеленый чуб, такой пу чок твердющих колючих листьев. Дюже чудна «фрукта»…

Дядько Мыкыта показал, как к ней подступиться: надо срезать «чуб», а потом сверху вниз ножом очистить от шкуры. И небольшими скибками (т.е. ломтями) потрошить тот ананас до конца. Вкусом «ягода» оказалась не так уж и знатной, что-то вроде дыни с малиной… В общем — так себе...

— Может, — вздыхал дед Игнат, — мы тот ананас ели неправильно. И пояснял, что панам, к примеру, ананас подают уже аккуратно ошкуренным и распластованным, так что удовольствия они от этой диковины получают еще меньше. Так им же — дед сам это видел! — и кавун (арбуз) подают на тарелочке порезанными кусочками, и едят они его серебряной

вилочкой. Да разве ж его можно так есть! Кавун — он же тогда кавун, когда его в руках покрутишь, пощелкаешь пальцем, а только тронешь его ножом, как он тут же лопнет с хрустом и по столу потечет розовый медовый сок… А еще краше, прямо на баштане (на бахче, то есть) сорвать, какой на тебя смотрит, свежий, с восковой росой по шкуре, и кулаком — хр-рясь!.. Вот то кавун, вот то чудо-ягода, самим Богом сотворенная на потребу и вкушение грешным человеком.

Скорее всего, ананас на его родной ниве тоже едят как-нибудь «по-местному», по-простому, и от того он, может, там и по вкусу тоже «чудо-ягода»… Но и так расправляться с тем ананасом, как показал им «гильдейский» дядько Микита, тоже неплохо, потому как был тот способ все же ближе к натуре. Не вилочкой же…

Дед Игнат любил вспоминать, как перед самым концом их обеда в номер зашел служка и слил из тазов шампанское, в котором казаки мыли ноги, в зеленое ведро с красной деревянной ручкой. А потом, когда все они, отобедав, вывалились на улицу, дед Игнат увидел, как служка вручил то самое ведро ярыжкам, толпившимся у крыльца гостиницы, и те со смаком поглощали дармовое вино… Служка сказал, что босяки за такую услугу угодливо выполняют любое мелкое задание — двор подметут, сбегают, куда надо. Чего людям не спроворить услугу, когда она им в радость. Кто чужой радости не рад, тот себе враг…

На выходе из гостиницы казаков проводил, встав «во фрунт» все тот же полицейский чин. Дядько Микита ему одобрительно улыбнулся и дал «на чай» полтинник — он уважал полицейскую власть.

Для доставки к месту службы своих любезных гостей, ненаглядных станичников, Микита нанял двенадцать пролеток на красных колесах, в первую он сел сам с племянником, во вторую усадил его друзей, в третью положил свою шапку, остальные извозчики должны были следовать позади, не отставая, чтобы, не приведи, Господь, вся эта кавалькада не разорвалась в уличной сумятице, и тем не нарушила стройную торжественность задуманного шествия.

Цокая подковами по каменной мостовой, добрые кони домчали до гарнизона, где Микита поцелуйно распрощался со своими гостями, перекрестив каждого и пожелав им всем благополучия в этой и последующей жизни, где им не раз еще придется встретиться. «Там» же мы все будем, только не сразу и не по добровольному стремлению. Да и как туда особенно стремиться, когда на этом свете есть такие блага, как вареники со сметаной, ананасы с зелеными «чубами», да кавуны

красноспелые, сочные и сладкие, как солнцевидный пчелиный мед.

В Петербург дядько Микита больше не наведывался. Да, может, ему и не надо было того — память о себе он оставил долгую… Что ж — добрым деяниям и добрая память.

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ, про коней-лошадушек казачьего конвоя, их уме и нраве, и про красоту и радость конной службы

— Отож яки у нас были в конвое кони, — вздыхал иногда дед Игнат, — не кони, а чудо-кони. Все, як на подбор красавцы, шо статью, шо ростом. И каждый — со своим характером, не было такого, чтоб две коняки с одинаковым норовом. Як люди! Только что людина может претворяться, а животина не станет. Як что не так, тут же покажет, или как-нибудь там обозначит. И на добро и на ласку отзывчива, як та же кошка, або собака. Не то, что безмозгла курка, абож гусак противный — ты до его с добром, а он шипит, як гадюка погана. Гусак он и есть гусак, только что на блюде хорош! Особливо с яблоками. А конь… И дед, распалясь, мог долго и с подъемом рассказывать о тех давних конях, что проходили с ним службу в том его императорского величества казачьем конвое. К примеру, у земляка его Стеблины был конь Рогач, так он на «чмок» откликался. Зайдет Стеблина на конюшню и так тихонько, едва слышно причмокнет губами, его Рогач тут же поднимет голову и эдак радостно, по-особенному заржет — откликнется на хозяйское внимание. Хороший был конь — «слухняный» (послушный).

А у другого казака была кобыла Тишина. Очень справная худоба, но вот имела привычку перед препятствием на полном скаку останавливаться. Бежит, бывало, к «забору» или к «стене», или там к тем же «клавишам», и вдруг за шаг до прыжка — торк обеими передними ногами в упор, и казак по инерции летит через ее голову на землю. А вот ежели ей перед тем упражнением за ухом почесать, а еще коли дать хлебную корочку, посыпанную солью — с хода берет любое препятствие, перелетает, словно на крыльях, любо-дорого посмотреть.

А то была еще кобыла (дед запамятовал ее имя-прозвище), любившая обкусывать соседним лошадям хвосты и гривы. Что она находила в том интересного — трудно сказать, но порою она так преуспевала в своем увлечении, что лишенных природной красы коней нельзя было ставить в строй. Пришлось ту кобылку для начала перевести в ветеринарный лазарет, от греха подальше, а

потом и вовсе выключить из списков конского состава царского конвоя. Как говорится, за неблаговидное поведение. Но то был на дедовой памяти единственный случай «лошадиного разгильдяйства».

К строю же кони были приучены лучше, чем цирковые медведи к танцам. Все команды и сигналы понимали с полузвука. Бывало, новобранцы на занятиях «пеший по конному» путаются, куда каким «плечом» воротить, а сядут верхом — кони сами выполняют любую кавалерийскую эволюцию-загогулину в лучшем виде. А команды какие были в кавалерии — нараспев, мелодично:

— На-право на переду… Рысью-ю.. Ма-арш! — Пол-оборота налево-о-о… Вольт налево… Ма-арш! — Сотня! Шашки к бою… Слу-уша-ай! — Вниз направо-о — руби! Налево — коли! Или: — Все вдруг… Шашки к бою, в атаку-у, рысью, марш-ма-арш! И пошли казаченьки по полю с гиком и посвистом, поднимая копытами лошадей своих пыль, оглашая округу глухим перекатом конского топота…

Или же:

— Сто-о-ой! Огладь лошадку!.. Слеза-ай! Отпусти подпруги, покачай седла! Красота!

— Да, была в той кавалерийской службе своя красота и своя радость! — говаривал дед Игнат, и не раз повторял нам такую историю-байку. Как-то командир всей российской гвардии Великий князь Николай Николаевич[16] принимал у себя высокого заграничного гостя — не то германского «крон… как его? — принца», что ли, не то ихнего еще кого-то тоже дюже главного и дюже важного, мордастого, очастого (т.е. глазастого). Как говорят люди — кого другого сразу же по харе видно, что эта персона не из простых свиней… Так что тот гость скорее всего был-таки крон-принц.

И вот после какого-то не первого забеседного бокала синего заморского вина, а может, и чего покрепче, соизволили они выйти для прохлады на задний балкон, который «прямисенько» глядел на гарнизонный двор-плац. А дело было где-то к осени, в воскресенье, и по главному гарнизонному двору вроде как бы беспечно сновали конвойные, кто в чем — кто, может, в сподней рубахе, кто без чобот. А где-то в углу хлопцы сидели кружком, покуривали, и само собой, точили лясы, балакали то есть о всяком пустом. Каждый, в общем, по своему праздному делу, так как день был не служебный, свободный, и все это было можно, так как казак гуляет, но службу не забывает…

— Что же это, князь, у вас за войско, — усмехнулся закордонный гость, — не войско, а цыганский табор. А если вдруг случится какое нападение? Пока эти кочевники соберутся, и

война кончится! — Не скажите, — «трошки» обиделся Великий князь. — От неожиданного нападения у нас выставлены караулы, а если для войны-похода, то ручаюсь: по моему сигналу через четверть часа это войско будет готово выступить в любую, пусть даже и в европейскую страну!

Тот не поверил: куда там, по двору действительно бродили не солдаты, а черте кто, бродяги и только, босота перекатная… В общем, заспорили они, или, как у них там водится, заключили пари, и Николай Николаевич вызвал к себе дежурного офицера с трубачом-сигнальщиком:

— Трубите тревогу! — Слушаюсь, ваше императорское высочество, — щелкнул тот шпорами и приказал горнисту подать сполошный сигнал. А тому одно удовольствие при высоких особах да еще на высоком балконе показать свое мастерство. И над мирным, полусонным гарнизоном загромыхал, запел боевой сигнал. «Крон-принц» кладет на столик золотые с зеленым изумрудом часы, засекает минуты…

— Тра-та-та-а… Тра-та-та-а… Тре-вогу тру-бят… Ско-рей седлай ко-ня-а… Ра-зом будь го-тов, — поет труба. Что здесь сделалось в нашем дворе! Все, кто где бы не был, устремились на конюшню, на бегу надевая снаряжение. А там уже ждут лошадки, нетерпеливо прядая ушками. Схватив с полок седла и прочую амуницию, казаки набрасывают их на коней и, не засупонивая всех ремней, так, лишь прихватив подпругу на одну пряжку, вылетают на двор.

— Та-тат-та… тра-та-та… На мес-то от-прав-ляйся ты сборное… Трат-та-та… — выводит горнист. — Стой там спокойно… и при-каза жди… Каждый казак и каждая лошадь знают свое место на плацу и скороспешно, через две-три минуты занимают его, к уже прибывшим примыкают другие, и только тут, в едва обозначившемся строю, застегивают все положенные ремни. Приходят еще какие-то минуты и дежурный офицер, убедившись, что все (или почти все) на месте, певуче подает команду:

— Направо… ра-авня-айсь! Сми-рр-но-о!

И докладывает Великому князю о готовности казаков к выполнению дальнейших приказов. «Крон-принц» смотрит на свои золотые часы, с зеленым изумрудом, как жабье око, и восклицает:

— Это невозможно: прошло всего лишь двенадцать минут! — Без семи секунд, — поправляет его Великий князь Николай Николаевич и поглаживает усы. — Без семи секунд… Они спускаются вниз, обходят строй. Их «едят глазами» красавцы-бородачи в казацких чекменях, всем своим бравым, молодецким

видом показывая готовность к любой службе.

— Молодцы, молодцы, — повторяет Николай Николаевич, вглядываясь в эти лица, лоснящиеся от доброго приварка. — А это ще что? — неожиданно спрашивает он, увидя, как на самом левом фланге, но точно по линии фронта, стоит сивый конь, запряженный в водовозную бочку. — Ва-а-хмистр!

— Так тож, ваше императорское высочество, конь Загуляй. Его уже год-два как списали по старости в водовозы, а он службу не забыл, и по тревоге самоохотно, без ездового, примчался на свое старое место… Вы уж его простите, ваше императорское высочество!

— Еще бы не простить старого служаку, — улыбается Великий князь, и объясняет «крон-принцу», в чем дело.

— Это невозможно, — продолжает удивляться тот.

— Благодарю за службу, братцы-казаки! — возвещает командир всей российской гвардии и велит выдать конвойцам на ужин по доброй чарке…

— Рады старац… Ваш… императорс… выс… чест… во! — горланят казаки. Хорошим генералякой был тот царев дядя, строгий, но когда надо — справедливый и добрый. И в службе, особенно конной, толк знал. Не зря в Первую мировую войну его выбрали почетным стариком Пашковского куреня — чем он не казак, хотя и не кубанских кровей. Ему то, может, чести не прибавило, а кубанцам приятно…

— Да, были служилые кони в стародавних казачьих полках… И не только в конвое… — покачивал головой дед Игнат, задумчиво расправляя усы. — Не кони, а чудо-кони, на подбор… А что: их и в правду строго подбирали, абы яку коняку на державну службу не брали. Дело сурьезное и ответственное… Понимать треба! И кони все понимали. Не хуже людей…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, про полезность меткой стрельбы генерала Куропаткина и волков, что обитали близ генеральских «шишмарей»

— Наравне с конной подготовкой, — вспоминал дед Игнат, — главным воинским занятием была у нас стрельба. Из винтовки, а особливо из револьвера. Стрелять учили, не жалея патронов. Оружие было всегда пристреляно, его регулярно проверяли боем, а стрельбы проводились раза по три на неделе. Пуля — вона дура, сама в мишень не летит, нужны вострый глаз и твердая рука. Ось нас и тренировали, все одно як музыкантов… Ну, а господа

офицеры, так ты — пример показывали… И дед Игнат с гордостью вспоминал, что князь Дядянин, не целясь, из нагана за десять шагов в копейку попадал, а за пять — гвозди в доску забивал. Нанижут ему молотком десять двухвершковых гвоздей, поставят доску стоймя, он — бах-бах, и все гвозди вгрузли в ту доску. Редко когда тратил на один гвоздь два патрона. По обычной же мишени он метко стрелял из любого положения. Особенно любил это делать, стоя спиной к цели — через любое плечо назад, потом, нагнувшись почти до земли и прицеливаясь между ног. И пули, как заговоренные, летели, куда надо…

А еще, по словам деда, офицеры любили стрелять из револьверов по бутылкам. Ставили дюжину пива и пуляли по ним. Причем позором считалось попасть в саму бутылку, надо было сшибить у нее головку. Р-раз, бутылка стоит на месте, как стояла, а свидетельством того, что она уже без головы — пивная пена, сразу же после удачного выстрела покрывавшая всю посудину. Красиво!

По особым же праздникам или случаям вместо пивных ставили бутылки шампанского и отстреливали у них пробки. Вино разливалось фонтаном, и то была красота не только для тех, «кто понимал»…

И любили офицеры похвастаться стрельбой своих подчиненных, потому и тренировали их неустанно, считая, что мастерство достигается практикой. Князь Дядянин перед ответственными стрельбами давал казакам какие-то пилюли — для равновесия духа и укрепления зоркости. Насчет духа дед ничего положительного сказать не мог, а что касается глаз, то до глубокой старости он не пользовался очками и считал это следствием именно тех «дядянинских» пилюлей. Впрочем, «дядянинскими» их назвать было можно с натяжкой. Дело в том, что получал их князек у придворного лекаря Бадмая, вероятно, за немалые деньги. Тот «дохтур» был, как считалось, крещеным китайцем и лечил любую хворобу, даже «самую-самую», тайными средствами, никому не ведомыми, а потому и непризнаваемыми нашими врачами, особенно лейб-медикусами, которые не допускали китайца к хворому царевичу Алексею, а то он бы его скоро поставил на ноги, и тем медикусам было бы ечего делать. Бадмай лечил высоких особ, помогал и простому люду и, как говорили, денег с бедных не брал, за что ему добрая память…

Казакам-конвойцам была по сердцу стрельба с лошади. Расставляют, бывало, фанерных «ваньков» (мишени с человеческим туловом и головой) и на полном скаку пуляют по ним — с дальнего расстояния из винтовки, а поближе — из револьвера. Лихое занятие, как уверял дед, не хуже сабельной

рубки, а может, и лучше, кому как. Деду нашему эти упражнения нравились, он в них вполне преуспевал и получил как-то серебряные часы поставщика двора Его Величества Павла Буре (знаменитые часы знаменитой фирмы!) «за меткость в стрельбе из личного оружия». И любил он рассказывать, как однажды пришлось применить то умение в настоящем, как он считал, серьезном и опасном случае. Дело же было такое…

Только-только кончилась война с японцами, кончилась, как говорится, и слава Богу, потому как она была неудачной, ненужной и бесславной. Сам царь написал на медали, посвященной этой войны, загадочное, если не сказать хуже, речение: «Да вознесет вас Господь в свое время». Вот так, понимай как хочешь… Может, он и задумывал что-то умное, да царедворцы, как то часто случается, от великого старания что-то перепутали (был и такой слух), а может, и самодурью отличились — оно, ведь, заставь дурака Богу молиться, он, глядишь, и нос расквасит…

Царь своих приближенных, а то и просто прихлебателей, миловал и награждал, а иногда, случалось, выражал им свое непонимание или недоразумение, а то и неблаговоление. Вот в такой конфуз после той незадачливой японской войны и попал наш главнокомандующий генерал Куропаткин. В молодых годах он был вроде исправный командир, с турками воевал хватко еще при Скобелеве, да и потом отличался, даже военным министром его ставили, и он считался достойным такой чести. А тут такая незадача — думали, что «япошат» шапками закидаем, что, мол, она, та Япония против России — блоха, да только бывает, что и блоха доведет собаку до бесчувствия… И на деле оказалось, что японцы вояки настоящие… Не зря говорят, что не все блохи плохи, бывают и такие, что кусаются.

В общем, генерал Алексей Николаевич Куропаткин показал себя на войне никудыш- ным полководцем, и царь после всех тех поражений, которыми генерал обесславил себя и державу, не захотел его даже видеть, а велел сразу же ехать в свою деревню, в Псковскую губернию, и пребывать там до особого его императорского распоряжения. Оно, может, царь так из деликатности придумал, чтобы им с Куропат- киным не так совестно было встречаться…

— Деревня, — пояснял дед Игнат, — это вроде нашего хутора, хотя бывают, конечно, деревни и немалые, как и хутора тоже. Ну, а если деревня при храме Божьем, то это уже село, и чаще всего оно так и называлось по церкви — Успенское, Спасское, Троицкое, либо еще как. А мелкие деревнята все больше по именам — Сашино, Машино, Дашино и так далее.

Сколько было у помещика деток, он каждому завещал деревеньку, и называл ее по имени того дитятки — если то был Иван, значит, Ванино, коли Марья — то Марьино… Были, правда, деревни, названные по местности — Заречная, Дальняя, либо там Холмы, либо Болотища… Не то, что у нас: хутор Хомуты! Коротко и ясно — где хомуты, там и кони, а где кони, там и хозяйство и все прочее… Ну, а есть еще у некоторых деревень и даже сел названия вообще непонятные. У того же Куропаткина деревня называлась Шешурино, а что оно та- кое, кто его знает! Может, от «шиша»! Видно, исстари так пошло, и генерал не стал менять название, а мог бы, все ж в министрах ходил, полсвета объехал, не трудно было бы и придумать что ни то крученое. Ну, а так — сидел он по цар- скому слову в своих Шешурах (или как их прозвали казачки — «Шишмарях»), небо коптил.

Царь, известное дело, строгий, но отходчивый. Прошло какое-то время, и он решил, что, может, хватит сердиться на своего генерала, не такой уж он ущербный, не со злого же умыслу подставлял бока тем японцам, и они ему наклепали, а за одного битого у нас трех небитых дают, и то мы торгуемся, мало, мол… Словом, царь простил Куропаткина и разрешил ему самолично прибыть в Петербург перед его ясные николаевские очи. А с сообщением о своем благоволении царь направил в Шешуры-Шешмари тогда еще полковника флигельадъютанта князя Юрия Ивановича Трубецкого[17], командира личного Его императорского величества конвоя.

Князь состоял почетным стариком станицы Батал-пашинской — в уважение его заслуг на японской войне, где он командовал Сибирским казачьим полком и был за храбрость и сноровку награжден золотым оружием. Очень подвижный, невысокого росточка, с лихими усиками, он был отличным наездником, за что казаки его уважали, звали (за глаза, конечно), «наш Юрко», офицеры же именовали «Георгием Гордым» и имели к тому резон.

Царь ему благоволил и часто сажал с собой почаевничать, покалякатьпоболтать о том, о сем. Вот, может, за таким чаем князь напомнил царю об опальном генерале, под началом которого он храбро сражался в Манчжурии, и тот поручил Трубецкому прогуляться в деревню к Куропаткину со словесным поручением Его императорского величества, как тогда говорили — сообщить бывшему главкому, что ему высочайше позволено быть в Петербурге. А для солидности и безопасности (первая наша революция еще не совсем потухла) взять тому Трубецкому из царского личного конвоя по своему усмотрению нескольких казаков. В эту оказию и попал наш дед Игнат, чем и гордился до старости.

До генеральской усадьбы в глубине Торопецкого уезда скучноватой в то зимнее время Псковщины добрались без особых приключений. Генерал Куропаткин был уже в летах, а в домашнем одеянии и вообще показался нашим казачкам эдаким добрым дедом. Получив известие о царском благоволении, он приободрился и, придя к конвойным, долго расспрашивал их о службе, о доме, о семейных делах, велел выдать к обеду по чарке.

— Не генерал, — говаривал дед Игнат, — а старший брат, слуга царю, отец солдатам. После обеда чистил от снега дорожку возле дома, может, по примеру государя?императора, а может — по своей навычке — чего ему, генералу, не побаловаться на свежем воздухе легкою работою, себе в удовольствие и телесное укрепление. Баловством, кажуть, хлеба не добудешь, а про что не то — и совсем забудешь. Все, может, и прошло бы в этой поездке чинно?благородно, но только на обратном пути где?то в лесной глухомани с тем царским малым «посольством» случилось непредвиденное приключение. Откуда не возьмись, за коновойцами увязалась волчья стая. И хотя дело было в начале зимы и хищники вроде еще не изголодались, как это происходит у них обычно к весне, но намерения у волков, судя по всему, были самыми серьезными. И были они, по рассказам деда, отборными — красавцы, не заморыши какие, а нагулявшие к зиме и силу и стать. Опасные зверюги, в общем…

И когда они совсем уже стали наседать на конный кортеж, князь Трубецкой выхватил револьвер и подал команду пугнуть хищников по возможности метким огнем. Вот тут-то и пригодилось казакам мастерство, ранее отточенное на стрельбище и в тире. Волк не пивная бутылка, попасть в него, может, и было бы сподручнее, да только он, серая его душа, не стоит на месте, а крутится вдоль дороги, и того гляди — вцепится в твоего или в соседнего коня… Казаки первыми же пулями выбили наиболее настырных зверюг, и после еще нескольких выстрелов стая рассеялась.

Часть волков навсегда осталась в снегу, подкалеченные заковыляли в сторону зализывать раны, те, кто потрусливей, отпрянули с дороги, и только один, было приотстав, продолжал преследовать казаков, держась от них на более или менее безопасном расстоянии. Дед Игнат, а был он в ту пору молодым, лихим конвойцем, развернул коня и устремился навстречу этому нахалу. Волк остановился и зыркнул на казака огненными очами. Тут наш дед и влепил ему пулю, да видно так крепко, что зверь закрутился на дороге и вскоре затих. Пуля, она, конечно, дура: куда попадет — там дырка…

Вот такой был поход в куропаткинскую деревню Шешуры-

Шишмари Торопецкого уезда Псковской области-губернии… Не-е, пуля все же не дура, если казак молодец! И если у него твердая рука и глаз—ватерпас…

Князю Трубецкому дедова сноровка так понравилась, что он пообещал взять его в поездку за границу, вроде как бы в Швейцарию и в Париж, а может, еще куда. Жаль, та поездка не состоялась — у князя в тот год не сладились домашние дела, а там и деду пришла пора идти на льготу, увольняться, если по-нынешнему. И поехал наш дед не в Париж, а на родной хутор, что, может, и к лучшему — хорошо за морем, а дома все же краше…

Генерала же Куропаткина дед Игнат видел потом возле царского дворца, и был он настоящим генералом, при орденах и лентах. И сроду не подумаешь, что это тот самый дедок из Шишмарей, битый японцами и ненароком прощенный Его Величеством российским царем. Вот что делает из человека мундир и регалии! Волку, например, или коню — ордена и ленты ни к чему, и так видно, кто перед тобой — волк или собака, конь или порося, прости, Господи! А генерал без них и не генерал вовсе, а так, дедок из Шишмарей, хотя он, может, и бывший министр…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, про то, как казаки-конвойцы в увольнение ходили…

— В увольнение мы ходили редко, — вспоминал дед Игнат, — та и что нам было делать в городе? Кина тогде такого, як теперь, не было, на базар нас не пускали, так — только на город подивиться… — Было, правда, одно время, — улыбаясь, говорил дедуля, — что казачки приладились к цирку — там тогда не только ученых попугаев показывали, то было не интересно, та и не к чему: сколько там того папуги-попугая? Казакам нравились борцы и силачи. Особенно, когда наши, российские, состязались с чужими, закордонными. Наши обычно побеждали, дюже крепкие хлопчики были! Взять того же Ивана Поддубного, он, говорят, раньше грузчиком на Азовском море работал, так ему там накладывали на плечи с десяток пятипудовых мешков с чем-нибудь, и он без всякой натуги таскал их на пароход. Ну, а потом, пообтесался трошки, стал в цирке работать, по заграницам ездить, силушкой удивлять заморских граждан.

Да и у нас подобные мужики пользовались уважением. Выйдет такой силач на арену и начинает играть трех-четырехпудовыми гирями, и так их подкинет, и через плечи

мотнет, употеет сам, как вроде из бани-парилки вылез, и тут шутя-небрежно сунет кому-нибудь из ближних зрителей гирю — подержи, мол, пока я тут прочахну… Тот схватится, а гиря и потянет его до земли — наглядно видно, что гиря та не из ваты, а настоящая, чугунная.

Один раз такой чемпион подал вот так свою гирьку первому попавшемуся, а им оказался наш князь Дядянин, — н в гражданском, цивильном костюме сидел в первом ряду. Ну наш детинушка-князюшка небрежно так подхватил тот трехпудовик, перекрестился им два раза и бросил гирю хозяину. От такой неожиданности циркач отпрянул и не смог схватить ее на лету. Зрители, конечно, радостно похлопали хорунжему, хотя и подумали, что это специально подстроено для большего интересу. Хозяин цирка потом подходил к Дядянину, спрашивал, не хочет ли он у него на арене побаловаться тяжестями, предлагал, понятное дело, хорошие деньги. Но князь отказался, на что это ему, когда он был князь и офицер личного Его Императорского Величества конвоя. Что для него цирк: много трухи, мало сена…

По словам деда, очень любили казаки-конвойцы цирковых лошадей. Ухоженные красавцы, по их понятиям не годились для строевой службы, но насколько они были умны и обучены! Какие выкидывали фортели и как умели красовито и строго в такт музыке отплясывать и потом кланяться публике («делать комплимент»).

А вот цирковые наездники и жокеи особого восторга у казаков не вызывали. Их кувыркание и незатейливые упражнения на конских спинах для конвойцев, проходивших регулярную джигитовку, не казались чем-то необыкновенным. Подлезть под брюхом лошади или постоять в полный рост на седле скачущего коня — да такое «каждый может»! А пожалуй, заставь иного жокея в такой позиции попасть из винтовки или револьвера в движущую цель — еще неизвестно, попадет ли? Вскочить же на скаку на коня, или перевернуться через седло с одного бока на другой, так это же обычное дело! «У нас в станыци, — говаривал дед, — такэ можэ проделать каждый хлопчик!». И он вспоминал, что его родная тетка Настя в молодых годах такие «хвокусы» вытворяла на скачках — залюбуешься! Вот ее бы в цирк! Все же девка, чернобровая, с заправленными под папаху косищами, да на таких сказочных кониках — вот то было зрелище, не в пример худосочным жокеям, удивлявшим неграмотную публику повседневными упражнениями обычной джигитовки! Кому новина, тому и удивление… Но кони в том цирке были царственно красивы — сказочные кони! Ох, какие это были кони!

Казак без дыма не гуляет, бывали в увольнении и

приключения, о них дед Игнат тоже любил при случае вспомнить.

Как-то, будучи в городе, дед Игнат и его земляк Степан Стеблина оказались в Летнем саду. Дело было осенью, сад пустовал, и наши казачки, приняв перед этим по склянке красного вина, расположились на скамейке у одного из входов-выходов того парка. Минут через сколько-то к ним подсела молодица с завернутым в пестрое одеяло младенчиком. Степан, естественно, стал с нею калякать о том, о сем, как это бывает в подобных случаях. Может, о погоде или там еще о чем и, понятное дело, — о ребеночке, который на Степанову радость оказался хлопчиком и из которого по Степановой думке должен был непременно вырасти добрый казак…

Наш дед Игнат вспомнил, что ему следует зайти на почту, которая маячила в самый раз супротив ворот того сада, он, сказав другу, отлучился на полчаса, а может, и того меньше, чтобы, значит, отправить домой письмо-цидульку, а заодно купить два-три конверта на предстоящее будущее, оставив станичника в приятной беседе с приятной, можно сказать, особой.

Когда он вернулся, «особы» рядом со Степаном не было, а сам Степан держал в руках куль с будущим «добрым казаком» и пытался войти с ним в разговор. Оказалось, что четверть часа тому назад «особа» отлучилась «на минуточку» по своему «важному делу» и попросила Стеблину поглядеть за ее младенчиком, чем он теперь и был озабочен. Прошло еще полчаса, а «особа» не возвращалась, и казаченьки почувствовали, что тут что-то не так…

Игнат обошел округу и нигде той приятной молодицы не узрел. По здравому рассуждению друзья решили рапортоваться в полицию, благо увидели городового, степенно прохаживающего по аллее. Тот давно уже приметил бородатого гвардейца с плачущим младенцем на руках, и в его полицейской голове по этому поводу роились кое-какие вопросы. Вроде того, а нету ли тут злого какого умыслу, или все это совершается обычной самодурью, то есть можно сказать, правильно.

Пока друзья объясняли стражу порядка, в чем их сомнение, к ним подошло несколько зевак, событие стало приобретать скандальный оттенок и даже общественную значимость. И надо же было так случиться, что на тот час мимо сада в кабриолете проезжал князь Дядянин со своей мамашей. Увидев посреди возбужденной толпы своих конвойцев, он остановил извозчика и спросил, в чем дело.

— Все ясно, мать бросила своего ребенка, — определил он, — надо составить протокол и сдать подкидыша в приют.

Городовой сказал, что за протоколом дело не станет, только

надо пройти в участок. Хорунжий, чтобы не растягивать событие, да и мало ли как оно могло обернуться, решил проследовать с казаками в полицию, о чем и сообщил мамаше. В полиции та из чистого любопытства изъявила желание взглянуть на младенчика, и ребеночек ей очень приглянулся. Пошушукавшись с сыном, она заявила, что хочет взять младенца к себе на воспитание, и чтобы его, значит, не отправили в приют.

— Ось и думай, хорошо, чи нет содеяла та молодица, бросив свою детину, — вздыхал дед Игнат. — Воно вроде як плохо… Но раз она такая мать, то тому детынятку было бы при ней все одно хуже, чем в хате у княгини… Оно в жизни так часто бывает, что думаешь так, а получается со всем по-другому. Кабы знать, где найдешь, где потеряешь… Степана Стеблину в этой истории больше всего возмущало то, что младенчик оказался не хлопчиком, а девочкой.

— Я носился с ним, як с писаной торбой, а оно оказалось она! — Так все равно — душа человечья, — успокаивали его сотоварищи. — А душа — она и есть «она». — Так оно так-то, — вроде как соглашался Степан, — та все ж… Бисова тетка сбрехнула, чтобы вызвать у казачины большую симпатию к своему малому чаду, а может, и умиление, что и облегчало ей провернуть свою задумку. Все ж не бросила она свою кровинушку безнадзорно, а вручила в крепкие руки казака-гвардейца — представительного, если не сказать — красавца.

— Да и князь Дядянин подвернулся тут в самый раз, — итожил свою байку дед. — Так что все свершилось лучше, чем могло. Видно, на то была воля Божья. Не зря говорят люди, что во всяком деле есть какой ни какой, а свой толк…

А однажды Степан Стеблина даже сильно отличился, правда, по случайности и без особого на то предрасположения. Но на этот раз он был в увольнении с другой компанией, наш дед по какой-то надобности остался на службе. А то, может, оно все было бы иначе, чем случилось на самом деле. Хлопцы в тот день побывали в Александро-Невской лавре, потоптались у могилы великого Суворова, почтив его память добрым словом и поминальной свечкой — ведь как-никак, а именно он построил на Кубани первую крепостную линию, по которой потом и встали черноморские кордоны и «бикеты», и довольные своим благоверием, отправлялись на Невский проспект, чтобы там благодостойно завершить тот памятный день.

А надо сказать, что знаменитый Невский проспект, блистательный и «прямисенький, як струна», ближе к Невской лавре почему-то сужался, искривлялся и, сохраняя свое гордое прозвание, становился заурядной, полутемной улочкой,

застроенной простенькими домами.

Так вот, идя в задумчивости по тому пока еще невзрачному «прошпекту», Степан приотстал от компании и выйдя за очередной угол, вдруг увидел, что двое парней прижали одного кого-то к подворотне и бессовестно дубасят его самым отчаянным образом. Такого лихой казак стерпеть не мог — трое против одного! И он, не задумываясь, бросился на выручку с криком: «Так шож вы делаете, нехристи!». Те на его окрик не обратили никакого внимания, Степан схватил двоих за воротники и оттянул их от избиваемого хлопца, и тут же получил по глазу увесистый тумак. Это, как показалось Степану, было уже слишком, и он, по привычке непременного участника станичных «кулачек», молниеносно ответил обидчику, а другому «добре так заехал по сусалам». Драка — она не для прибыли, драка для чести-погибели…

Тем моментом освободившийся хлопец приложил третьего, и драка стала принимать обычный, или, как выражался Стеблина, «регулярный» характер. Тут-то и раздался полицейский свисток, на который через несколько минут прибежали дворники, а потом и городовые, и Степан, увидев, что теперь соотношение сил, а значит, и справедливость, переменились, счел за благо выйти из игры. Поправив форму, и заломив, как положено, папаху, он степенно отправился своим путем, догонять товарищей.

Эта стычка, может, сразу же и забылась бы, но только на следующее утро в казармах конвоя появились полицейские чины с желанием выявить участника вчерашнего «сражения», что не представляло особого труда, так как Степан, не подозревая о каких-то последствиях, еще с вечера чистосердечно рассказал своему вахмистру о происхождении довольно внушительного синяка под левым глазом и в целом получил от него одобрение своим действиям, хотя Степан и нарушил инструктаж увольняемым в город — «не встревать» ни в какие уличные недоразумения.

Как оказалось, избиваемый «хлопчик» был полицейским, чего не мог знать наш борец за справедливость, так как с того была сбита форменная фуражка, да и на кривой улице было не очень светло… Приехавшие чины хотели выразить свою признательность казаку-конвойцу, оказавшему действенную помощь правоохранителям в задержании опасных преступников. «Вот тебе и на! — разводил руками Стеблина. — Не знал я, что бьют околоточного, а то, може, и не вмешался бы, бо така ихняя служба… Ни за ято бы не вмишался… А тут бачу — трое против одного, а це — не дило…».

Вот так «оскоромился» бедный Стеблина, хотя и действовал,

по общему мнению, достойно. А тут пришлось давать показания, подписывать казенные бумаги (с поли цией только свяжись!», выслушивать официальные, с усмешечкой («чины» все понимали) благоприветствия…

Вахмистр мудро посоветовал Стеблине в город не ходить, пока не минет его «невезучая планида». Посидеть в казарме, в шашки поиграть… Бывает так, что на человека свалится то одно, то другое, и лучше переждать, не дразнить судьбу. И Стеблине это средство помогло…

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, про то, как дядько Спиридон железную дорогу любил

Петербургскую службу дед Игнат считал наиважнейшей частью своей жизни. То была пора его зрелой молодости, там он «приторкнулся» (т.е. прикоснулся) к чему- то очень важному и сокровенному, что выпало на его долю.

— Может, то и было казачье счастье, — вздыхал иногда дед, — та счастье не коняка, хомут не натягнешь… Сватали на сверхсрочную, побоялся, да и як от батьковщины отмежеваться… Тут хозяйство, воля, земелька, хата… Пока он находился на службе, умер отец, мачеха вместе с дядькой Спиридоном продали ветряк — на разбор и вывоз: вошли в силу паровые мельницы, и «млыны» остались без дела. Мачехе требовались деньги — «гроши», она выдавала замуж дочерей — свою кровную, от первого мужа, и не свою, сестру деда Игната Мотрю, хорошо выдала, за что ей спасибо… Не обделила мачеха и Игната, оставив ему, как старшему, батькову хату с постройками, инвентарем и необходимой худобой. Младший брат Игната Касьян (кстати, последний в нашем роду хлопец с этим именем) получил «план» в станице и до ухода на службу — его тоже взяли в Конвой, успел там построиться. Семья, в общем, растряслась, разъехалась, и все это было так и нужно. Судьба руки свяжет, судьба их и развяжет…

Игнат стал вести хозяйство самостоятельно, и, судя по всему, особенно не стремился к его приумножению, довольствовался тем средним достатком, который у него к этому времени сложился. Каждому коню, говорят, свой хомут… Умеренно крестьянствовал, иногда подрабатывал на оставшейся у него на базу небольшой кузне, часть зерна, другого огородно-полевого добра продавал — оптом откупщикам, и на вырученные деньги покупал то, что было необходимо для дома, то, что не созидалось самими — соль, керосин и т.п. Из харчей покупалась рыба (в основном таранка и

селедка), сахар, леденцы для детей, ну и понятное дело — ситец…

Для своих одежд дед не приобретал никаких материй — привезенных со службы мундиров и «споднего» хватило до самой коллективизации, а кужух он донашивал и после Великой Отечественной…

Закупалось все не фунтами, а пудами, с расчетом не на один день: если селедка, то бочонком, если другая рыба, то мешками, керосин — ведрами… Так, «шоб було» (чтобы было про запас)… За рыбой ездил в Гривенскую, за «материей» в Славянскую, соль же и керосин торговцы возили вдоль дворов, о своем появлении оповещая криком:

— Солы… солы… Кара-син! С годами петербургские годы стали представляться временем жизни основательной, крепкой, надежной и в известной степени приятно-беззаботной. Как жить, что делать, к чему стремиться — все это было ясно, как Божий день, думать об этом даже не полагалось — для того есть отцы-командиры… И только-только к новой для него самохозяйской жизни стал приноравливаться, как грянула Первая мировая война, которая нежданно-негаданно разгорелась-раскочегарилась в Гражданскую «чертоскубию». Полыхнула Россия, как пожар на ветру, и пошло-поехало…

Рассказывая о быстротечных предвоенных годах, дед Игнат как нечто заметное в первую очередь вспоминал «чугунку» — железную дорогу, новая ветка которой как раз заработала в то время, и еще не была привычной. Обыватели еще долго приходили на вокзал встречать и провожать пассажирский поезд. Не все, конечно, а кто посвободней, и те, у кого если не каждый день воскресенье, то все же на неделе семь выходных наскребалось…

Хлеборобы в этом участвовали редко, забот было много, но иногда выкраивался час для такой возможности — тоже хаживали к тому событию, встречать, стало быть, поезд. Именно поезд, а не какого-то гостя или родича. Тех встречать особой моды не было, сами знали дорогу…

Для нарождающейся станичной интеллигенции встречать поезд скоро стало модным, и перед его прибытием на перроне, или на «дебаркадере», как его поначалу называли, можно было увидеть учительниц, телеграфиста и почтаря, жен и детей лавочников, аптекаря и т.д. За ними тянулась приехавшая на каникулы из города или других станиц учащаяся молодежь.

Особенно людно на вокзале было по воскресениям и в праздничные дни. Здесь открывалась мелкая торговля — семечками для местных и фруктами для проезжих, шныряли

пацаны с ведрами холодной воды, предлагавшими свой товар за копейку «от пуза» — то есть, сколько выпьешь, и за две — на облив из «цыбарки», то есть из большого ведра. В самом вокзале стоял бак с кипяченой водой, у него на цепи — кружка-«водопойка».

На станции пользовалась почетом специальная будка, из которой торчали краны — из них можно было на брать «кипяченой воды». Так велось до тех пор, пока же лезнодорожники не наловчились кипятить воду в пассажирских вагонах. Перед Империалистической войной на вокзалах появились буфеты, где можно было купить бутылку пива, лимонада, или каких ни то дешевых конфет. Дед Игнат, по его словам, не любил встречать поезд, таскаться к вокзалу (который, кстати, был не очень далеко — за «Высокой Могилой») без особой на то нужды, а вот дядько Спиридон уважал эту «обедню» и редко пропускал возможность побывать на «дебаркадере». В дни, свободные от неотложных по дому дел, он, «причепурившись», запрягал гарбу-пароконку и отправлялся к железной дороге. В одном из углов привокзальной площади им было облюбовано место, где он ставил свой «экипаж», привязывал к нему лошадей, подкладывал им в шарабане сенца, чтобы не скучали без хозяина, и с батогом в руках шел на арену предстоящего торжественного (а по его понятиям оно и не могло быть иным) действа. Обходил перрон, здоровался со станичниками, заходил в буфет, чтобы убедиться, что все на месте, после чего двигался к заветному местечку как раз напротив черты, где обычно останавливался паровоз, и замирал в сладком ожидании. Из-под ладошки наблюдал за семафором, вглядывался в синеющую даль, где обе рельсы сходятся как бы в одну, и по той, как бы одной рельсе выползал из поросших бурьянами древних курганов ОН — такой вожделенный поезд…

Вот, дрогнув, поднимается умная «рука» семафора, народ на перроне оживляется, все поворачивают любопытные головы к подходящему чуду техники. В красной фуражке появляется начальник станции, раздается первый удар в сияющий золотом колокол, означавший, что его величество ПОЕЗД прибыл! Постукивая на рельсовых стыках, посапывая паром и отдавая теплом, продвигается, замедляя ход, паровоз. В открытых дверях, словно часовые у знамени, стоят проводники-кондуктора, в темно-синих мундирах с серебряными молоточками на петлицах, в руках — свернутые в трубочку флажки. Плавно притормозив, поезд останавливается. Плавность остановки всегда отмечалась присутствующими как свидетельство мастерства машиниста, ему тут же давали оценку.

Дядько Спиридон любовался паровозом, его замысловато-умными деталями, особенно тягами, равномерно передающими усилия на все колеса, и прикидывал, не приспособить ли нечто подобное к колесам своей гарбы, но не верилось, что дополнительные приспособления облегчат ее ход…

А там, чем черт не шутит, если внутри колеса прикрутить груз, то, идя с верхней точки, он, вероятно, будет-таки придавать колесу легкость, пусть малую… Да, но, чтобы поднять это грузило наверх, соображал Спиридон, колесу придется дополнительно тужиться. А если такие грузила распределить на колесах по-разному, тогда одно колесо будет напрягаться, а другое облегчаться. Но в целом оно будет одно и тоже…

Своими сомнениями он как-то поделился с немного знакомым машинистом, но тот, не уловив до конца задумку, сказал, что паровоз — это одно, а гарба — это совсем другое, с чем Спиридон вполне согласился. Но сомнения остались: колеса — они все равно колеса, куда их не приткни…

Этот машинист по фамилии Шахрай потом дюже проштрафился. Однажды на Пасху его внеочередь поставили на паровоз, а у него на тот день назначалось великое гостевание. Начальник депо сказал, что мол, ерунда, смотаешься до Крымской и обратно, всего ничего — туда и обратно…

— Эгешь, — сказал тот Шахрай, — значит, «туда и обратно»? Ну, тоди я вам зроблю «туда и обратно»! И — «пошел Серко рвать!». «Зробыв», что называется: помчался до Крымской безостановочно. На первых станциях очень удивились, что поезд, чуть замедлив ход, не останавливаясь, прошел дальше, а на следующих поняли, что шалопай-машинист «съехал с глузду», то есть тронулся умом, и по телеграфу сообщили по всей линии, чтобы освободили для него пути. Так и домчался он до Крымской, все одно, как экспресс. Там его, Шахрая, с поезда сняли, пассажиров пересадили в другие вагоны и развезли по домам. Машиниста хотели отдать под суд, но как-то выкрутился (может, «подмазал» кому надо, на то он и машинист). Кончилось тем, что его просто прогнали с железной дороги, и он затерялся в людской круговерти. К другим машинистам дядько Спиридон со своими задумками не подходил. Сам их вымозговывал, сам и отвергал…

Поезда в те времена на станциях стояли подолгу — шла загрузка-сгрузка почты, вдоль вагонов пробегали смазчики, рабочие с длинными молотками простукивали оси и другие подвагонные детали. Часть пассажиров сходила на «дебаркадер». Они покупали фрукты, арбузы, вареную кукурузу — пассажир во все времена имел склонность к еде, на какое бы расстояние не ехал. Дед Игнат вообще считал это свойство главным у пассажира

— наряду с постоянной спешкой и способностью все равно всегда опаздывать…

По толпе шустрили продавцы газет, настырно навязывая свой товар, в закутке мостилась цыганка-гадалка, карий глаз, минуй нас… Тут же случался бандурист, чаще всего — слепой старец с поводырем. Гадалка обещала рассказать «всю правду — что было, что будет», если ей, конечно, «позолотить» ручку. Бандурист, наоборот, вещал, что правды на этом свете «никогда не было, да, вероятно, и не будет»…

Дед Игнат считал, что и гадалка, и седой бандурист — оба правы, потому что правда у них разная. «Цыганская» правда о том, что «было и будет», и правда-справедливость мудрого старцанищего. Его правды нету, не было и не будет… О чем оставалось только «жалкувать». Лучше сбрехнул бы по-святому, все было бы легче…

В стороне, отстраненно наблюдая за толпой, стояла «чистая» публика — учителя и прочие…

Но вот сквозь толпу проходил начальник станции, раздавался второй удар колокола, а потом и третий. Последние пассажиры заскакивали в вагоны, причем кто-то из них непременно зависал на поручнях. Раздавался свисток сюрчок старшего кондуктора, поезд с торжественной медлительностью отплывал от перрона. Отплывал плавно, без толчков, что также отмечалось присутствующими: «Ах, какой молодец, этот машинист!». В общем, какой Савва, такая ему и слава.

Пропуская мимо себя чистенькие, по-своему праздничные вагоны, собравшиеся дружно махали руками, желая пассажирам счастливой дороги… Поезд набирал скорость и все отдалялся от вокзала, пока, наконец, не исчезал за поворотом. Народ, заметно погрустнев и повздыхав, как будто навсегда расставшись с чем-то родным и близким, медленно расходился, растворяясь в буднях монотонного станичного бытия…

Дядько Спиридон, как бы оставшись без дела, запрягал лошадей и заезжал на старое подворье, к племяннику, то есть к нашему деду Игнату. Погонять чаи, оценить новости, поболтать-покалякать по-родственному. Здесь его ждали: услышав паровозный гудок, разжигали самовар, если угли горели неохотно, на трубу надевали старый сапог и им, словно мехом, раздували огненное тление до нужного градуса — иначе бы самовар не успел бы к дядькиному приезду, и то был бы непорядок.

Дядько Спиридон, сильно постаревший, но еще бодрый и по-прежнему напичканный разного рода интересами и мыслями, степенно располагался за столом, придвигал к себе чашку,

налитую хозяйкой. Чай пил с блюдечка, вприкуску. Хвалил: дескать, чай пить да дурня бить — нет дела приятнее… Неторопливо вел беседу. И рассказав, как встречал-провожал сегодня поезд, обычно сводил разговор к аэроплану, хотел понять, почему эта диковина поднимается в воздух и — летит?..

С паровозом было как бы правильно — дядько примерно знал, как работает паровая машина, «паровики» тогда во всю крутили молотилки, и он считал вполне естественным, что, приспособив колеса вместо маховика, можно ехать… А тем более, если подложить под тяжелый («важный») паровик крепкие слегирельсы. Неудобно, конечно, кататься только по этим слегам, а не везде, где тебе надо, но все же. Об автомобилях он, разумеется, знал, слышал и от племянника и от других станичников, бывавших в Петербурге и видевших первые машины этого рода.

— Так тож для начальства, — отмахивался он, — безконная гарба, что туды покладешь, а вагон вона не потягнет. Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что воз тянет! Пароход тоже уму его был постижим — колесо шлепает по воде наподобие весел. Ну, а если пароход винтовой, то чего тут удивительного: винт, как плотничий бурав, ввинчивался в воду, или вывинчивался из нее, и толкал судно — как пробку, допустим, тот же штопор. Но почему аэроплан («самолетами» их тогда не звали) с тем же винтом не только «ввинчивается» в воздух, но и поднимается вверх? Не-е, считал он, тут без нечистой силы не обо-шлось…

Аэроплан он как-то видел в Катеринодаре, он ему не понравился — ненадежная, хлипкая решетка, не то, что красавец-паровоз, могучий, ладный, теплый, похожий на что-то живое… И заправляют тот аэроплан керосином, все равно, как лампу. Ерунда все это, а не техника. Так — цацка. Но вот — летает! Почему?.. Жалко, Касьяна нету в живых, тот бы разобрался, не зря же они с ним крылья когда-то «лаштували».

— Побачил бы Спиридон, какие летуны сейчас! — ухмылялся дед Игнат. — Вон папанинцев аж на северный полюс отвезли. А Чкалов? Ото казак, в саму Америку махнул! Спиридон бы не поверил: мало чого сбрешут, брехать — не макуху жевать, не подавишься…

Любил дядько Спиридон порассуждать о непонятном и уму непостижимом, любил рассказывать о своих приключениях, связанных с чудесами техники, часто вспоминал, как они со старшим братом Касьяном летали на бычьих «крылах», о том, как он в Катеринодаре впотайку «покарябал» ногтем крыло аэроплана — оказалось, соромно (стыдно) сказать, крашенная мешковина-ряднина, а в Новороссийске залез на пассажирский пароход, все своими руками «помацав». Так то ж целый город! Ну, может, не

совсем город, а хутор, но с городским фасоном.

Городской фасон дядько Спиридон не одобрял — тесно живут, колготятся. А что будет годов через сто, когда горожане расплодятся, как муравьи! А сколько нужно будет содержать лошадей, чтобы обеспечить такую прорву народу нужными припасами? А для развоза начальства? Тысячи тысяч и еще раз не по одной тысяче!.. Сколько надо конюшен, складов для овса, сена! Несметное число! А горы навоза! Страшно подумать… Утонут в «гнояке» (навозе).

Да и горожанам нужны будут отхожие места, тьма выгребных ям. И все это в одном месте. Ад! И за какой грех так людей Бог наказал?

Рассказывал он и том, как первый раз ездил на поезде, и то был его любимый рассказ, если не сказать — байка. А дело было так.

Когда-то давно, когда поезда только-только стали «бегать до города», Спиридон решил испытать на себе эту новину. Собрав оклунок с гостевыми харчами, он явился на станцию не зрителем-живовидцем, а настоящим пассажиром. Загодя купив плацкарту (слово-то какое!), в третий, это точно помнил до старости, вагон и дождавшись поезда, подошел к кондуктору. Тот очень небрежно, как показалось Спиридону, зыркнул на его плацкарту и буркнул вполголоса: «Первое…». Что «первое», дядько не понял, и пройдя в вагон, открыл первую дверь, вошел, как он выразился, в «малую камору» с одним окошечком.

— В каморе той мне понравилось, — вспоминал Спиридон, — в половину стенки — зеркало, полочка, крантики-винтики. А сбоку — маленький стулец, табурет не табурет… Кинув я на него свой оклунок, подошел к окну, а оно до половины замазано краскою. Но ничого — поверх краски все видно. Стою, любуюсь тем, что там есть на улице… Чую — поехали. Так тихосенько-тихосенько, потом скорее. Кто до меня в ту камору не рыпнется, сразу назад, а кой-кто так еще и скажет: «извиняйте!». Ну, думаю, тут шось не то… Тем часом входит кондуктор, пытает, якого, мол, лысого черта ты тут делаешь? Так я ж пассажыр, кажу, вот моя, как ее — плацкарта! Ну, кондуктор, как всякое начальство, показав свое недовольство и вывел меня в сени. Ты грамотный, говорит, тогда читай! Читаю: «кло-зет»… А что это такое? Читай дальше! Читаю: «нужник»! то-то, говорит кондуктор, забирай, раззява, свой оклунок и геть в вагон! Спрятался тут, как вареник в сметану!.. Вот так я в первый раз был пассажиром! — Любил дядько Спиридон железную дорогу, — улыбаясь, итожил свои воспоминания дед Игнат. И рассказывал, как дядько, бывало, перевалив через переезд, обязательно останавливал коней,

становился в полный рост на гарбе, внимательно оглядывал пути — и в ту сторону, и в обратную. Прислушивался — рельсы иногда потрескивали, это, по мнению Спиридона, значило, что где-то по ним, может, очень неблизко, бегают паровозы…

Если же видел откуда-то идущий поезд, не уезжал от переезда, пока тот не проходил мимо. Неважно, пассажирский или товарный. Стоя на гарбе, он, словно генерал, принимающий парад, торжественно провожал пробегавшие мимо вагоны, платформы, бочки. Запах шпал, особенно в жаркий летний день, был для него приятнее каких-нибудь там духов…

И дед Игнат, замолкнув, смотрел задумчивыми очами куда-то далеко-далеко. Скорее всего, он в эти минуты видел те давние-предавние поезда, скользившие по нашей кубанской земле, слышал их давно уже никем не слышимые голоса — гудки…

БАЙКА ТРИДЦАТАЯ, про тетку Настасью, да про то, что батьки лучше знают, какое счастье нужно их деточкам

Была у нашего деда любимая тетка — родная сестра его батьки Касьяна — Настя. И когда дед, бывало, рассказывал о ней, то глаза его искрились, как цыгарка при глубокой затяжке… Было видно, что он той теткой гордится и радуется, что вот у него была такая, а у других, может, не было и нету…

В зрелых годах та Настя была непревзойденной хозяйкой, знающей, что, когда и как надо делать, чтобы в доме все было путем и ладком, и делающей свои хозяйские дела как-то незаметно, без натуги и показа, так что казалось — все происходит само собой, и что она тут не при чем. И хата и двор, и худоба, а тем более, детишки, не говоря уже о всяких припасах и «вытребасах», все у нее было в полном ажуре, все при деле, все вовремя и в лучшем свете…

Дети у нее носами не шморгали, всегда были отмыты и накормлены, чугуны не закопчены, хата подбелена, доливка (земляной пол) — подмазана, в хате пахло чабрецом и пампушками. Куры у Касьяновны не шастали по чужим огородам, свиньи «в голос» не орали, и даже собаки у нее и то попусту не брехали, а уж ежели гавкнут, то не сомневайтесь — что-то возле база да произошло. Касьянов на по их голосу знала, чи то поп проехал, чи то в улицу вперлись, допустим, цыгане. На родича собаки гавкали так, на нищего — «старца» — иначе. Хозяина встречали радостно и издалека, чужого прохожего не замечали, пока он не дотрагивался до забора, а так — идет себе и пусть

идет… Вот только разве тявкать на кошку или чужую собаку она их отучить не могла — тут, наверно, первенствовали какие-то особые собачьи узаконения, не поддающиеся человеческому воздействую.

Со всего ихнего станичного кутка до тетки Насти прибегали советоваться соседки, знакомые и малознакомые бабы и девки по самым разным житейским делам и безделью. Как, допустим, вывести глистов или приворожить хлопца, что делать, когда ребенок «закатывается», или «чоловик» (муж) допивается до белой горячки. Да мало ли еще бывает такого, что надо порешить срочно и надежно. И всем тетка Настя находила, что сказать, что посоветовать…

А в молодости, лучше сказать — в девках, тетка Настя была вовсе не такой, и считалась малонадежной, беспокойной оторвой и «неслухняной». Она искренне жалела, что родилась девчонкой. Подруг не имела, дружила с хлопцами, играла в их игры, и в этих играх большей частью верховодила. А коней, кстати, любила с раннего детства, увлекалась скачками и дижигитовкой, и все это давалось ей лучше, чем хлопцам-казачатам ее возраста. Видя ее конные выкрутасы, батько частенько бурчал, пряча довольную ухмылку в седые усы: «Черт, а не девка!!! Настоящая сатана… И в кого вона така вдалась?!». Подразумевал при этом, что дочка вся в него, того — молодого, лихого, дерзкого казака-всадника, каким он сейчас, в старости, видел себя в думках — молодым и проворным…

Однажды по случаю приезда отдельского атамана в станице было решено провести скачки и показательную, как бы сейчас сказали, джигитовку. Генерал пожелал увидеть самых молодых казачат, как тогда говорили, приготовительного разряда, и младше. Как в станице было заведено исстари, у Высокой Могилы разбили шатер для почетного гостя, поставили столы. Генерал и станичный атаман батько Чигрин с военным писарем Кондратом Загорулько в окружении стариков и наиболее заслуженных казаков расположились за теми столами, взирая со склона древнего кургана на развернувшееся перед ними действо. Юных участников за радение и лихость ждали гостинцы, а еще шепнули, что тем, кто окажется лучшими, генерал вроде бы обещал особые награды.

Общие скачки «навыпередки» (наперегонки) прошли без особого азарта, да и генерал был к ним без внимания — позевывал и о чем-то говорил со станичным атаманом. А вот когда началась джигитовка, то это зрелище вызвало, как обычно, всеобщее внимание и сопереживание. Тут надобно сказать, что батько Чигрин, хорошо знавший успехи каждого казачонка, дал

свое атаманское дозволение поучаствовать в джигитовке и нашей Насте, не раз уже до того удивлявшей стариков-казаков своей ловкостью и умением не только чисто, но и с выдумкой исполнять все упражнения.

Отличилась она и на этот раз. Закрутив косы на голове, Настя прикрыла их папахой и внешне ничем не отличалась от остальных юношей, поэтому генерал, отличая ее мастерство, никак не думал, что все это вытворяет дивчина.

А вытворяла она в этот раз что-то невообразимое. Четко и красиво выполняла на полном скаку традиционные приемы — «ножницы», перевороты, перескоки, перелеты и остальное тому подобное. Она, то кувыркнувшись, птахой взлетала над седлом, то зависала над ним, словно кречет над добычей, то стремительной ласточкой перелетала с одной стороны коня на другую, и над его спиной, и под брюхом. И заканчивала каждый прогон необычайно легким соскоком через голову коня — перевернувшись в воздухе, пружинисто становилась на ноги точно перед лошадью на общей линии… Генерал, видевший, как говорят, виды, был в восторге, и тут же пожелал залихватскому казачонку пожаловать урядника. «Можно б больше, — сказал он, — да пусть подрастет! Его от него не уйдет!».

Батько Чигрин тихо ему сказал, что урядника тому казачонку присваивать, пожалуй, лишне, «потому як вин — дивчина!». Генерал сильно удивился, долго чмокал губами, мотал головой, как зануздaнный необъезженный конь и. расчувствовавшись, подарил ей золотой империал — на приданое, и сказал, что непременно побывает на ее свадьбе…

Да только не пришлось генералу, старому служаке, побывать на Настиной свадьбе, потому как свадьба все откладывалась и откладывалась, а генерал вскорости свое выслужил..

В старину девчат выдавали замуж рано — в 14–16 лет дивчина считалась невестой, а в 18–20 — засидевшейся. Вокруг Насти крутились женишки, да все как-то были не ко двору, и она носом крутила, а домашние посмеивались, ничего, мол, подойдет час, никуда не денется, пойдет под венец… Но когда ей стукнуло что-то около 17, батько Касьян, пошушукавшись с жинкой, вдруг объявил, что пора, мол, доню, пора… Тем более, что они, родители, вроде как бы уже столковались с батьками намеченного жениха, который сам, может, еще не знает о выпавшем ему счастье. Такие вот были тогда порядки, при которых не зря зародилась присказка: «без меня меня женили», хотя она, та присказка, впрямую не всегда относится к свадьбе-женитьбе.

— Кто жених? — был первый и последний вопрос ретивой

«дони», а узнав, кто, она замахала руками и ногами: «Нет, нет и еще раз нет!».

— Как это «нет»? — возмутился старый Касьян. — Да на неделе (т.е. в воскресение) уже сваты придут! Да я уже с его батьком горилку пил… Да мы тут уже…

— Нет, нет и нет. Никаких сватов! Чтоб я за того Панька замуж! Скажите тем сватам, чтоб не приходили, потому что я убегу!..

— Я тебе убегу! — рассердился батько Касьян. – Ишь какая! Мы с матерью тут за нее хлопочем, думку думаем, а она — убегу! А чтобы не убежала — иди в камору. И под замок! И действительно, чтобы Настя не убежала, Касьян завел ее в отдельную — гостевую комнату, закрыл дверь на засов и для верности подпер ее поленом. Матери же велел кормить дочку через форточку и никуда ее не выпускать до особого его на то указу.

Выревевшись, Настя стала соображать, как ей выбраться из своего узилища и куда скрыться хотя бы на несколько дней, пока уляжется сполох, нежданно поднятый ее родителем. И придумала — ведь оно так уж устроено, что ежели кто сильно о чем-то начнет думать, то что-нибудь да придумает…

И когда старый Касьян проходил мимо заветной двери и с удовольствием отмечал, что все в порядке — засов и дровеняка на месте, а за дверью тишина, Настя в это время сидела в хате у своей крестной матери и родной тетки Ольги на другом конце станицы, пила взвар и с жаром говорила о своей невзгоде. Как она выпорхнула из-под затвора, так и осталось неизвестным — то ли ее братики выпустили, то ли она обратилась в острокрылую ласточку и вылетела в форточку, — неизвестно, но так уж случилось, что и засов был при деле, и полено подпирало дверь, и «собака нэ гавкнула», а арестантка испарилась, улетучилась, и оказалась там, где ей было надо — у тетки у Ольги, своей любимой и любящей сестры ее батька — старого Касьяна.

Тетка Ольга сразу взяла в толк, что почем и почему, решительно встала на сторону крестницы и столь же решительно начала действовать. К вечеру она явилась к брату, улыбчивая, излучающая добро и ласку. Справившись о здоровье, расспросив о том, о сем, она взяла Касьяна за пуговку на сорочке, отвела его в сторонку и приступила к главному разговору.

— Отож, братик, я тут узнала… И так далее. Насупившись, братик поведал ей о семейной своей драме. Главное, что его беспокоило, так это то, как он теперь будет общаться со сватами, с которыми все вроде как бы сговорено, а тут такая непригода. Ну, да пусть Настя посидит взаперти, может, даст Бог, до

понедельника одумается и все наладится… Сестра Ольга сказала ему, что Настя давно уже не взаперти, и одумываться не собирается, а что касается сватов, то она, Ольга, уже до них «сбежала» и все уладила… Касьян любил свою старшую сестру и уважал. Так уж у нас в роду ведется, что сестрички и братики живут дружно и уважительно, не то, что у других, бывает, как собака с кошкою… У нас не так.

— А что, коханый у нее есть? — спросил Касьян и узнав, что «нема», смирился. Побухтел трошки что-то на счет послушания, мол, ему байдуже, что она, его Настя не хочет выходить замуж за Панька («бачили мы того Панька!»), ему обидно дочернее непослушание… В общем, сошлись на том, что ретивая «доня» поживет пока у крестной до понедельника или вторника, что Касьян в воскресенье отправляется в город, а там видно будет…

Так вроде и закончилась история о том замужестве нашей незабвенной Насти. Но закончилась она, может, наполовину, а если положить на безмен-весы, то и того меньше, так, на четвертушку… Ну, может, чуть больше…

Дело в том, что после этого события наша Настя стала приглядываться к тому Паньку, может, даже из любопытства, что, мол, за «людина» такая мельтешит перед ее безгрешным взором? Да и Панько, не будь дураком, стал возле нее крутится, не так уж заметно, назойливо, чтобы вскорости намозолить очи и осточертеть хуже горькой редьки. Дружелюбно и не настырно… А особенно сошлись они на святках, когда наша молодежь устраивает общие веселья и изощряется в разных выдумках. Ну, в щедровках-колядках они не участвовали, то дело совсем детское, а вот в «Маланьях» и «Василях» — с полным удовольствием, и даже с радостью.

Для теперешних юнаков эти праздники отмерли, и их сейчас перезабыли, а в старину их обязательно проводили, и к ним готовились загодя. Что такое Маланья? Все, наверное, слышали присказку: «напекли блинов, как на Маланьину свадьбу»? Так вот ее, эту присказку, как раз и выдумали напрямую от того праздника, который отмечался станичниками в день святой Маланьи, приходившийся под самый Новый год. Ходили вечером по хатам, пели заздравные песни и угощались блинами, теплыми и светлыми, как само солнышко. А главными на том празднике были девчата — они выбирали Маланью, остальные составляли как бы ее свиту. Тут же, понятно, крутились и хлопцы, и веселье было общее…

А наутро, как раз на Новый год, припадал уже день святого Василия, или, понашему, Василя, и праздник продолжался. Только теперь уже главную скрипку играли хлопцы, был их черед.

Были те же «маланьины блины», но уже с колбасой и пирожками — с мясом, «потрибкою», картошкой и всем, чем придется.

И еще на святках водили по улицам «козу» — было такое представление: наряжали кого-нибудь той самой козой — на голове маска с бородой и рогами, на рогах — колокольчик-бубенчик, на плечах — кожух, вывернутый мехом наружу, а сзади, само собой, хвост, и не такой, как у настоящей козы, короткий и никчемный, а настоящий, как у собаки или коня, и обязательно выкрашенный в голубой или розовый цвет. «Козу» сопровождала шумная кампания ряженых, в которой непременно присутствовали поводырь, тащивший «козу» на веревке, «дид», цыган, «мыхоноша» с торбой для угощений и подарков.

Могли быть и другие персонажи — бандурист, звонарь с колокольцем, дудочники, или довбыш (барабанщик). Сопровождали это шествие и несколько писняров, могли быть «брехач» и «подбрехач» — исполнители веселых шуток-прибауток и коротких баек. Так что дела хватало всем. Панько, по общему мнению, лучше всех управлялся с ролью «козы». Никто, как он, не мог впопад и невпопад так мекать на разные лады, вытворять замысловатые выкрутасы на четвереньках…

В общем, в скорости наша Настя, о том, может, сама не думая, подружилась с тем Паньком и через год после первого неудачного сватовства они обвенчались к общему удовольствию и радости. Особенно был доволен старый Касьян — в конечном счете вышло ведь все так, как он хотел, а значит, правильно и законно.

— Старые люди, — подчеркивал дед Игнат, — лучше знают, что треба молодым. Да только того молодые не понимают. Это Бог пожалел нашу Настю, и она не упустила своей судьбы, прожила с тем Пантелеймоном счастливо, душа в душу… И все мы были рады, что у нас есть така родичка, а у других, может, и нема!

III. О ВОЙНЕ-ЗАМЯТНЕ, О КАЗАЧЬЕЙ СУДЬБЕ

про то, как началась Первая мировой война, да про Гэбу — гарнизонную красавицу кошку да про Гэбу — гарнизонную красавицу кошку

— Про то, что война будет, мы знали загодя, — вспоминал дед Игнат. — Тогде воевали часто, то с турками, то с кавказскимы азиятами, то снова с турками, а то еще с японцами. И люди научились войны предугадывать. Так и тут. Еще года за три-четыре до того, как война началась, пролетела бородата звезда, по прозванию «комета». Народ знал: как звезда падает, то это к счастью, успей только загадать, пока не потухла! А тут — комета, не к добру… Потом, по словам деда, у отца дьякона курица петухом запела. Одно к одному… А вскоре солнечное затмение стряслось. Как черным платком прикрылось солнышко, не хочет на нашу грешную землю смотреть. Народ, понятное дело, закучковался, задымился, шептунами заволокся — «будет война!». Но вроде стихло. Да ненадолго. Где-то посреди лета прошел слух, что на Тамани песок гудел, а по Закубанью, час от часу не легче, вроде как бы земля тряслась, да и в плавнях «прогуркотело».

— Деды сказали: что-то будет! — улыбался дед Игнат. — Какая-то колготня, да случится! А что может быть? Ясно дело — война… Ну, а тут и царский манифест подоспел, мол, германцы идут на нас со страшной силой — надо обороняться. Надо, так надо, нам вроде не привыкать.

— Война называлось германской, — говорил дед Игнат, — а воевать опять пришлось с турками. Они, турки, были нашими давними врагами, неизменными и надежными. Как война, так они тут як тут. Мы, само собой, им немало насолили, не зря ж там малых диток, как разбалуются, русскими пугают: тихо, мол, а то урус прийде! Так и у нас кого назвать «турком», то вовсе не в похвалу: «ах, ты турок!». Га? То-то…

Хотя, по словам деда, не каждый настоящий турок такой уж «турок», каким его выставляют, бывает иной русский хуже того «турка», да только кто в этом сознается. А то еще талдычат про турецкую лошадь, мол, тупа и непонятлива. Конь он и есть конь, и не виноват, что его с мальства приучили понимать по-турецки. «Я ж ему русским языком кажу, — возмущается иной казацюга, а он не «тпру», ни «но»!..» А ты ему по-турецки скажи, может, он чего-нибудь да поймет. Конь все же…

— Но германца я побачил сразу же, — как бы с удовлетворением отмечал дед Игнат, — хоть и служил на Кавказе… Дело в том, что призванного на войну нашего деда определили в артиллерийские мастерские, расположенные в Туапсе, а портовые города российского Причерноморья с самого начала войны повадились обстреливать германские крейсера «Гебен» и «Бреслау», вроде как купленные турками у союзного им кайзера и тут же получившие турецкие имена-прозвища. Только их никто не величал по-турецки, все знали, что «Гебен» и есть «Гебен», а его чуть меньший браток — «Бреслау»… Они так в паре и ходили, и наш дед неоднократно видел их на туапсинском рейде, откуда те обстреливали порт и его округу.

— Оно ж, может, и нашим мастерским доставалось бы, — ухмылялся дед, — да только они были построены умно, за горою, хоть и близко от моря. Бывало, як пробьют тревогу, все больше на восходе солнца, а то ще и раньше, мы повылазим на свою горку и наблюдаем за бисовым германцем, а он здорово так знал свое погано дело. По словам деда, крейсер бывало жахнет из орудий одного борта и пока разворачивается — другой крейсер стреляет. Только отбухался, уже первый на месте и другим бортом по порту трах-тарарах! А тем часом его собрат, глядишь, развернулся… И споро так, отлажено. Хотя и дурное дело, а хитрое… минут десять-пятнадцать попричащают наш берег и сразу сматываются. Были они быстроходными, и береглись, чтобы наши моряки их не застукали… Да куда там, сколько не гонялись за ними военморы-черноморцы, все без толку, дюже скорые на утек были те германцы. За всю войну один только раз наши на них напоролись так, чтобы близко, и то случайно, в тумане. Пока разобрались, что к чему, немцы дали деру. Им, правда, вдогонку трошки влепили, да так, что «Гебен» на ремонте простоял не одну неделю.

Не забывали Туапсе и германские подводные лодки. Их в Черном море было несколько, и они тоже пакостили немало, и в основном безнаказанно. Одна только после набега на Туапсинский порт попала в «переплет» и выкинулась на турецкий берег, где ее и доколошматили с моря наши моряки.

Несколько раз дед Игнат выезжал в составе ремонтной бригады на турецкий фронт, даже получил там две или три медали, но ничего особенного от этих поездок в его памяти не осталось. Отвезли, мол, отремонтированную технику, привезли побитую, так — служебные будни… Видно, считал, что нам, его внукам, это неинтересно. А вот про туапсинское житье-бытье рассказывал с удовольствием.

Однажды после очередного обстрела немецкими крейсерами портовых зданий казаки пошли посмотреть вблизи, что натворила

там вражеская напасть. И в одном из полуразрушенных помещений набрели на бесхозного котенка.

— Такой симпатичный кошенятко, — улыбаясь, вспоминал дед. — А у нас на куховарни мыши велись. Ну, и надумали мы то кошенятко с собою взять… Котенок, по словам деда, был темно-пепельного цвета, под масть германских крейсеров, и казаченьки решили прозвать его «Гэбэном», но чтоб совсем уж не обижать российскую животину, постановили назвать ее сокращенно: «Гэба». А что такого: Гэба и Гэба… Котенок очень скоро признал свое прозвище и если слышал, что зовут, то к общему удовольствию скороспешно вылезал из какого ни то укромного куточка и являлся на божий свет… Котятко — худоба мала, а радости — торба!

И вот однажды с тем Гэбою приключилось происшествие. Как-то, гуляя по мастерской, он нечаянно пробежал по масляной лужице и запачкал лапки. Вахмистр, увидев, как несчастная Гэба безуспешно пытается слизать противное ей по природе загрязнение, велел одному из казачков смочить керосином тряпку и протереть котенку замасленные ножки. Тот, приласкав бедняжку, решил несколько упростить себе задачу — макнуть его лапки в тот керосин и потом их вытереть тряпкой. «Это дело мы сгарбузуем попроще», — сказал он, поднеся Гэбу к ванной, где в керосине отмачивались ржавые детали и попытался сунуть котяткины лапки в ванну, но Гэба, увидев жидкость, видно решил, что его хотят утопить, стал со страшным криком вырываться, больно карябнул казака, извернулся и с размаху плюхнулся в ванну. Его голова на мгновение скрылась в керосине, но купание ему так не понравилось, что он тут же с воплем вылетел из ванны и пулей кинулся наутек.

— Тю, сатана! — воскликнул служивый, отряхивая фартук от керосиновых брызг. Куда делся Гэба, он не видел, а когда его об этом спрашивали, отшучивался:

— Мабудь живой. Если б он в щелочи искупался, тогда все могло быть. А карасин здоровье только укрепляет! Дня через два Гэба появился в мастерских как ни в чем не бывало, видно, купание в керосине котенку и вправду не повредило. Однако, неделю спустя он начал менять цвет, и месяца через два его великолепная темно-пепельная шкурка стала пегой — на общем черно-фиолетовом фоне отдельными клочьями висела ярко-желтая золотистая шерсть. То ли керосин так на него повлиял, то ли от нервного напряжения он приобрел такой окрас — достоверно неизвестно, но только котенок Гэба через полгода превратился в неотразимую красавицу-кошку. Это сразу же дало свои результаты — в военном городке появилась масса пришлых

котов, за ними потянулись кошки, и каждая из них вкупе с Гэбой не менее двух раз в год стала приносить по дюжине котят, так что по прошествии какого-то времени оружейные мастерские заполонило кошачье поголовье. Это был непорядок, чего никак нельзя было допустить, и вахмистр приказал то поголовье выловить и «изничтожить». А поскольку по приметам убивший кошку преследовался нечистой силой, то под их «изничтожением» разумелся вывоз кошачьего «населения» как можно дальше от достославного Туапсинского гарнизона. Сказано — сделано. А тем более, если не просто сказано, а приказано…

После отлова первых котов остальные «докумекали» своим кошачьим разумом, что дело пахнет даже не керосином, а чем-то пострашнее, и стали опасаться своих хозяев. Никакие «кис-кис» на них не действовали.

Разумная худоба, ничего не скажешь… Но не против человека: умельцы-оружейники приспособили под ловушки снарядные ящики — полуоткрытая крышка подпиралась палочкой — «цуркой», к которой привязывался длинный шнур, на дно ящика клался шматок сала. Какой кот устоит перед соблазном «на дурницу» полакомиться нежным свинячьим салом! Как только кот залезал в уготованное для него место и начинал свою сладкую трапезу, ловец дергал за бечевку, «цурка» вылетала и крышка плотно захлопывала ящик. Знай, кошка, свое лукошко.

Вскорости вахмистр убедился, что большинство беспокойного кошачьего воинства сидит в мешках и, поразмыслив, вручил одну их партию казакам, отъезжающим на Турецкий фронт, с наказом дать им свободу где-нибудь поблизости от границы с турками, вторую же партию решил сам завезти в горы — пусть ловят дичину, там ее много, голодными не останутся.

А надо сказать, что для разминки лошадей казаки-оружейники периодически выезжали «на местность» — в близлежащие леса, в основном за орехами или ягодами, брали с собой и карабины — на случай встречи со зверем. И такие встречи бывали… Любимым местом для этих прогулок была глухая поляна в верстах пятнадцати от города, на которой стояли каменные «хатки» древних людей. Эти «хатки» — их теперь называют «дольменами» — поражали воображение: они были построены из тяжеленных каменных плит сажени в полторы, а то и в две в длину и больше сажени в широту. Построены просто, но крепко. Черкесы объясняли, что в давние времена в этих горах жили «маленькие люди», по соседству — люди-великаны. И вот, мол, эти великаны и построили своим малорослым соседям эти хатки.

— Но то, скорее, сказки, — объяснял дед Игнат. — Офицера

нам про те «хатки» иначе объясняли. В давнюю старовину, еще до Рождества Христова, у забытых теперь ародов был такой обычай — ховать покойников в каменных могилах. Отож египетские хвараоны строили себе пирамиды, а эти люди были попроще, без хвараонов, они обходились ось такими хатками. А як то было за тысячи годов до нас, покойники те давно истлели, а их могилки остались. Мабудь, оно так и есть… А чего думать: вон в Москве на самой Красной площади, а то — главный майдан России! — построили каменну могилу для Ленина — та же «хатка», только из дорогих каменьев. Для Ленина не жалко. Хоть и не хвараон, а всеж вроде царя, и проста «хатка» ему не по чину…

Так вот, в очередную поездку к тем «хаткам» вахмистр и прихватил Гэбу и с десяток ее потомков. Как только их вытряхнули из чувала, они сразу же разбежались, кто куда, только их и видели. Казачки посидели у древних «хаток», покурили и, набрав орехов, к вечеру вернулись.

А через неделю в военном городке вновь стали появляться коты — сначала те, которых выпустили в лесу, а потом подтянулись и с турецкой границы. Так потихоньку все и вернулись на родное для них подворье. Оно и понятно: чего бродяжничать, если есть свой баз, своя хата… Утопили кота мыши, да оказался он живой…

Вот только Гэба в гарнизон не пришла.

— Должно обиду приняла на сердце, — говорил дед Игнат. — За предатльство и измену. Коты, как люди, дюже понимают свое достоинство и не прощают такого вероломства… А может, кто прыголубил: кошечка была необычайная, можно сказать, темно-голубая с золотыми космами… Такую и в зверинце можно за гроши показывать…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ, про то, как была такая война — германская, с которой и началась на Руси колготня-чертоскубия

— Отож, у нас совсем запамятовали, что была такая война — германская, — хитровато улыбясь, говаривал иногда дед Игнат, — или как она теперь прозвана — Первая Мировая… Все про штурм Зимнего, та про Гражданскую чертоскубию книжки пишут, кино показуют, да песни поют. А началась-таки вся колготня от нее, от той германской. А что как бы того Вильгейма тряхонули как след, да поскорее, так все пошло бы совсем по другому чертежу. Смотри, и царь Микола сидел бы на месте, да и Вильгейм, не будь дурнем, красовался на своем германском

троне. И про Ленина и про Троцкого никто бы ничего не знал бы и не чуял… Генералу Брусилову, та и тому же, может, Корнилову, все ж геройский был вояка, конные памятники понастроили б… И жили б мы, как жили, тихо да мирно… По дедовой «стратегии» получалось, что в России и войск было предостаточно, и снаряжения «под завязку» — хватило же всего этого еще на три года Гражданской войны.

А пошла та германская война, как он считал, как-то не по-хозяйски. Войска раскидали по всему белому свету — и в Турцию, и в Персию, и во Францию, и в Австрию, и в Македонию, и в Пруссию, и черти куда еще. Сподручнее все же было бы бить германцев и их друзей-союзников не всех сразу, а поодиночке… Высшее начальство, по словам деда, не о войне с германцем думало, а больше мечтало о «переменах», чтобы в России все было как «в просвещенных европских странах». Многие из них, в особенности депутаты, газетчики и юристы, вредили царю, вредили армии, ну, а когда вождям-генералам все это наобрыдло, то и они захотели «перемен». Так и пошел он, весь этот трам-тарарам…

Народ же понимал так, что сверху виднее, и хотя воевать не хотелось, но раз война началась, то надо воевать. Не за какие-то там Дарданэллы, хай им грэць, а за Веру, Царя и Отечество…

Война же была серьезная, настоящая, и поначалу воевали по-настоящему…

Двоюродного барат деда Игната — Касьяна Спиридоновича четырнадцатый год застал на действительной службе, и уже в начале августа их сводная казачья дивизия попала на австрийский фронт.

Армия генерала Брусилова[18], куда влились казаки, сразу же пошла в наступление, так что казаки-кубанцы в первые же дни попали в жестокое, если не сказать, кровавое сражение, развернувшееся у небольшого подольского местечка Городка. Не велик был тот «городок», а баталия за его околицей случилась большая…

Спиридоныч потом рассказывал, как на нашу пехоту навалилась венгерская конница, прозванная «будапештской гвардией». То была краса и гордость Австро-Венгрии… Как будто на параде шли они в разомкнутом строю ровными рядами на наши позиции. Казаки не видели этой красотищи, они стояли на фланге, но, говорят, это было впечатляющее зрелище… Наша пехота стала нещадно косить гусар из пулеметов и винтовок. Австрияки смешались, повернули вбок, задние стали напирать на передних. И тут по ним ударили казачьи сотни — как говорится, «вперед, смелых Бог любит!»…

Касьян до конца жизни помнил тот бой, первый для него и его сотоварищей. Любоваться синими мундирами и ярко-красными «чинчирами» австрийских гусар было некогда. Наши конники навалились на них сходу, без остановки, и началась рубка. Стрельба со стороны русской пехоты стала стихать, в воздухе стоял истошный крик «а-а-а!!», не «ура», а вот такое остервенелое «а-а-а», которое ему потом снилось по ночам, звук тяжелого конского топота и падающих тел, ржание, хруст и скрежет. Австрийские всадники оказались неважными фехтовальщиками, и казаки рубили их, по словам деда, «як капусту».

Касьян хорошо помнил первого зарубленного им солдата — усатого красавца, который почему-то не стал отбиваться, а поднял руку с шашкой к своему лицу, видно, в предсмертном ужасе не соображая, как спастись от казачьей сабли. Касьян рубанул его наискосок по плечу, почувствовал, что сабля «загрузла», рванул ее. Тут подвернулся еще один австрияк. Отбив занесенную им шашку, Касьян ткнул в его грудь конец сабли и помчался дальше…

Вдруг перед ним возник высоченный всадник (сразу видно — гвардеец!), видать, офицер, потому что в руках у него был револьвер, и казак как-то бесчувственно понял, что он сейчас всадит в него пулю, и — не одну… Но тут его конь встал на дыбы, Касьян пригнулся. Выстрела он не слышал, да и того гвардейца больше не видел… А по соседству станичник матюгнулся и «хэкнув», опустил свою «шаблюку» на плечи подвернувшегося гусара. Прямо на Касьяна осадил коня другой станичник, оттесняя его лошадиным крупом. Он вывернулся, резанул по голубому мундиру мелькнувшего перед ним австрийца…

Кровавая схватка продолжалась, но вот Касьян почувствовал, что рубиться стало свободнее — австрияки, те, что еще не были сброшены нашими казачками на землю, повернули своих коней назад. Как потом рассказывал наш родич, их долго не преследовали — и без того австрийской конницы, как считается, после этого боя не стало: часть ее полегла под пулями нашей пехоты, остальных докончили казачки — кубанцы и донцы…

— У многих молодых казаков, — вспоминал дед Игнат, — после той рубки-резни от натуги отнялась правая рука. В горячке боя мало кто чуял чрезмерную натугу, а к ночи они трошки поостыли, кое-кто места не находил от боли: кромсать живу людину — не лозу рубать на учениях. Так что лозу — глиняное чучело не так сопротивляется, как человечья природа… Возьми шашку и зарубай, ну — свинью, к примеру! Э? А то — живую людину! Так что война — дело нелегкое… Но как ни трудно, а

хлопцы поначалу воевали по-военному, нещадно… Впрочем, дед отмечал, что и потом тем же немцам, австрийцам и прочим, скажем, туркам, россияне все же перцу дали. Как ни говори, а за два с половиной года тогда пустили немцев только до Бреста, не то, что в сорок первом — за три месяца довели их аж до Москвы — и то сдержали-таки верх. А в Первую мировую наши союзники потом и без нас наклали германцам, а если б навалиться всем вместе, гуртом, то и война кончилась бы раньше, и потерь было бы меньше, и все было бы ладком… Но… Не сподобил Господь, разлюбил Россию. Видно, по грехам нашим нам и воздалось…

Из грехов народных дед чаще всего осуждал развившееся уже на втором году войны мародерство и, как он выражался, «бандитство», вдруг изнутри поразившее русское воинство.

— Грабиловка в Гражданскую войну расцвела, — говорил дед, — а началась она там, на той войне, империалистической. Набрали в армию черти кого, лапотников из глухоманных деревень, босяков и пройдох из городов и местечков, а они ж не воины-защитники, не потомственные казаки, не благородные рыцари-сотоварищи, а босота и подневольное быдло. Дали им ружья и послали воевать. А воевать по их понятиям — це грабить. Не внушили тем солдатам свято правило — нещадно бей врага в бою, щади пленного и пальцем не тронь мирного обывателя! По словам деда, на войне «трошки» мародерствуют все армии, и начальство на такие нарушения смотрит как бы не видя, ну, а босякам и пройдохам только дай повадку — там, где можно взять чужую иголку, «законно» загребают и нитку, а кто виноват, что на другом конце той нитки, может, привязан кабанчик или маленький, такой «зовсим маленький» бычок… Так грабиловка все ширится и скоро заполоняет все и вся.

Через год-полтора мародерство на войне стало массовым, и отцы-командиры своими силами уже не могли с ними справиться, пришлось направлять против грабительских подразделений специальные части, а где их взять? И вот казаков, как наиболее дисциплинированных и боеспособных, вместо того, чтобы использовать против германцев и австрийцев, начали посылать для наведения порядка в тылу.

В основном, конечно, для этого дела посылали донцев, их было больше, и они в таком мордобое имели свою сноровку, но когда они не управлялись, привлекали и ку банцев, ведь мародеры устраивали настоящие погромы, и не только по мелким хуторам и поселкам, а при случае курочили и большие города. Вот и нашему Касьяну однажды пришлось поучаствовать в разгоне и отлове таких мародеров-погромщиков.

Донцы, где нагайками, где построже, разогнали мародеров из

одного поселка, и те разбрелись по окрестным перелескам. Кубанцев поставили в оцепление, а полевая жандармерия стала прочесывать местность, отлавливая тех бандюг, гуртовать из них команды и отправлять в верхний штаб для предания суду.

И в одно хорошее утро к казачьей кухне прибился посторонний солдатик, мало того, что малорослый и неказистый, так еще конопатый и с белыми волосами. Зубы редкие, а уши большие, торчком. Морда небольшая, но вся заляпана веснушками — вроде черти на рыле у него горох молотили. Уродил его дядя на себя глядя… В общем, приблудился не лучший солдат. Как в половодье, кому что, а нашему берегу то щепка, то дерьмо… Как будто бы отстал от своей части, вот теперь ее догоняет, а по всему видно, что крутит и всей правды не выкладывает. Но потом все же раскололся: участвовал-таки в грабеже в том злополучном местечке. У всякого скота своя простота: он, мол, как все — сначала разбили жидовские лавчонки на базарной площади, потом пошли по домам… А когда налетели донцы и жандармы, он дворами, огородами, а дальше оврагами выбрался в поле, переночевал в снопах. Барахло, что схватил в одном из магазинчиков, на всякий случай побросал в бурьянах, оставил себе только очки без заушин, но с позолоченным коромыслом, а может, и золотым. Решил, что если найдут при обыске, скажет, поднял на дороге, про тряпки такого не скажешь, а про цацку — чего ж, нашел, и все такое. Дурной, дурной, а хитрый…

Казаки решили его в трибунал не отправлять. Жалко стало ушастого — в трибунале под горячую руку могут из него «сгарбузовать» такого бандюгу, что ни одна тюрьма не примет. Да и прижился он, чертяка конопатая, при кухне — безотказно любую работу делал, дров там поколоть, казан помыть, или, может, еще «куда пошлют». Про звали его «Плюгай» — не то он сам так сказался, не то еще почему, но вот — Плюгай…

Так он при полевой кухне и проболтался с месяц, потом куда-то сгинул, как будто его жабы схарчили с галушками. И забыли про него, как вроде его и не было, ну, а если вспоминали, то жалеючи: где он, мол, и как, наш непутевый Плюгай?

Но пути Господни неисповедимы, а наши пути-дороги узки и ухабисты. Касьян вдруг встретил того Плюгая в Катеринодаре. Это было уже весной двадцатого года, когда «кадеты» только-только убрались из города, а «товарищи» только-только начали устраивать свою, как они говорили, самую справедливую власть на свете.

Оказавшись в городе, Касьян зашел к другу-сослуживцу, и тот предложил ему сходить в тифозную «лекарню» — поискать зятя,

был, мол, слух, что тот лежит где-то в карантине с повальной в то время болезнью — тифом. И друзья неспешно направились «пошукать» родича. Бараки, а скорее — длинные низкие сараи с тифозными больными, были переполнены, в полутемных помещениях — душно и сумно. Пахло карболкой и чем-то непонятным, может, самой смертью…

Касьян обратил внимание, что, когда они шли по коридору, под чоботами что-то похрустывало: «хрусь, хрусь»…

— Воши, — объяснил санитар, — оцэж воны пэрэплазують от мэртвых до живых. В общем, те бараки нашим хлопцам не понравились, зятя они не нашли, не числился он в карантинных книгах ни среди «прибывших», еще живых, ни среди «убывших» — и живых, и мертвых. Но возле одного из сараев наткнулись они на расхристанных солдат, сидевших в холодке и игравших в карты. Среди них Касьян и узнал старого знакомого — мародера, белоголового Плюгая, такого же, каким был он прежде, ушастого, с мордой, засыпанной грязными веснушками. Проморгавшись, тот признал Касьяна, и тут же, не ожидая вопросов, объяснил, что был ранен под Тихорецкой, после выздоровления оставлен в рабочей команде при госпитале, а вот сейчас новая власть отправила его за старшего сторожа сюда, к тифозным, для помощи и охраны.

Когда они отошли от сторожей-картежников, санитар тихо посоветовал Касьяну много с Плюгаем «не балакать, бо як вин шкура и христопродавец» …

— А что ж це так? — спросил Касьян. — Что он, сатана ему брат, не ангел, я знаю. У каждого прохвоста своя короста… — То-тож, — подтвердил санитар. И коротко рассказал казакам, что, мол, этот ушастый стражник в госпитале, где он недавно ошивался, выдал красным нескольких раненых офицеров, и те тут же их прикончили — кого вывели на задворки, а кто идти не мог, того застрелили прямо в палате, на койке… Сестры и доктора попрятали все документы, а рыжий Плюгай все равно указал, кто среди раненых «золотопогонник», хотя никто из них по военному времени не успел и поносить тех золотых погон, и были они все больше подхорунжие и прапорщики, выслужившиеся из рядовых. Вот тебе и Плюгай, бисова его душа. Видно, что сделано в гузне, того не перекуешь в кузне… Ну, а к тифозным его прикомандировали за старшего сторожа, видимо, для присмотра — сами «товарищи» сюда ходить не любят, побаиваются: вошка — она в политике «не бум-бум», может прицепиться хоть к белому, хоть к самому красному…

Плюнул Касьян и, махнув рукой, пожелал Плюгаю и другим таким, как он, «плюгаям», сотню чертей под ребра и всего

другого, чего никому путному пожелать нельзя, и чтобы его, того Плюгая, никогда-никогда больше не встречать. Однако ж тесно живут на грешной земле грешные люди и, как ни желал наш Касьян не видеться с Плюгаем, встреча такая все же состоялась.

Дня через три зашел он на «Черноморку» (тогда это была главная железнодорожная станция Катеринодара), узнать, когда ходят поезда в сторону его станицы, и решить, как ему сподручней добраться до дому. Народу на станции, как он и ожидал, было «под завязку, да еще с гаком».

К каким-либо кассам продраться не было никакой возможности, в вагоны сажали по пропускам разного начальства, а большей частью люди занимали места кто как сможет: кто самохрапом забирался в вагон через окно, кто лез на крышу. Касьян встретил станичника, тот сказал ему, что сегодня ночью на Тимашевку будет идти не то «бочкарь», не то грузопассажирский поезд, и знакомый ему железнодорожник обещал посодействовать. А вдвоем не только веселей, но надежней. Так что «прыходьтэ, Касьянэ, после полуночи!». На том и порешили, и тут Касьян увидел в центре привокзальной толоки какуюто свалку. «Когось бьют, — сообразил он, — может, и есть за что».

Толпа на какое мгновение разомкнулась, и Касьян увидел, что колотят двоих, и один из них ни кто иной, как его давний знакомый — белоголовый Плюгай.

— За что их волтузят? — спросил он кого-то из зевак. — За дело, — удовлетворенно ответил тот. — Оклунок с салом потягнули, бисовы хапуны. Тут их и застукали… Били «хапунов» основательно — ногами по ребрам, толкли мордами о землю. И если бы Касьян сразу не узнал Плюгая, через минуту-другую ему сделать это было бы невозможно: его белая голова стала черной от грязи и крови.

— Ежели б их так мордовали не только за сало, но и за другие их хвокусы, — говорил дед Игнат, — так може, и от великого греха удерж был бы. Наказание — оно ж первый шаг к покаянию. Може, всыпали б тому Плюгаю плетюганов ще там, на Галитчине, он бы одумался, и зла от него больше не было бы. Есть така порода людей, что без бича не зъисть и калача… — Была така война — германская, — вздыхал дед. — Там все и прорезалось, и тяга к переменам, и бандитство, и геройство…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, про то, как казаки узнали, что царя больше нету, народ получил волю и все «пошло-поехало»…

Туапсинская служба деда Игната не была тяжелой, особенно по военному времени.

— Так можно было три войны провоевать, — говаривал он, и вспоминал, что в горах поблизости от Туапсе была пещера, в которой по стенам ручейками стекал на стоящий мед. Правда, с горчинкой. Где-то в верхних ее расщелинах веками жили дикие пчелы, меду они натаскали «уйму, тай ще и с гаком», и по особо жарким дням он подтаивал, и где крупным дождичком капал, а где и тек по стенам пещеры, скапливаясь в ямках, трещинах и каменных бороздках. Пчелы в жару были сонными и мало беспокоили посетителей, в обычные же дни, особенно «на погоду», охраняли свое богатство с беспощадной жестокостью, и горе было тому, кто в такой день попытался зайти в ту пещеру — она гудела грозным гудом, и вся была наполнена этими жгучими, кусачими созданиями… Чем не служба: горы, море и даровой природный мед? Война хоть и напоминала о себе побитым оружием, приходившим для ремонта, но была далеко и не казалась страшной. Казарменная жизнь шла размеренно, и лишь изредка приходилось вести ремонт круглосуточно. И где та Германия-Мазурия, где те Дарданеллы с Босфором — для казачков-ремонтников, по словам деда, было «бай-дуже».

Но всякому покою, каким бы сладким он не был, рано или поздно приходит неизбежный «отбой». В конце шестнадцатого года вышло приказание — оборудовать мастерские в железнодорожных вагонах и быть готовым к отправке на Юго-Западный фронт.

Фронт для них мыслился один — Кавказский, или как его больше называли — Турецкий. Дела там шли вполне прилично: несмотря на отдельные неудачи, российские войска уже были где-то за Трапезундом, то есть прошли, считай, полдороги до этих самых Дарданелл, нужды в которых для наших казачков не было никакой. Другим краем фронт шел в обход Святой земли, а летучий отряд казаков- уманцев сотника Гамалия[19] уже выскочил впритык к библейским райским землям — на речку Тигр. И гроб Господен был уже вот он — рукой подать! Да только турки опять выкрутились, как это часто с ними случалось и в раньших войнах, к примеру, при том же незабвенном Скобелеве.

Еще бы чуть-чуть, и Святые земли мы бы освободили, но не довелось.

Что было надо освобождать на западных фронтах, дед Игнат и его сослуживцы не знали, но так уж случилось, что их мастерские в конце-концов направили именно туда, на Запад.

— А жалко, — вздыхал дед. — На туретчине было б интереснее… Чем «интересней», он не уточнял. Просто он так

считал. С турками воевали ближние и дальние родичи, знакомые станичники, они много рассказывали о тех боях-походах, и он давно, может, с самого детства, привык к мысли, что если война, то это, конечно же, с турками, а то с кем еще?

Незадолго до отъезда на фронт к нему в Туапсе заезжал отпущенный по ранению в отпуск двоюродный брат Григорий Спиридонович, хвалился, как они там за Араксом воют. Позвякивая двумя медалями, которых он сподобился за фронтовое служение, бахвалился своими приключениями, среди которых было и такое.

Как-то они с группой казаков-разведчиков заблудились в ледяных завалах на горе Арарат. Пролазив по ним целый день, они к ночи натолкнулись на голую скалу, поднимавшуюся из ледяного поля и припорошенную снегом. Решили тут, в затишке, переночевать. Утром же разглядели — скала не каменная, а вроде как бы из древесины выстругана. А откуда на такой верхотуре может случиться деревянное строение? Проводник, из близкоместных армян, сказал, что ничего в том странного нету — в теплую погоду, не каждый, правда, год, из-под векового «лёду» вытаивает Ноев ковчег, тот самый, что описан-прописан в Святом писании. Казачки поохали, руками его «помацали» — надо же! Про тот случай потом в газетах писали… Спиридоныч хотел было отколупнуть от святыни невеликий шматок, малую таку щепку, да древесина оказалась «як железна»! Вот такие случаи можно было пережить на туретчине!

Но хочешь не хочешь, а повелено отправляться на Юго-Западный фронт против австрийцев. Там уже воевали казаки-кубанцы из почти родного I-го Хоперского ее императорского высочества великой княгини Анастасии Михайловны полка, а в Терской казачьей дивизии приняли боевое крещение конвойцы уже совсем родной I-й лейб-гвардии Кубанской сотни, в которой более десяти лет назад провел свою военную юность наш дед Игнат.

И вот, в начале семнадцатого туапсинские оружейные мастерские, оборудованные в вагонах, двинулись ближе к войне. До Армавира добрались, как вспоминал дед Игнат, «разом», а дальше пошли пробки и заторы. Их эшелон частенько загоняли в тупики, пропуская поезда с войсками, на некоторых полустанках стояли дня по два, в Ростове застряли дней на десять. И лишь в начале марта оказались за Днепром, где их, как гром из черной хмары, застало известие о самовольном отказе-отречении от престола царя Мыколы.

— Оно ж было видно, что кругом непорядок, — говорил дед. — В Ростове бастовали заводы, потом железно-дорожники

загудели, на станциях каждый день дезертиров ловили. А чого их ловить, як их — что пчел… Так мы и не такое бачили в девятьсот пятом году… Тогда был и мордобой и стрельба… Но чтоб царь, божий помазанник, хытнувся, а тем более с престола слез! Так этож уму не взять, не понять! Эшелон втолкнули на запаску, начальство поехало в штаб фронта, наказав ждать вестей и никого постороннего в вагоны не пускать. Зажурились казаченьки, задумались: ой, что будет? И обязательно вставал вопрос: а как война? Замиряться с германцем или не замиряться? Раз царя не стало, то на что нам те Дарданеллы и другие заморские земли?

Начальство, побывав у верхнего начальства, подтвердило, что царь действительно отказался от престола.

Может, хотел, чтобы его попросили не бросать державу, не сиротить народ, да только никто его об этом просить не стал, а власть захватили незнамо кто и обозвали себя хотя и временным, но правительством. И тут же объявили: война до победного конца! Вот тебе и на! Видать, те Дарданеллы не только царю были нужны…

Но народ уже взбаламутился. На станциях, что ни день, то собрание. Кто — «до победного конца», кто — «долой временных!». У каждого скота своя простота. Не разбери — поймешь. Куда конь с копытом, туда и жаба с хвостом… Повылезали на свет Божий всякие анархисты, эсеры, эсдеки и еще черти кто, о ком раньше не было ни слуху, ни духу. И конечно же — большевики. Всякого добра по лопате. И все за народ, за хорошую жизнь, за счастье и свободу. И каждая харя себя хвалит, а правды в ней, как у козы хвоста.

— Отож свобода, — вспоминал дед Игнат, — понималась так, что можно было делать все, что хочешь… Все дозволено… Выпустили народ на свободу, как яичко на горячу сковородку, и заскворчало… Разогнали городовых, шугнули из тюрем политических, как они были против царя, а воров та жуликов за то, что богатых обкрадали. И пошло, и поехало…

К оружейникам стали наведываться комитетчики и агитаторы: вы, мол, какие — левые или правые? «Та мы казаки! — отвечали те. — Мы не левые, не правые, мы просто казаки!». «Так, мол, не бывает, чтобы “просто”». «Ну, раз ты такой грамотный, то напиши слово “казак”, теперь читай: и слева направо, и справа налево — все равно получается “казак”»!». Плюнет такой агитатор, да сгинет с глаз. Так что и в раскардаш нас с панталыку не собьешь!...

К лету фронт стали бросать целые части. Кто-то из верхних штабов шепнул начальнику мастерских, что ему не надо ждать официальных приказов, а тихо-мирно отправляться в

Катеринодар, тамошнее войсковое руководство определит их дальнейшую судьбу. И покатили наши оружейники назад — на ридну нэньку Кубань.

Есть под Воронежем узловая станция Лиски.

— То кацапы думают, что название того места увязано с хитроумною зверюгою лисицей, — усмехался дед. — А оно ж ясно, як день: «лиска» и есть «лиска», абож забор, плетень… Так мы через той «плетень» никак не могли перестребнуть, застряли на тих «лисках» аж на две недели — никак нам паровоза не давали… Потом таки сбалакались с железнодорожниками: за ведро спирту нас подцепили к какому-то эшелону… На Лисках к мастерским приблудился земляк — джэрелиевский казак Омелько Горбач, отлежавшийся в госпитале и теперь пробивавшийся «до дому, до хаты». Хлопец он был веселый, живой, с людьми сходился быстро. Из тех, кому и черт не брат, и свинья не сестра.

— А нам как раз такого и не хватало, — говорил дед Игнат. — В дороге, что выпала нам, бывает нужен такой Горбач, и для дела, и для веселья… Пока он латал свои раны в госпиталях, перевидал не один десяток таких же бедолаг-окопников из разных частей. И каждый ему что-то рассказал, о чем-то поведал. От него, Омелька, дед узнал, как воевала его родная конвойная сотня. Добре воевала. Вот только на войну она пошла под командой есаула Андрия Жукова, а вернулась с есаулом Грицком Рашпилем. Жуков же за отвагу и воинское умение был поднят в чине, принял полк. И быть бы ему, может, генералом, да только перед наступлением его отправили в тыл, в госпиталь, лечить застарелую грыжу. Андрей Семенович, устрашась, что его подчиненные подумают — забоялся перед ответственным боем — сам лишил себя жизни, застрелился. Вот так понимал свою честь и достоинство казачий офицер, царствие ему небесное…

Малосведущим казакам-оружейникам, проведшим почти всю войну в своих мастерских, как на забытой степной кошаре, Омелько рассказал, как мог, о разных партиях, тех, кто против власти. У них, надо полагать, была общая цель — все ниспровергнуть и «зробыть» новую жизнь, справедливую и прекрасную…

Тогда дед Игнат в первый раз услышал про Ленина. Верховодит, мол, у большевиков такой головастый и дюже хитроумный атаман-председатель. Заслали его в Россию германцы, чтобы войну кончать в их пользу. И он вовсе не Ленин, а Ульянин, «а, може, еще хто…»

— Про Троцкого мы узнали в Гражданскую войну, — вспоминал дед Игнат. — Остальных не было. Ну, потом явился

Калинин, сказали, что — староста. А Сталин выплыл на нашу голову совсем недавно, перед колхозами…

Рассказывал тот Омелько и о том, что большевики с их, значит, Лениным-Ульяниным, стоят за то, чтобы с германцем замириться, заводы и фабрики раздать рабочим, а землю — крестьянам. На счет замирения казаки были согласны — хотя и не нашего оно ума дело, но Дарданеллы нам, может, и вправду не нужны, живут там те турки и пусть себе живут. Видно, так уж заповедано, что все теплые места заселены не православными. Может, в том есть какой-то смысл: «неверы» сидят ближе к «пеклу» (аду)…

Что касается заводов и фабрик, то тут — «сумнительно»: как рабочие сами, без грамотного начальства управляться будут с ними, теми заводами? Ну, да это тоже не нашего ума дело — хай управляются, раз им того хочется. А вот на счет земельки — то «це не про нас», у нас, казаков, земли достаточно… А городовикам (т.е., иногородним) она не нужна, так как они не знают, что с нею делать. Ну, а тем из них, кто умеет хозяйствовать, можно и нарезать земельки от панских угодий. Зачем тому же генералу тысяча десятин? Хоть он и генерал… К тому же, слушок идет, что генералов и другое панство поразжалуют и упразднят, или они сами разбегутся, как те же жандармы и городовые. Ох, что же оно будет?... А может, перемелется и само собой утрясется?

К концу пути Омелько выбегал на каждой остановке и везде у него находились свояки или другие какие родичи. Он их изпод земли доставал, расспрашивал, приводил к вагонам. И те «свояки» приносили «крученые» новости, путанные известия о том, что делается на белом свете. В тяжких раздумьях ехали казаки-оружейники на родную «батькивщину», и даже всезнающий веселый Омелько с его шутками-прибаутками не мог развеять те думы и сомнения, что роились в чубатых казачьих головах…

В Катеринодаре их ждали хлопоты по сдаче в цейх-гаузы казенного добра, на что ушло недели две. Омелько тоже крутился вместе со всеми, помогая размонтировать и перегружать станки и, понятное дело, приводил к эшелону «свояков». Деду особенно запомнился один — чернявый, юркий хорунжий Васько Рябоконь, казак с хутора Лебяжьего, что под Гривенской, почти земляк-станичник. В молодых годах он служил в войсковом хоре, потом успел побывать на Турецком фронте, выслужил офицерские погоны, и вот вернулся в Катеринодар. От него казаки узнали о местных новостях, немного их успокоивших.

У того хорунжего был наборный серебряный пояс, а вот

застежка у него заедала, и две бляшки-горошины утеряны. Дед Игнат починил ему застежку, из кусков хранившейся у него черкесской уздечки перенес недостающие украшения на ремень, а заодно приладил к ним три хвостика с такими же «под масть» концами. Получилось что надо. Обновил серебро раствором, и вручил сверкающий поясок хозяину — носи, земляк, радуйся! Тот действительно обрадовался, обещал магарыч, да как-то не пришлось, так как вскоре казаков, справивших все обязательные дела, спровадили по домам. Событие всегда радостное.

— И казалось нам, — с усмешкой вздыхал дед Игнат, — что смута и колготня в нашем житьи-бытьи кончилась… А она только-только прорезалась… Эх, где та туапсинская райская жизнь-житуха, с ее медовою пещерою, с загадочными «хатками» из великих каменьев, да с веселой кошкой Гэбой?

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, про войну Гражданскую, про войну Гражданскую, что никак не гасла

О Гражданской войне на Кубани дед Игнат вспоминал неохотно, рассказывал о ней мало. Не любил он те пагубные годы, считал, что было бы лучше, если бы их не было вовсе. Но что было, то было, и от этого некуда деться…

А стряслось, по его понятиям, кровавое крушение всех основ давно отлаженного казачьего уклада жизни, попрание привычных представлений о грехе и законности, праве и правде.

Война, считал он, дело само по себе бандитское. Даже справедливо отбиваясь от нападения злого ворога, оборонитель своего дома, семьи, добра — если вовремя не остановиться, скатится в бандитство, сам того не замечая, ибо неведомо, где она, та грань между справедливостью и грехом.

— По первоначалу Советы у нас на Кубани воцарились без особо большой драки, — вспоминал дед Игнат. — Вернулись с фронта казачьи полки. Те, что с германского по железной дороги, с турецкого — больше морем, из Трапезунда в Новороссийск. У фронтовиков к тому часу в головах кишки завернулись на большевицкий хвасон. Не поголовно — чтоб у всех, но у большинства… Фронтовики где разогнали, а где и побили своих офицеров. Больше не за политику, а по окопной злости, за их поведение на войне и за отношение к рядовым. Кто, значит, был несправедлив или прятался за солдатские спины, того — к стенке, или грузило на шею и в воду… Ну, а кто хоть и офицер, но воевал достойно, над рядовым не измывался, так того даже, бывало,

спасали от «чужих» революционеров — анархистов, эсеров, хоть и были они, такие офицеры, может, за царя, или за Ленина-Троцкого, не важно. Так спаслись от самочинной расправы и пашковский казак Андрий Шкура, и полтавский иногородний сотник Епифан Ковтюх, и павловский казак Иван Кочубей, и петропавловский есаул Иван Сорока, и михайловский казак полковник Микола Бабиев, и еще кто там кто… Потом их разделила междоусобица-распря, а на первых порах все они были из одной армии — императорской, российской…

Помитинговалипомитинговали на станичных майданах, вспоминал дед, а тут, как нарочно, в Петрограде сопхнули «временных», а мы — что, хуже? Ну, наладили старых отцов-атаманов, выкрикнули новых, помоложе, кое-где постреляли, но не густо. На этом можно было бы и успокоиться, так нет, явился блаженной памяти Лавр Корнилов[20], генерал молодецкий, из сибирских казаков, но с вывертом: не хотел, чтобы в России был царь, и даже, по слухам, именно он сообщил царской семье об ее аресте. Надо же: генерал! Присягнул царю, а потом его жинку с детьми арестовал! С того, может, и начался крестный путь царя Мыколы. Не арестуй его «временные», может, он бы и ссыпался к родичам за границу. Не дюже складно по чужим хатам тыняться, но живым бы остался!

Ну, да Бог им судья. Может, за те прегрешения и нашла скорая смерть Корнилова под Екатеринодаром, когда он хотел нахрапом выхватить город из рук советов, и его добровольцы, с великой, правда, кровью, уже влезли в город, отбили Самурские казармы. Еще чуть-чуть, и глядишь —

Лавр Егорович въехали бы в атаманский дворец. Не пришлось. А генерал был крепкий, генералистый.

— А то, что его из земли выкопали и надругались над мертвяком, то уж большевицкий грех, — считал дед Игнат. — И недаром Сорокина, что сгарбузовал то непристойство, потом свои же и прикончили. За ним еще были грешки, мордокрут был немалый, людской крови не жалел. Ось, его Бог и покарал… А был тот Сорока, бисова его душа, казаком Петропавловской станицы, с германцем воевал умно, до есаула дослужился… Дед был твердо уверен, что любое прегрешение не остается без соответствующего возмездия. Господь Бог на страшном суде партбилеты спрашивать не будет. Красный ты или белый, или там какой зеленый, ему байдужэ. И обдурить Бога никому не удастся. Он будет мерить добрые и злые дела каждого, и дастся каждому по грехам его. Но до страшного суда далеко, и многих грешников возмездие настигнет еще при жизни. Дед считал, что если бы Бог прибрал всех-всех греховодников в одночасье, то земля бы

опустела, и поэтому Господь установил как бы очередь, да и для исправления нужно время, а вдруг, ненароком, кто нибудь еще и раскается…

— Ось коли тот Корнилов нагрянул на Кубань со своим «ледяным походом», — вспоминал дед Игнат, — советы по станицам действовали еще с оглядкой, а как Катеринодар дал тому генералу «гарбуза», они окрепли и начали свою власть показувать. Не обошлось и без смертоубойства. У нас порубали бывшего атамана Строгого с братом. Перестреляли в степи порубали. Кто и за что? Уже к пахоте поделили паньску землю, нарезали городовикам (т.е. иногородним) казачий пай, начали выгребать зерно, вроде как для фронта. Скликать народ на очистку шляха, на ремонт мостов, для всякого такого потребного. Власть — она и есть власть, а раз есть власть, то есть и недовольство, особливо, як так власть нова, беспривычна… А где ж до нее привыкнешь, как уже с лета Добровольческая армия посунулась на Кубань. Сразу после косовицы, еще до обмолота.

Та власть продержалась полтора года, снова пришли советы, а там генерал Улагай налетел, как коршун на курятник, наробыв переполоху, та и сгинул за море…

Когда пришли белые («кадеты», как их называли на Кубани), многие казаки надеялись, что вернулась «старая» власть, вернется привычный порядок и все успокоится. Но «кадеты» сами толком не знали, чего хотят. Одни из них были за царя, другие за какое-то собрание (учредительное, чрезвычайное), где будут выбирать правителей. Третьи, уже не «кадеты», а местные, из кубанцев — за «самостийную» казачью державу. Главный же верховода — генерал Деникин все толковал за «единую и неделимую Россию», но все они «спасали Россию» от красных, и все в голос кричали, что радеют за народ…

— А нам вроде як байдужэ, — говорил дед. — Нас бы не трогали, не мешали жить спокойно. Так ни… Сами не разберутся, а людей колготять. Оно ж как: паны скубутся, а у простых — чубы трещать… И трещали те чубы основательно. «Кадеты» считали полезным непокорных и недовольных вешать и пороть. Особенно любил этим развлекаться генерал Покровский. Пленных, заложников и просто не поймешь кого и за что, да и своих несогласных, чуть что — петлю на шею и поминай как звали… Зубоскалил: мы, мол, пленных бережем, ни один волосок не упадет с их головы! А прикажет повесить, ухмыляется: мол, волосы у казненного целы, как он и обещал… Ну, его также прикончили года через три после того, как он смылся за границу, укокошили без всяких шуток, всерьез и навсегда.

Был такой Кулабухов, казак из Покровки. Священник, и

говорят — толковый, за что и выбрали депутатом Кубанской рады. Он там потянулся к самостийникам, стал проповедовать казацкую «нэзалэжность» (независимость). Идея на словах красивая, на деле же Казакия, будь она наяву, за войнами и охраной кордонов не успевала бы хлеб сеять…

— Забыли, как в старовину горцы-абреки думали, что Россия — она тут, на правом боку Кубани вся распростерлась, — говорил дед Игнат. — Ну, может еще трошки по Дону… И шарпали нашу Кубань нещадно. Потом пограмотнили, узнали, что Россия — от Белого до Черного моря, от Царства Польского до царства шаманьского Якутского-Камчацкого, и якогось там еще… Вразумили, что с такою державою некому не совладать, и попритихли. А тут на тебе: россияне сами ту Россию, як макитру (это большая глиняная посудина) на черепки гепають!

«Кадеты» с тем Кулабуховым не стали цацкаться: раз ты не за «единую-неделимую», то полезай в петлю. А как его повесили, казачки-кубанцы вразумили, какую цену им положили деникинцы и стали бросать фронт…

Ну, а за всякую провинность меньшего калибра шли в ход нагайки и шомпола. За битого, мол, двух небитых дают. Оно, может, и дают, да только сам битый от тех экзекуций сильнее любить начальство не станет. Наша родичка, Матрена Падалка, была порота «кадетами» за то, что ее муж и четверо старших сыновей в красные подались. Всыпали ей пятьдесят плетюганов, чуть не до смерти, еле оклыгалась.

А тут является один из ее сыновей, он служил вовсе не у красных, а у генерала Шкуры. Ходил с ним в поход аж под Воронеж, пригнал до дому гарбу всякого добра, награбленного, как водилось, в том походе. Матрена сказала ему, чтобы он то барахло в хату не сгружал, а девал, куда хочет, потому как на том добре — слезы и горе. Ну, поглядел он на еле живую мамашу, отъехал на станичный майдан, выпряг коней, да и майнул в плавни, к красно-зеленым. По словам деда, Мотря прожила 103 годочка, похоронили ее уже после Отечественной войны на старом анапском кладбище. Так она до самой смерти помнила, как власть дерется…

Как и все революционеры и контрреволюционеры, «кадеты» не гнушались и расстрелами. Эта казнь считалась легкой и как бы естественной. Ею промышляли и «товарищи», и «кадеты». Выводили на глинища и шлепали каждый себе в удовольствие, так что теперь неизвестно, кому там ставить памятный крест — то ли белым, то ли красным… А вот свои своих уничтожали по звериному жестоко. Как только красные отступили, станичники похватали своих ревкомовцев и на Высокой Могиле устроили им

страшный суд. Выкололи глаза, а потом с живых содрали кожу, и каждого, уже полумертвого, посадили на кол… А в ревком они не напрашивались, их станичники сами и выкликнули. Да и какой то был «ревком», если в нем не было ни одного революционера? Сначала правление переименовали в стансовет, а потом в ревком…

А в станице Славянской стояли лагерем тысяч пять мобилизованных казаков Таманского отдела. Перед уходом с Кубани «кадеты» решили послать их на фронт, видать, в заслон своим отступающим добровольцам. Кубанцы уперлись. Тогда их лагерь был окружен донскими лейб-гвардейцами генерала Дьякова, не к ночи будь помянут. Славная казачья бригада, вековая, а вот тебе на — по деникинскому приказу и по своей обозленной воле пошла против братьев-соседей — кубанский казаков. Вот тебе и «донцы-молодцы, кубанцы-красавцы»!

Собрали «минутное совещание» (было, оказывается, и такое) полевого суда, и тут же постановили: каждому десятому вломить по полсотни шомполов, каждого пятидесятого — расстрелять, что тут же и было исполнено. Остальным — марш-марш на передовую. Да только отойдя верст двадцать-тридцать от Славянской, те мобилизованные казачки все поголовно разбежались…

А «донцы-молодцы» тем временем наложили контрибуцию на станицу Марьянскую, якобы за укрывательство красно-зеленых. Провиантом и харчами на суточный паек бригады… А сколько она схарчит, та бригада, особенно если постарается? Тем более, что надурняк и уксус сладкий.

Вот такая «единая-неделимая»… Не хотел народ воевать, его жестоко принуждали, запугивали, озлобляли, а озлобившийся человек, битый, поротый, потерявший семью, хату, друзей-сотоварищей, сам становился зверем, шел на месть и любую жестокость.

Разберись тут, кто виноват больше, а кто меньше. Кто? Дед Игнат, отвечая себе и нам на этот вопрос, обычно вспоминал, что в те годы ходила такая байка, или может, притча, если по-ученому: мол, два старых-престарых казака столкнулись арбами, и одному из них дышло попало в рот, вышморгнув остатки зубов. Так кто из них больший виноватый: тот, кто правил не туда, или тот, кто рот «раззявил»?

К белым и красным, зеленым и черным армиям, войскам и отрядам повсеместно добавлялись самородные местные банды любителей пошарпать народ, пожить вольно и разгульно, за счет, само собой, все тех же простых людей. Случалось, что под их маркой грабежом занимались и созданные при станичных властях

отряды самообороны и милиция.

Как-то раз, при только-только установившейся советской власти возчик Степан Балагура пригнал на сельповский двор гарбу сена. Было поздновато, идти домой не хотелось — он распряг лошадей, поставил их в конюшню, а сам забрался на воз и там, на верхотуре, прикорнул. Под утро слышит какой-то шумок, вроде по двору кто-то ходит. Поднял он свою умную голову и видит: какие-то люди таскают из проема в складской стене мешки и ящики. Двоих он узнал сразу — сельповского завхоза и местного милиционера, а двое других — вроде как тоже из милиции. И грузят они те припасы на запряженную гарбу, стоявшую тут же.

Степан не подумал ничего такого, носят, ну и носят — начальству виднее. Еще подремав часок, он слез с воза и пошел домой. А днем по станице прошел слух, что мол, ночью был налет банды зеленых. Ограбили сельпо и хотели поджечь сельсовет, да милиция не дала… Было погнались за бандитами, да те утекли — кони, мол, у них справней милицейских. Почесал Балагура потылицу (затылок) и поведал сельповскому председателю про то, что видел. Дескать, на волка помолвка, а кобылу зайчик съел… Председатель тоже поскреб свою потылицу и посоветовал Степану никому-никому про все это не рассказывать, а то, мол, нам же обоим будет горько. А так что: была банда, ну и была, ее прогнали, ну и слава Богу — все живые, никто не ранен, не покалечен. И давай договоримся: ты мне ничего не говорил, и я тебя не слышал, сказано — закопано… Будь здоров, Степан, не кашляй!

И Степан «не кашлял» лет десять, только при коллективизации, когда того милиционера избрали председателем колхоза, шепнул двум-трем друганам на перекуре про все это поганое дело. Так того Балагуру на третий день замели куда надо и быстро-быстро отвезли за казенный счет аж за Урал, как пособника бандитов. Мол, видел, как грабили, не предотвратил, не донес кому следует…

А годов через пять и самого председателя гэпэушники зануздали и недолго сомневаясь, шлепнули. Был слух, что оказался председатель не то германским, не то японским шпионом, и само собой — врагом народа. Каким он был шпионом, никто не знает, а на счет врага народа, то тут ни у кого нет сомнений — врагом для народа он был, невеста ему кобыла… Ну, а шпиона, предполагал дед Игнат, ему приписали для авторитета всегда правой державной власти.

Так что та Гражданская война у нас не затухала до самой Отечественной. Такая война, чтобы сразу, в одночасье, не

кончается…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,
про то, как ломаются судьбы людские, и как ломает судьба человека

— Отож, может и правда, что каждому уготована своя судьба, — рассуждал дед Игнат, — но только она, если и одна, но может повертаться то одним боком, то другим. Смотря по тому, куды пхнет ту людину жизнь и как он из-под нее вывернется. Не зря сказано, что береженого и Бог бережет, а дурня и в церкви бьют... Во время кровавой смуты, всеобщего развала, поголовного разброда, иногда, по словам деда, случалось, что человек не устоял перед греховными соблазнами, не только споткнулся, упал, но сломал себе шею на крутом повороте или на остром углу вселенской порухи.

Был у одного из наших дальних-предальних родственников, казака станицы Славянской Никифора Петренки старший сын Петро. Ладный и складный был хлопчик, как само его имя-прозвище: Петро Петренко… И надумал тот Петро стать умнее других: поступил в учительскую семинарию, что была в те годы в станице Полтавской. Как его старый Никифор не отговаривал, мол, пропадешь для свычной казачьей жизни, все без толку…

Проучился он в семинарии с год или чуть больше, а может, и меньше, как закрутилась в нашем кутке междуусобная молотьба-косовица, про которую одни и посейчас поют красивые песни, а другие — шепчут молитвы и утирают горькие слезы. Власти приходили и уходили, все перемешалось, и нашему Петру, видимо, не было такой планиды, чтобы стать учителем. Или — по батькиному желанию хозяйствовать на родной земле.

Стал он поначалу помощником писаря в родной Славянской, а потом перебрался в войсковую канцелярию, в Катеринодар. По знакомству, конечно, по кумовству, а вовсе не потому, что был он таким уж умным, хотя и не без этого. Ум, говорят, хорошо, а кум — лучше… Дело в том, что сын дядьки Охрима, давно писаревавший в той канцелярии, взял к себе молодшего троюродного братана Грицка, сына нашего деда Игната, а тот уже, в свою очередь перетянул туда «петреченка», как своего родича. Хотя и очень дальнего, так — Сидор Карпу родной Хома…

Писаревать было и почетно и прибыльно: в станицах писаря считались первейшими людьми, от которых много зависело в простом народном житье-битье, сплошь и рядом было так, что сам атаман путем не знал, какую бумагу надо справить при том или ином служебном деле или житейском повороте. Да у него и не было желания «колупаться» в тех бумагах, когда рядом —

грамотный писарь, за долгие годы постигший канцелярские хитроумства, поднаторевший в законах и обычаях.

В станичном правлении сидели два писаря — один по гражданской части, а другой — по военной. Жили они в дружбе, не рядились, где «мое», а где «твое», часто подменяли друг дружку, хотя военный и считался поважнее. Сидели они в своих должностях подолгу, чаще всего, как попы — пожизненно. Так что их помощникам — «писарчукам», не просто было выбиться в люди, но и в подручных им было повадно и знатно. Все их в станице знали, величали по отчеству. К каждому из них тянулись неграмотные и полуграмотные станичники — кому документ какой справить, кому письмецо-цидульку сыну на службу или родичу какому написать, кому правила какие растолковать… И тому писарю или писарчуку, все одно, как попу или «фершалу», каждый нес, так уж было заведено, кто шмат сала, кто кошелку яиц, курку там, или — для любителей — склянку самогона.

Писарчуки, крутясь близ начальства, первыми узнавали новости, чаще даже вперед атамана, и это тоже уважалось.

Так что наши хлопцы, Грицко да Петро, писарскую службу считали ничуть не хуже учительской, хотя учителю тоже полагались от станицы и квартира, и дрова, и керосин…

Но ненадолго наши писарчуки перебрались в войсковую канцелярию, потому как наступила весна двадцатого года, и «кадетов», добровольцев и всех, кто был при них, погнали к Черному морю. Канцелярия тоже выехала в Новороссийск, откуда, по слухам, должна была переплыть на Крымскую землю. Но «кадеты» кубанских казаков с собой не взяли, для них «не нашлось пароходов».

Казаки повозмущались-повозмущались и вместе с генералом Улагаем подались к грузинам, а потом уже, во вторую как бы очередь, их вывезли-таки в Крым, а вскорости и заграницу. Было много и таких, что сразу же после новороссийского возмущения решили разойтись по домам, понадеявшись, что новая власть не будет горше прежней.

Наши писарчуки тоже надумали пробиваться до родных хат, тем более, что присяги они не принимали, а служили при той канцелярии вроде как бы по своей охоте.

И побрели они просеками и тропками, все больше по ночам, от хутора к хутору, от кошары к кошаре — по большим дорогам идти было «не можно» — они все были заполнены наступающим красным воинством, коего, по словам деда, была тьма-тьмущая, невпроворот, «як бджол»… Шли и шли какие-то серые, кто как, кто в чем — в лаптях, в опорках, обвешанные пулеметными лентами, а то и вовсе без ремней. Казалось, идет вся Россия… Да

что Россия — больше! Шли китайцы, венгры, немцы, и вообще непонятные нероссийские нации…

— Сколько ж треба тех харчей, чтоб прокормить ту ораву? — чесали потылицы старики-хлеборобы. — Сожрут Кубань, всю, як есть сожрут, як та саранча… Не сожрали, ибо богата наша кубанская землица и хлебом и салом. Генерал Деникин друзьям-сюзникам платил за оружие и другие военные припасы кубанским зерном, видно своих грошенят у него было не густо, из простых он был… И гнал пароходы за границу с тем хлебом, и ничего, все не вывез, на всех хватило…

А вот те, кто тайком топал с фронта до дому, хлебнули-таки лиха. В станицы и хутора заходить с протянутой рукой было опасно, с собой — ничего, вот и грызли кукурузные «кочаны» — початки, что кое-где перезимовали на межах и неудобьях. И «кочанов» тех было мало — каждый был в радость. Потом так и прозвали весь этот поход «кочанами», вспоминая о нем, говорили: «а помнишь, на кочанах?».

Через некоторое время после «кочанов» наш Грицко снова пошел по писарской части, сначала у себя тут, в станичном правлении, а потом откомандировали его в станицу Исправную военными писарем. Петро же не захотел никуда ехать и пристроился в отряд местной самообороны. Был такой при станичном совете, его вскорости «чоном» прозвали. Служба не в тягость, абы день до вечера…

Но вот как-то приезжает из города начальство в красных штанах и черных кожанках, высказывает неудовольствие: мирно, мол, вы тут живете — в камышах сидят белозеленые, остатки банды бежавшего в Крым полковника Скакуна, вас не трогают, вы тут в станице сидите, их не трогаете. Не пора ли, мол, что-нибудь придумать?

— И придумали, бисовы души, на свою голову, — сокрушался дед Игнат. И рассказал про эту «придумку»: чтобы поднастроить население против «зеленых», решили под их видом нагрянуть на отдаленные хутора и малость пошарпать казачков. Отобрать у них скотину, какая подвернется, да и барахлом не побрезговать, мол, в камышах сыро и прохладно, нужна кое-какая одежонка, желательно кужухи и одеяла… Все это свезти в условленное место, где другая ватага тех чоновцев, устроив ружейную, а то и пулеметную стрельбу в окрестных местах, явится на те хутора и объявит, что вот, мол, порушили мы «скакунов», и отбили у них ваше добро, заберите, бедолаги, что осталось… Наш Петро попал в первую команду, и поначалу все шло, как было задумано, хоть и задумано было по-дурному. Окружили крайний баз, стрельнули для порядка, проломили ворота и к хате. Грохочут: открывай,

хозяин, обыск! А чи нету у тебя комиссаров и большевиков?

А хозяина дома не оказалось, одни бабы. Заголосили, как водится. Для налетчиков оно, может, и лучше — загнали баб в одну из комнат, подперли двери поленом, и давай шуровать по двору. Выгнали овец, заарканили вожжами годовалого кабанчика, не кричи, милый, иди с нами, казаками, послужи, дуралей, вроде как зеленому братству!

А только так случилось, что в эту же ночь этот же хутор надумали пошарпать и бело-зеленые. Дурное дело, хоть и нехитрое, а любой собаке в радость. Скакуны в буденовках под маркой советской милиции устроили облаву вроде как на пособников контрреволюции.

Услышав шумок на другом конце хутора, двое чоновцев верхами прокрались туда и увидели милиционеров (да еще так много!), кинулись назад и, посоветовавшись, решили по добру по здорову убираться — не объяснять же «чужим» милиционерам, что мы, мол, свои, и вершим-грешим общее дело!

В общем, утекли они из того хутора, и доложили начальству красноштанному все, как было… Начальство, само собой, не поверило. Такого, мол, не может случиться, чтобы там была еще какая-то милиция, вы тут неудачно смахлевали, взяли трех-четырех овец, того кабанчика и надумали не утруждать себя дальнейшими хлопотами. Стали их вызывать по одному на допросы, а пока суд да дело, чоновцы прирезали крикливого кабанчика и благополучно съели его с квашеной капустой под добытую на том же хуторе самогонку. На дурняк, говорят, и уксус, сладкий, а тут — «дурнэ порося»! После этого их уже стали обвинять в мародерстве, что было бы еще не совсем страшным по сравнению с тем, как оно повернулось дальше.

Науськанные «скакунами» хуторяне скоренько отправили в Катеринодар жалобщиков, что вот, мол, местная милиция самохрапом присвоила народное добро, бесчинствовала и отняла у них, хуторян, то, другое, третье. А в конце цидульки опять же значилось несчастное порося и пять овец, что было правдой — никуда не денешься. Из города скороспешно налетело другое начальство, только тужурки у них в ремнях и волосья на голове ежиком.

О чем они там говорили с ранее приехавшим начальством, никто не знает, то начальство в ту же ночь отправили в город, мол, там с ними разберуться, а чоновцев, что участвовали в налете на хутор и незаконно схарчили кабанчика, посадили в холодную и объявили, что злыдни мародеры задержаны и вскорости им будет трибунал и при народно-показательный расстрел. Советская власть не потерпит, чтобы отдельные

выродки злоумышленно позорили ее святую идею.

И хоть правды во всем этом было как у козы хвоста, но все тут было как бы правильно: и злоумышленный налет был, незаконного, хай бы ему черт, порося, действительно съели, и святая идея была явно повергнута в позор и вселенское поношение, а чья шкода — того и грех…

И быть бы нашим хлопцам конченными во имя высшей справедливости, да только охраняли их свои же станичники сотоварищи-чоновцы. Глухой ночью, когда мудрое городское начальство мирно почивало после сытной вечери (главной закуской на которой были прирезанные хуторские овцы), караульщики сбили замки, выпустили еще не осужденных, но уже приговоренных казачков, да и сами поутекали кто куда. Как говорят, кто в горох, кто в чечевицу…

Наш Петро, забежав домой, захватил харчишек и сгинул с глаз на несколько лет. А зазря: дня через три от «скакунов» случился перебежчик, рассказавший, как они, «скакуны», под видом милиции потрошили хутора, а потом гуртом, как словно запорожцы, писавшие письмо турецкому султану, сочинили жалобу на местных чоновцев. Красноштанное начальство беспредельно обрадовалось, стало возить того перебежчика по сходам, где он всенародно каялся, и все были довольны, даже «скакуны», так как по людям шел ухмылочный разговор: «ай, какие они, «скакуны», молодцы, как придумали ущучить эту власть!». В народе всегда на любое приключение найдется ухмылка, лишь бы приключение случилось не со мной, а с соседом, и тем более с начальством, власть придержащим.

— Петро же, — рассказывал дед, — раздобыл где-то чужой документ, переладил хвамилию, яка там была, на черти яку — «Брацилов», комар носа не подточит. Не зря писарювал и был трошки грамотным… С этой бумагой Петро явился в Исправную к дружку Грицку, рассказал ему про свои нелады. Грицко долго не думал, а записал Петра себе в помощники. Так они писаревали с полгода вместе, пока на станицу не налетела ватага «зеленых» — в горах вблизи верховых кубанских куреней лютовали осколки повстанческой армии генерала Хвостикова. Сам генерал после угалаевской конфузии ссыпался в Крым, но немало было таких, что поостались — в горах места много!

Наскочили бесхитростно, среди светлого дня, обстреляли милицию, сельсовет. Ну, а наш Грицко с тем Брациловым огородами пробрались к церкви, забрались на колокольню, где был для такого случая «захован» пулемет, полоснули раз-другой по налетчикам, и те, увидев, что дело плохо, верхами убрались в места, откуда явились. Напоследок пальнули-таки по нашим

хлопцам из «винта», и одна дурная пуля чиркнула Грицка по затылку, распорола потылицу и срезала с черепа кусок кости с мизинец величиной.

— Еще б на нитку глубже, и поминай, як звали нашего Грицка, вашего батьку, а кому и дядьку… Брацилов перевязал ему голову сподней рубахой, помог спуститься с колокольни и добрести до хаты, где они квартировались. Приглашенный «хвэршал» был мастер по простым хворобам, каждодневным порезам, а тут — голова! Но ничего, что-то он там пошептал, что-то покрутил, кровь перестала течь.

Друзья помараковали и решили, что на квартире Грицку оставаться опасно: ночью «зеленая» братва может вернуться добивать недобитых. Что у них в думках — кто знает? А к тому времени, вспоминал дед, хлопцы в станице уже трошки прижились, и Брацилов сходил до знакомых девчат — сестер Агибаловых. Из доброй казачьей семьи — их дед, то ли войсковой старшина, то ли полковник Хоперского полка основал ту самую станицу Исправную. Видно, крепкий был батько-командир, если его стан получил такое значимое прозвание: был бы он захудалым и недотепным, так бы ту станицу не прозвали.

Замужняя старшая сестра Ольга была уже Шевченчихой, а младшая — Марийка, так еще оставалась Агибаловой. Вот наш Брацилов, высвистнув Марийку до перелаза, рассказал, что и как, и попросил устроить Грицка на ночевку. Посоветовавшись с Ольгой и зятем, она согласилась, и Брацилов, когда завечерело, «задами» через сады привел друга к тем Шевченкам-Агибаловым. Раненого попоили-покормили и устроили на топчане, но только ночью рана у него открылась и через бинты стала капать кровь. Марийка привела фельдшера, тот кровь остановил, но сказал, что это, может, ненадолго, нужно ехать в больницу, а это верст за двадцать.

Зять запряг гарбу, Грицка положили на солому, прикрыли сверху, и ранком, чуть свет, Брацилов вместе с тем зятем отвезли его куда надо. Там зашили рану, помазали, посыпали чем положено, и Грицко пошел на поправку. Вскорости он более или менее оклемался и вернулся в Исправную, зачастил к Агибаловым, уже вроде как на правах доброго знакомого, а потом и вовсе «своего».

И разглядел наш Грицко, что та Марийка, хоть и сиротинка без батьки-матери, а девка дюже хорошая, ладная, ловкая, лицом розовощекая. Даже было как-то, что соседские хлопцы, решив, что она свои щеки буряком натирает, попробовали отмыть ей румянец снежком, отчего она становилась еще более цветущей. А поскольку дед ее выслужил панство-дворянство, то ее, сиротину,

приняли в Катеринодарский Мариинский институт благородных девиц, где она проучилась два года — до установления советской власти. Так что дивчина была грамотной, не без гонора, но веселой и работящей… Короче, так Марийка стала невестой нашего Грицка, а потом и жинкой, кому-то из нынешних внучат деда Игната матерью, а кому — родной теткой…

— Вот так оно в жизни и бывает, — рассуждал дед Игнат, — от одной случайности до другой, от несуразности до приключения, дивишься, а сладилось вдруг нечто не совсем дурное… Ну, а Брацилов, пока замещал Грицка до его выздоровления, подружился с отдельским начальством и вскорости перевелся в «Пашинку» (станицу Баталпашинскую, нынче город Черкесск), пристроив вместо себя помощником писаря своего младшего брата Луку, который потом стал нашим кумом, крестив Грицкова первенца…

— И было б у Брацилова спокойная жизнь, — качал головой дед Игнат, — так он, сатанюка, связався в той Пашинке с дюже веселой компанией, яка и довела его до тюряги… А отсидев малый срок за малую провинность, он так и пошел по этой дорожке все дальше и дальше, от одной тюгилевки до другой, пока не пропал вовсе неведомо как, неведомо куда. Последнее, что о нем известно, вспоминал Игнат, так то, что перед войной его брата Луку вызывали следователи и допрашивали, что ему известно про старшего брата, где, мол, он и чем, прости Господи, занимается. Тот, может, чего и знал, да ничего не сказал, потому как сам «писарювал» в судах и трибуналах, и помнил: если знал, да не донес, то будешь отвечать по самой строгости, можешь и срок схлопотать, хлебнуть горячего до слез. Так что он посчитал, что лучше ничего не знать — на нет и суда нет…

Вот такая сложилась нескладная судьба ладного и складного Петра Петренки. Дед считал, что не искал бы тот Петро приключений на свою голову, и будь все кругом покойно, быть бы ему станичным учителем, или, может, хорошим писарем. Не судьба…

А вот то, что скатился он на самое дно, больше его вина. Оно само слово «судьба» от суда идет. Может, рассуждал дедуля, это и есть начало последнего Божьего суда, и человек получает уже при жизни приговор и за свои грехи, и за грехи своих отцов. Так что не такая уж она «слепая» так судьба, и присуждает каждому то, что он сам себе накличет…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,
про то, почему род человеческий не развеялся по

ветру, как придорожная пыль

Был у деда Игната, как он выражался, «шматок» земельки в отдаленном углу станичного юрта, глухая закраина вдоль одной из плавень, многочисленных в наших местах. Дед там сажал капусту, для чего тот «шматок» и был ему в свое время нарезан. Но в смурные военные годы соседствующая с ним и так не очень полноводная плавня пересохла, капусту и другие огородные радости поливать стало нечем, и пока дед был в армии, этот участок у него захирел, стал зарастать бурьяном. Вернувшись со службы, дед выжег сорняки, основательно подправил построенный им здесь балаган, в котором при случае можно было переночевать или спрятаться от непогоды, и по весне засеял как бы бросовую земельку кавунами и дынями: выпадут два-три дождика, и той влаги хватит — баштан много воды не любит.

И вот как-то, через неделю-другую после того, как «кадеты» вернули себе Катеринодар, к деду на его пристаничный хуторок пришла отдаленная («девятая вода от киселя») родичка Прыська и побалакав о разных станичных вестях-новостях, попросила деда посоветовать, куда бы ей пристроить приехавшего к ней племянника, да так, чтобы его мало кто видел месяц-другой, потому как он, тот племянник, при советах работал у них писарчуком, а сейчас, при «кадетах», может под горячую руку попасть туда, куда никому попадать не хочется.

— А что, — почесал дед потылицу, — давай своего племянника, я его утром, еще до света, на баштан отвезу, хай трошки поживет в балагане. Балаган не хоромы, а так — три кола, а сверху борона, но жить там можно. В дождь там сухо, в жару прохладно… А что чи той хлопчик красный, что белый, то его дело, был бы людина хороша, не вертополох який… И отвез он того параськиного племянника на свой баштан, наказав ему по возможности отпугивать волков, повадившихся лакомиться поспевающими к тому времени арбузами. Причем не было случая, чтобы волк расколол еще не созревший кавун. Как он угадывал, красный ли он внутри — неизвестно. Умная худоба, не то, что свинья — дикие кабаны порой тоже делали набеги на бахчи, но сметали все подряд. Больше потопчут, чем съедят — свиньи, одним словом. Но вот на баштан, облюбованный волками, они не ходили, и в том была своя польза от волчьего, можно сказать, попечительства.

Прожив в балагане на дальней царине (так казаки иногда называли земельные участки не совсем свои, запаханные не в счет пая) до первых морозов, племянник «ссыпался» в Катеринодар, а потом, по слухам, подался к «зеленым» в Черноморье… Такая у

него была планида — не сидеть же ему вечно на чужом баштане…

А на следующий год в балагане поселился Омелько Горбач, тот самый, что приблудился к казакам-оружейникам на станции Лиски. Он «ховался» от советской власти. Удержавшись от участия в красных и белых войсках и бандах, джерелиевский казак по веселой пьянке оказался втянутым в улагаевский переполох.

А сманил его никто иной, как «свояк» Василий Федорович Рябоконь, тот самый, с которым Омелько познакомил нашего деда летом семнадцатого года в Катеринодаре, когда они сдавали в «чихауз» оружейную мастерскую. «Чего, мол, ты будешь отсиживаться, да мы сейчас этих краснюков в землю втопчем, а не втопчем, так пощекочем за будь здоров! А там, глядишь, и сам Врангель с моря шарахнет, опять же с Дона обещали подмогнуть… Да и наши кубанцы, мол, поднимутся…». Черта с два: ни те, ни другие не пошевельнулись…

Правда, поначалу выступление высадившихся в Ахтарях улугаевцев шло с нарастающим победным успехом, но получив под Тимашевкой встречный удар, они так же скоро откатились к Гривенской, а потом и к Азовскому морю. Много казачков подалось тогда с Улугаем в Крым, но немало и осталось. И не все, кто остался, разбрелись по домам, были и такие, что ушли в камыши, к большим и малым батькам-атаманам. Чтобы отсидеться до лучших времен — авось, мол, и на нашей улице будет праздник. Остался в плавнях и Васько Рябоконь, а с ним не один десяток его дружков-земляков. Наш Омелько надумал «тянуть до родной хаты», война ему уже давно наобрыдла до умопомрачения. Рябоконь его, как и других, не держал.

Добравшись до своей Джерелиевки, Омелько по совету родичей решил на некоторое время «потеряться», не мельтешить перед очами недоброжелателей, и выбравшись в Катеринодар, где у него были, как он говорил, «свояки», пристроиться на какую ни то работенку. А там видно будет…

Зайдя переночевать к нашему деду, он к утру занемог, и провалявшись в лихорадке дней пять, настолько ослаб, что выпускать его в дорогу по дедову соображению было «неможно». Он отвез Омельку на свою царену и, снабдив харчами, велел отлежаться и набрать силу, мол, какой из тебя городской работник, одна кожа да кости… Недели через две Омелько исчез из балагана, по всем признакам — своей волей, «самочинно»…

Однажды в те годы дед Игнат по хозяйственной нужде побывал в Катеринодаре и по обычаю заехал к дядьке Охриму. Встретил его, как и положено быть, дворовый страж, свирепый пес Сирко, заросший сивой шерстью и злющий, как сто волков.

Отгоняя собаку, дядько Охрим сетовал:

— Что он у нас такой дурнобрех! Не собака, а просто сатана неугомонная. Ему все равно на кого гавкать, что на своего, что на чужого. Кто мимо двора не шел бы, не ехал, он тут как тут… На самого генерала Покровского якось так заливался, что тот коня пришпорил. Ну, думаю, сейчас прикажет порешить собаку-злодияку, а заодно и хозяину всыпать плетюганов… Да что на Покровского: тут верховодный комиссар Троцкый был в Катеринодаре, на Улагая поднимал большевицкую силу, а сам жил в вагонах на Черноморце (т.е. на Черноморском вокзале ныне станция Краснодар 2-й), и каждый день на моторе в город проезжал по нашей улице. А Сирко, клята его собача душа, за версту чуял, что едет начальство, выбегал за ворота и ждал того комиссара, як почетный караул… Так что ему все равно, на кого гавкать, что на генерала, что на комиссара. На комиссара, может, и сподручней, он на автомоторе чешет по своим заботам, а то интересно не только собаке. Я б, может, тоже на него погавкал бы, та кто ж мне даст: нема у меня такого собачьего права на начальство шоб гавкнуть раз-другой…

Справив свои продажно-покупные дела, дед Игнат пошел в войсковой храм — Лукьяновна наказала поставить свечку Пресвятой Богородице, а от себя притулил огарок преподобному Ерофею — он считался покровителем казаков-конвойцев, ну и конечно же, другим каким угодникам, что подвернутся, без разницы, на всякий случай, авось в чем помогут… И на самой паперти ноздря в ноздрю наткнулся на Омельку Горбача. Как говорится, еще не успел шапку снять, не успел лба перекрестить… И хотя тот подстриг усы и обрезал свою лихую чуприну, дед его сразу узнал, да и тот не стал заноситься. Как водится, «поручкались», и слово за слово Омелько рассказал, что он теперь, можно сказать, расказачился, забился в городскую жизнь и вертаться в станицу не думает, даже жинку перетянул в Катеринодар — работает в буфете на железной дороге. Сам же он — бери выше: в красили подался, вместе с такими же, как он сам, веселыми хлопцами-вертопрахами крыши красит. Зарабатывает — на хлеб да на сало хватает. А главное — никто не завидует, работа хоть и верховая, но малозаметная.

Больше наш дед Игнат того Омельку не видел, может, он и выжил в крутых передрягах последующих тридцатых годов. Городских коллективизация так не тряхнула, как станичных, хотя и их задело то, что называлось словом «саботаж», и голодомор, и высылка, и все остальное. Советская власть мало кого не доставала. Ну, дай ему Бог всего благополучного, парень он был хоть и любопытный, но без падлючества.

— А Прыськин племянник, — вспоминал дед Игнат, — проявился через немало годов и совсем с другого боку.

И рассказал, что сын его младшего брата Касьяна, а для нас — дедовых внуков, стало быть — двоюродный дядько, Андрей Касьянович, царствие ему небесное, в конце последней германской войны бился с японцами на китайской земле. Был он шофером на американском «Студере», а вот гаубицу «тягал» нашу, российскую.

И надо ж было такому случиться, что уже после того, как все японцы, не выдержав нашей силы, посдавались, кое-где из укрепленных дотов отстреливались самураи-смертники, что говорится, до последнего. Чтобы на том свете попасть в вечное блаженство, такой самурай должен был погибнуть в бою за своего микаду-императора и уложить как можно больше врагов — для собственного счастья. Вот он и шпарит из пулемета, клята его душа, до последнего патрона, а последний, если он оставался, конечно, живым — для себя. Ну, а чтобы тот смертник ненароком не уполз из своего дота, его приковывали к пулемету цепью, как злого барбоса.

Наши же, стараясь нести меньше дурных потерь, громили доты из пушек — у нас в конце войны всего было в достатке, и пушек, и снарядов, и боевой сноровки.

И вот как раз такой смертник-самурай и чиркнул пулей нашего Андрия в тот момент, когда он разворачивал гаубицу на прямую наводку. Пуля, она ведь дура, давно известно — нет, чтобы мимо пролететь в белый свет, как в копеечку, так она, скользнув откуда-то сбоку, прошила солдату левую ладонь, да так, что все пальцы вывернулись назад, хоть плачь, хоть лайся. Андрий, понятно, больше лаялся, что делу была какая ни то подмога. Ну, чтобы он не остался вовсе без пальцев, отвезли его сначала в медсанбат, а потом и в госпиталь — руку спасать. Ничего, вправили что куда следует, лишнее вырезали (у хорошего портного всегда остается лишний лоскут), остальное закрепили, забинтовали, лежи, боец-ухарец, до свадьбы заживет!

А обходы в госпитале делал врач-профессор, доктор по костям и, может, сухожилиям, или что-то там в таком же фасоне. У них, у ученых докторов, на каждый глист свой специалист, на каждое ребро — свое мурло. Что, скорее всего, на пользу: кто-то должен же про те ребра знать все секреты до тонкости, до мелкой мелкости… Вон святые, говаривал дед Игнат, и те, не глядя на их всесвятую благость, тоже специализируются: кто по хворям, кто по коням и прочей худобе, кто по грешному воинству… Даже, прости Господи, у воров, и у тех есть свой небесный покровитель, видать, знаток этого дела. А лекаря все же люди, не святые, им

всего про все не постичь…

Так вот, этот доктор-профессор, присмотревшись к нашему Андрию и порасспросив его, признал в нем станичника-родича: он, оказывается, и был тот самый Прыськин племянник, что спасался от «кадетов» на дедовом баштане. Он, правда, Андрию не стал вспоминать про баштан, об этом рассказал Андрию дед Игнат года через три, когда тот вернулся с войны, целым и невредимым, при живой голове, на своих ногах, и пальцы на его руке работали исправно, слава за что дохтурам-хвершалам…

— Вот оно как бывает, — вздыхал дед Игнат, — гора с горою не сходятся, а человек человека когда-нибудь, да находит. Мертвых находят, а жива душа, глядишь, сама объявится… И что только не разделяет людей — и злоба, и случай, и война, и версты, а все одно — сходятся, сбегаются до кучи… Может, от того и род человечий не пресекся, и происходит то, что было, есть и будет… А иначе — разбрелись бы кто куда, и развеялись бы, как на ветру придорожная пыляка…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, про казака Васька Рябоконя — «камышового партизана»

Была у нашего деда Игната одна байка, которую он рассказывал редко, и не только из-за привитой обстоятельствами осторожности, но и из опасения, что мы, его внуки, «шось нэ так» поймем, ибо события, о которых в ней шла речь, однозначному толкованию не поддавались. Главной персоной этих рассказов был его случайный катеринодарский знакомый Васько Рябоконь, прославившийся в теперь далекие двадцатые годы как «камышовый» партизан, по оценке советских властей — головорез и бандит, а по знавшему существо дела народному мнению — несчастный бедолага и мститель за кровавую неправду, в те годы чинимую казачьему народонаселению. Мститель подчас жестокий и беспощадный. И страдали при том противостоянии прежде всего простые люди, непричастные к сваре, хотя, может, кому-то и сочувствующие… Да и то, что волку в радость, зайцу — слезы…

— Отож Рябоконь со своею ватагою, — вспоминал дед Игнат, — плыть пароходом в Крым с Улагаем отказался, сказал, что с большевиками у его свои счеты, и он с ними будет воювать тут, в ридных краях, где он знает, кто чого стоит, и кому надо воздать… Его злость к большевикам была понятной. В красно-белой распре воевал он на стороне белых, командовал сотней, но когда «белое дело» на Кубани было проиграно, вернулся домой, считая, что война для него закончена. Но не тут-то было: новая власть стала

отлавливать бывших офицеров и нещадно их «сничтожать». Рябоконь, решив, что напасть эта временная, скрылся в плавнях. Ну, а красная власть тем часом расстреляла в Гривенской одноразно около двухсот человек «классово-чуждого элемента», и в их числе была его престарелая мать. Батько, избежавший той кровавой облавы, был чуть позже на своем базу изрублен в куски пьяными милиционерами. А вскорости непонятно как утонула или была утоплена его жена. Рябоконь собрал в камышах таких же обездоленных и обозленных, и «погуляв» с Улагаем, обосновался на затерянной в лиманах и плавнях Казачьей гряде у самого Азовского моря.

Повстанцы понастроили себе куреней, оборудовали склады, охранные траншеи. Но тут пришло известие, что Врангеля выбили из Крыма, и он увел свою армию в туретчину. Рябоконь собрал сход и сказал: помощи им ждать неоткуда, а война с большевиками будет продолжатся и предстоит трудная, злая и долгая, а потому он предлагает всем, кто не уверен в своих силах, разойтись по домам. Сам же он остается в плавнях до конца, потому как ему теперь терять нечего, остается лишь мстить за кровь родных, близких и боевых товарищей.

— И розбиглись тогда по хатам немало казачков, — говорил дед Игнат, — зато остались все бильше такие, кому деваться было никуда, люди, дюже злы на новую власть, того не понимая, что Бог часто посылает нам ту абож другую власть в наказание.

С этими преданными ему друганами-единомышленниками Рябоконь и разгулялся по округе, прилегающей к его родной станице Гривенской, часто наведывался в Полтавскую, Николаевскую, Чебаркули, «гостил» и в Славянской, где совершил однажды налет на пароход с продовольствием. Побывал в Катеринодаре, где по чужим бумагам на войсковом советском складе получил несколько пудов боеприпасов, якобы для доставки в славянский гарнизон. А для того, чтобы сберечь опасный груз от банды Рябоконя, попросил у начальства сопровождающих. И ему дали! Рябоконь их отпустил с дороги, вручив «пакет для отчета», в котором лежала записка-цидулька: «Хто патроны давав, той Рябоконя видав»…

Плавни, заросшие двухсаженным камышом, и сейчас малопроходимы, а в те годы это был густющий лес, кабаньи тропы в котором и отдельные кочки-островки знали далеко не все хуторяне-станичники, прожившие жизнь на обрывках суши вдоль этого зеленого моря-океана.

Против Рябоконя власти отправляли отряд за отрядом, и все зря. Проплутав по камышовым дебрям, красноармейцы в лучшем случае возвращались ни с чем. Но больше нежданно-негаданно

нарывались на засаду, одну, другую, и зачастую почти поголовно выбивались. Заранее предупрежденный сочувствующими ему станичниками-хуторянами, атаман уходил, где бродом, где плавом в глухие места, либо расставлял своих бойцов так, что они, пропустив колонну, нападали на нее с тыла, с флангов, «из-под земли и из-под воды»…

— Рябоконь оказался хитроумным воякою, — подчеркивал дед Игнат, — он не лез напролом, не шел туда, где его ждали… коли нужно было — таился, и казалось, что его вроде уже нема, и вдруг нежданно-негаданно тихобродом налетал на сонных чоновцев и милицию, и брал их, можно сказать, голыми руками… О подобных его деяниях ходили легенды, они обрастали слухами, и было трудно различить, что в них правда, тем более, что власти часто приписывали ему то, к чему он не имел отношения.

Как-то из Краснодара был прислан довольно большой отряд, специально предназначенный для уничтожения намозолившей очи начальству «банды Рябоконя». Возглавлявший отряд командир предложил «бандитам» сдаться «по-хорошему», и не получив ответа, не нашел ничего лучшего, как организовать в плавни особое шествие: впереди выставили детей, женщин и стариков, нахватанных в Гривенской и ближних хуторах, за ними — местного священника с иконами и хоругвями (по ним, мол, верующие казаки стрелять не будут), а позади — красноармейцы, в гуще которых на пароконке восседал сам верховода начальник. Было объявлено, что за каждого убитого солдата расстреляют не менее 80 заложников…

Рябоконь пропустил это «шествие» мимо своих застав и неожиданно проявился стрельбой поверх колонны. И заложники, и красноармейцы бросились врассыпную. Развернулся наутек и лихой командир. Рябоконь верхом нагнал его и крепко отстегал нагайкой за издевательство над людьми и святотатство — привлечение святых икон на неправедное, пагубное дело.

А тут, как нарочно, разразилась сильнейшая гроза, какие даже в наших краях случаются нечасто. Из черной хмары, как из ведра, полил такой дождь, что вмиг погасил начавшуюся было свару, и ее участники, по словам деда, тут же «охолонули и разбиглись по своим углам»…

Другой раз «батько Васыль» через своих людей узнал, что чекисты устроили засаду на Крыжавском ерике, по которому он должен был в ту ночь проплывать. Установив на лодках чучела, казаки, не доплыв до засады, тихонько занырнули в воду, а лодку пустили по течению. Вскоре она была обстреляна, Рябоконь же с несколькими сотоварищами выбрался на берег и, пробравшись в станицу, расстрелял встретившихся ему чекистов.

Рябоконь запросто посещал проводившиеся местным руководством собрания и сходки, возникал в самых неожиданных местах и жестоко карал партийных и советских активистов, их осведомителей. За его голову была назначена немалая по тем временам награда в две тысячи рублей.

Так продолжалось почти пять лет. От его отряда осталось совсем немного — кто погиб в бесчисленных стычках, кто, не выдержав напряженной таборной жизни «камышатника», сам покинул отряд. Атаман их не держал. Был убит есаул Кирий, от случайного выстрела из собственной винтовки погиб родной брат Рябоконя Осип. А когда была объявлена амнистия добровольно сдавшимся участникам антисоветского сопротивления, на «волю» подались Загубывбатько, Дудка, Просяной… Войну с советской властью продолжало не более десятка «рябоконевцев», но это были люди беспредельно ожесточенные, сознательно обрекшие себя на погибель во имя страшной мести новой власти — их родные и близкие были давно побиты, хаты сожжены, на них самих висел смертельный груз ответственности за борьбу с советами — терять и приобретать им было нечего…

И сильны они были не только своей ненавистью, но и поддержкой тех, кто жил в окрестных хуторах и станицах, и зачастую тоже был обижен большевиками, но в открытую сражаться с ними по разным причинам не мог. Близживущее население снабжало «камышатников» хлебом и солью, а многостайная дичина и неисчерпаемые рыбные табуны могли прокормить в плавнях сколько угодно людей.

Дерзкая же лихость Рябоконя, его способность уходить от преследователей, умение обмануть их и найти нежданный, подчас очень остроумный выход из самого безвыходного положения — вызывали не только восторженное сочувствие, но и порождали легенды о его похождениях и приключениях. Большинство же населения жалело «камышатников» как людей несчастных и обреченных.

Деду Игнату пришлось как-то встретится с тем Рябоконем в степи. Дело было вскорости после улугаевской замятни. Возвращался наш дедуля на своей гарбе из Джерелиевки, куда отвозил бывшему сослуживцу по конвою деревянную ногу — свою он оставил где-то в Галиции. На войне бывает, что человека отправляют на тот свет не целиком, а по частям… Ну дед, стало быть, изготовил ему легкую культю с твердым наконечником, добре продумал крепление, чтобы было удобно и не тяжело. А заодно оттянул на своей кузне два лемеха — все хлеборобу-инвалиду какая ни то помощь. Сослуживец остался доволен, посидели они, побалакали «про жизнь», пропустили по чарке, не

без того. Хозяин оставлял ночевать, да дед решил, что время не позднее и он, пожалуй, дотемна успевает добраться до дому, до хаты…

И вот где-то на полпути он вдруг услышал за поворотным бугром какой-то шум-гомон, и вроде даже бабский. Медведь, говорят, от шума бежит, а человек, наоборот, на шум бежит. Вот и дед, нет чтобы остановиться, переждать, пока там стихнет чужая свара, так он даже подстегнул лошадей и, выскочив за поворот, увидел, что несколько конных окружили гарбу, на которой стояла тетка Лупенчиха (он ее сразу узнал), вдова с соседнего хутора, и что-то кричала, а один из конных, спрыгнув с седла, распрягал у нее коня. Увидев в стороне другую гарбу, дед сообразил, что на его глазах совершается довольно обычное по тем временам дело: ватага решила заменить своего порченного коня на исправного из первой же попавшейся упряжи. Так делали и белые, и красные, и зеленые… И тут же он увидел, что возглавлял ватагу не кто иной, как сам Рябоконь. Поздоровавшись с ним, дед сказал:

— Не дело затияли, Василь Филипповыч: хозяйка, бачь, вдова, муж у нее склал голову на туретчине, а в хате четверо детей, и все — мал-мала… Рябоконь зыркнул на деда, хмыкнул и, почесав плеткой за ухом, крикнул, чтобы хлопцы погодили с перепряжкой.

— Что-то твое обличье мне известно,— сказал он. — Откуда знаешь меня?

— Как не знать… — И дед напомнил, что летом семнадцатого в Катеринодаре их свел свояк, Омелько Горбач, на запасных путях, где казачки разгружали мастерские… Хотел было напомнить про поясок с серебряным набором, за ремонт которого за сотником остался «магарыч», да постеснялся: мало ли чего подумает тот Васько-атаман… Видя, что сотник мнется, не зная, как ему быть с бедной вдовою, дед предложил, раз есть такая нужда, заменить у него одного коня. Хоть и жалко… Рябоконь недовольно отмахнулся:

— Тоже не ладно… И крикнул своим: — Перекиньте с нашей гарбы вдове пару мешков с харчами… хай сирот накормит… Да нашей хромой кобыле будет легче… Ну, бывай, казак! — кивнул он деду и, помедлив, сказал, — А поясок серебряный у меня улугаевский адъютант выцаганил, сказал: для генерала! Так что блестит он сегодня, может, в Париже, может еще где, как память тому Сергею Егорычу Улагаю про нашу Кубань! Вот такая была встреча…

Старался народный мститель Василий Рябоконь не обижать простых людей в своей смертельной схватке с советской властью, но война есть война, и бывало, с его нелегкой руки летели и

невинные головы, а его жестокость была не меньшей, чем та же большевистская…

Рябоконя выдали свои же — по слухам, бывший его сотоварищ Загубывбатько. Правда, говорили еще, что тропу в камышах указал пастушок, у которого спутники Рябоконя забрали телушку.

— Да только то бабьи сказки, — уверял дед Игнат, — для отвода глаз. Скорей всего, выдал его Загубывбатько, не зря у него было такое прозвище.

И дед в опровержение того «бабьего слуха» говорил, что когда Загубывбатько умер, то на его могиле долго гавкал черный бродячий пес. Не выл жалобно, как это бывает по доброму хозяину, а именно лаял, злобно и надрывно.

Милиционеры сумели незаметно подобраться к стоянке Рябоконя и первыми же выстрелами перебили половину привыкших к удаче «камышовых партизан». Сам Рябоконь был ранен в обе руки и не смог путем сопротивляться…

Дед Игнат не забывал упомянуть, что когда Рябоконя везли через станицы, то люди снимали шапки, а то и бросали в его гарбу охапки цветов — белых дубков, расцветающих как раз по осени, и чернобрывцев с панычами, усыхающих еще летом, но в тот год почему-то красовавшихся до первых снегов.

А еще говорят, что когда конвой приближался к Полтавской, откуда-то из тернов выскочила снежно-белая лошадь, незануздданная, с распущенной гривой и длинным хвостом. Она сделала круг вокруг печального обоза и также нежданно скрылась, как до того возникла. И сопровождавших сотника милиционеров охватил такой ужас, что они чуть было не разбежались, да только та красавица-лошадь больше не появлялась…

Доставленный в Краснодар, Рябоконь на допросах не выдал никого их живых своих сотоварищей, наотрез отказался подавать прошение о помиловании и вступлению в Красную Армию, где ему обещали хороший чин.

— Отож вскорости его там, в тюрьме, и убили, хай пухом ему будет земля, — говорил дед Игнат. — Все ж уважили, расстреляли, а не позорно повесили, как те ж «кадеты» в Святом Кресте пхнули в петлю казака Ивана Кочубея, когда он, попав в плен, тож отказался от должности в Добрармии. А вояка был умелый… И дед сокрушенно качая головой, со вздохом вспоминал, что тот же Кочубей был тоже не только умелым, но лично храбрым (на Турецком фронте трех Георгиев отхватил), но и столь же беспощадно жестоким, сам рубал не только врагов, допустим, тех же «кадетов», но по случаю и не понравившихся

ему своих же начальников — красных командиров и комиссаров. Сам палил церкви, и даже сжег станицу, и может, не одну…

— Отож его Бог, мабудь и покарал… Так что крепки были казаченьки и у красных и у белых, то надо признать. Отож, может, и мордобой был таким нещадным и кровавым… А в народе еще долго ходила молва, что Рябоконь каким-то чудесным образом избежал казни. Спасся… И его не раз и не два видели уже после войны то на краснодарском Сенном рынке, то на базаре в станице Славянской. И видевшие его клятвенно утверждали, что то был именно Рябоконь, и никто другой. Да и кому другому тут быть, если Рябоконь был один такой, и другого быть не могло…

— Народ брехать не станет, — говаривал дед Игнат. — Отож, раз кажуть, что он жывой, то так оно и есть. Точно, — ухмылялся дед, — как сто баб нашептали.

И было видно, что дед Игнат очень хотел, чтобы все было так, как «нашептали сто баб». Дед любил истории со счастливым концом.

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, про муху в камне и зверя в человеке

— Отож кажуть, что люди от обезьян народились, — с усмешкой философствовал иногда дед Игнат. — Оно, может, и так… Только откуда обезьяны в наших краях? А вот другого какого зверья — сколько хочешь…

Может там, за границей, рассуждал он, где живут обезьяны, и людей, похожих на них, поболе… Но только он видел на картинке самого Дарвина, главного обезьянщика, так он весьма благообразен и скорее создан, как прописано в Святом Писании, «по Божьему образу и подобию». Очень представительный господин, при апостольской бороде, и очи у него — человечьи…

У нас же люди разные, есть такие, что и на обезьян смахивают, но больше на других каких зверей. Видно Бог, когда лепил Адама, пользовался теми же инструментами, что и при создании прочих тварей, так называемых «меньших братьев наших». Только почему они «меньшие», если появились на свет раньше человека? Скорее уж «старшие»…

Есть, правда, у нас и такие, что «по образу и подобию». В основном, «по образу», а чтобы «по подобию» — редко. Эти сразу в святые попадают, их так и называют — преподобные. Обычные же люди-человеки пробуют иногда вроде как бы по ним равняться, жить по-божески, есть, которые усмиряют в себе своего «животного»-зверя. Кто как, но все не в охотку… И люди с

подозрением относятся к тем, у кого звериной природы меньше, кто выделяется из человеческого стада, умом ли, совестливостью. Оттого, может, среди святых все больше мучеников и разного рода обиженных, убогих и юродивых.

И дед Игнат по этому поводу вспоминал историю, которую ему поведал когда-то двоюродный племянник, в гражданскую войну служивший в пластунах. Он был потомственный пластун, его батьки и деды ходили в пластунах, а нужно сказать, что в старину в пластуны отбирали наиболее хитрых, смышленых и крепких духом казаков, не то, что в последнее время, когда в эти батальоны направляли без лошадных, а то и вообще иногородних, и часто в пластунах оказывались непонятно кто, какого рода-племени и откуда… Но это так, к слову…

Так вот, по рассказу того племянника к ним на фронте как-то пришло пополнение, и среди новиков в их сотню был определен один «дядько» — уже в летах и какой-то хмурый. Его так сразу и прозвали — «Хмурый». А у того, значит, Хмурого, на пальце был перстень со светлым солнечным камнем, а камне том, прямо внутри сидела муха. Небольшая, правда, мертвая, но самая что ни на есть заправдишная. Как объяснял один из офицеров, тот камень был стародавней и накрепко застывшей смолой. А муха туда попала тыщи годов тому назад, ее обволокло смоляным соком, который затвердел, потом и вовсе окаменел, и муха те перь всем на удивление оказалась навсегда замурованной в прозрачном камне. Вот такое чудо… Ну, может, если поверить объяснению начальства, не настоящее чудо, но все же…

Пластуны чмокали губами и сами себя спрашивали, к чему такое событие — к добру или не к добру, а может — просто так, умным дуракам на рассуждение, а простым — на удивление.

Но не успели как следует порассуждать-поудивляться, как мрачный пластун с тем перстнем на руке вдруг ни с того ни с чего посоветовал одному казаку отписать до дому прощальное письмо, потому как завтра к вечеру по нему будет спета панихида, яко по воину, живот свой положивший за други своя, царя и отечество… Тот отмахнулся, иди, мол, к такой маме, у каждого своя судьба, и нечего ее торопить, а чему быть, того не миновать, и когда кому что предстоит, то ведомо только одному Богу… В общем, писать домой прощальную цыдульку наотрез отнекнулся, мол, можно и накликать. Не поверил мрачному предсказанию. А только зря, на другой же день, будучи в дозоре, схлопотал-таки шальную пулю, неведомо откуда взявшуюся, и вечером его, как и предсказывал хмурый пластун, вкупе с другими убиенными, благополучно отпели.

А через неделю точно такое же приключилось с другим

казачком, потом с третьим. Тут уж братцы-пластуны зашептались, видать у Хмурого есть какая-то неведомая сила знать человеческую судьбы, кому что на роду написано, а главное — предвидеть пределы человеческой жизни… Поначалу решили, что сила та у него от мухи, что запаяна в камне. Тем более, то муха та очень древняя, может, еще до Исуса Христа обитавшая на не дюже тогда грешной земле. И надумали ту муху потихонечку выкрасть и поглядеть, не лишится ли Хмурый своей предсказательной мощи. А у казаков-пластунов если что решено — считай сделано. В первый же банный день двое молодцев обхаживали Хмурого, мылили ему спинку и все такое, один, что называется, сидел настороже, а двое быстренько перерыли форму-одежу того чудесника, выпотрошили из нее перстень с мухою и для верности закопали его под сухим деревом… Погоревал-погоревал Хмурый о потере, а на другой день или же на третий, бисова его душа, посоветовал одному казачку писать домой прощальное письмо… Помолясь, тот письмо отписал, а друзьям-сотоварищам сказал, что муха тут не причем, во всем виноват сам Хмурый — он, видать, таким способом отводит смерть от себя…

Муха оказалась действительно не причем — казака того похоронили, как и предсказал Хмурый, а по пластунам пошла безысходная грусть, если не сказать, пагубная душевная Нудьга-печаль — все вдруг почувствовали, что живут они на этом свете временно, дюже временно, а судьба их находится в чьих-то руках, и тебе, грешнику, остается только смиренно ждать, вот-вот она откроется… И когда в ближайшую неделю другую сотня производила разведку боем, то единственным убитым в ней оказался Хмурый — несколько пуль прошили его, как можно было судить, единовременно, и все из тыла — пластуны, не сговариваясь, всадили их в осточер тевшего провидца, как только поступила команда открыть огонь по противнику…

И как говорил племянник, никто не жалел убиенного, и никто не раскаивался, всем стало как-то легче, привычнее… Все знали, что идет война, кто-то погибнет, на то она и война. Но вот кто — когда, этого знать не нужно. И даже вредно, ибо мешает обыденному, свычному ходу каждодневного бытия.

— А вот как вдуматься, — вздыхал дед Игнат, — то у того Хмурого было нечто от святого, да только людям оно было ни к чему… И дед Игнат полусерьезно, полушутливо заканчивал разговор о происхождении человека рассуждением, что скорее не люди произошли от обезьян, а наоборот… Созданные по образцу и подобию, люди-человеки помаленьку вырождаются, дичают, звереют. Сначала душевно, теряют совесть, стыд, а затем и внешне. Есть же в горах дикие люди, волосатые, и есть которые с

хвостиками. От них недалеко уже и до обезьян… Да и к старости мало кто из людей улучшается, большинство превращается в черти что… Какие деточки-ангелочки, молодята-ангелята! А старые! Глядишь, идет тебе навстречу, ну обезьяна обезьяной! И Господь потихоньку их прибирает, а то если задержатся подольше, станут страшнее тех чертей…

— Я так думаю, — говорил дед, — что та контора… ну, что на небе… — Небесная канцелярия! — Эгэш… Так вот она и работает без брака, и коль нам покажется, что что-то не так, а то и вовсе горько и несправедливо, так может, было б еще горше, еще хуже. Это и есть милость Господня, что было б еще хуже… Ну, а муха в камне, так то не чудо… у каждого из нас внутри сидит своя муха, а то, глядишь, так и оса. Только не каждый про то знает… да и не хочет про то знать…

БАЙКА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, про медведика, который «знал меру», и немного про мировую

Чего не любил дед Игнат, так это пьянства, да и пьяных тоже. Нет, он не был абсолютным трезвенником — горилку ценил, но в разумной «плепорции» и в разумной компании. Больших хмельных сборищ недолюбливал, а уж в старых годах на всяких свадьбах, поминках, старался не участвовать, а если «отнекнуться» не удавалось, то вовремя смывался с них. И не было случая, чтобы он возвратился «до дому, до хаты» не то что без шапки, а даже на нетвердых ногах — потому как знал меру, и если пил, то для удовольствия, а не для похвальбы, или как часто бывает — «за компанию».

Уважал тех, кто, говоря попросту, умел по-деловому исполнять это пьяное дело, то есть опрокидывать стопку, не кривясь и не смущая собравшихся благонамеренными словами о вреде хмельного зелья, и не хлобыстал его до безумия, умел вовремя остановиться. Помнил, что по общему понятию, горилку не пьет «людина хвора» или же «подлюка»…

С усмешливым уважением вспоминал о необъяснимой способности дядька Микиты Хвоменка пить хмельную отраву не хмелея, пить ее без меры и определенного конца — пить, «як гуси воду». То был особый случай, особая способность, если не сказать — талант, данный тому Миките от Бога. Как, скажем, кого-то Господь наградил необыкновенной силой, или, допустим, необычайной хитростью, в общем, чем-то не только оригинальным или, в значительной степени, но — полезным. К примеру, умение двоюродного племянника Тимохи шевелить

правым ухом он за талант не считал: какая польза от такой, прости Господи, способности?

Рассказывая о необычайном таланте дядьки Хвоменка, дед Игнат непременно вспоминал медвежонка по имени «Мышко», которого дядько Микита приучить пить вино, поначалу сладкое, а потом и горькое. Забавно было поглядеть на хмельного «медведика», потешиться его выходками. Так вот, Мышко точно определял свой конечный порцион, сверх которого ни за что не «потреблял», как бы его не ласкали, наливая самые соблазнительные наливки и настойки, медовухи. Медвежонок по достижении одному ему известного предела презрительно фыркал, мотал своей большой головой и отправлялся спать в сараюху на задах хвоменковского база.

— Ведмедь — животина природна, — говаривал дед Игнат, — и потому знал, что почем, и сверх того не позволял… Не то, что иной наш брат, особливо из молодых… Привез как-то дядько Хвоменко из города родича, какого-то дальнего, как у нас говорят, «через дорогу навприсядку», не то троюродного племянника, не то четвероюродного внука Ванька. И был тот Ванёк фельдшером — прапорщиком военного времени. Он хорошо воевал на турецком фронте, был определен в военно-фельдшерскую школу, и вышел оттуда «прапором», чем очень гордился, не хуже, чем дядько Хвоменко своим гильдейством: «я теперь, мол, пан, и жить должен по-благородному», или, напоминал дед Игнат присказку: «Отчини, жинка, поширше двери, я по-паньски плюну!».

Оно все ничего, ну пусть прапорщик, пусть уже немножко пан, и все такое, да только тот фельдшер больно уж был привержен к хмельному питию, и меры той самой не ведал, не знал. Дядько Хвоменко и встретил его в каком-то катеринодарском духане, где тот обмывал ненароком подвернувшийся отпуск. Чарочка за чарочкой, и наш «гильдейский дядько» выяснил, что Ванько ему родич и пригласил к себе в станицу погостить, на что тот фельдшер-прапорщик и согласился, имея в виду, что погулять-попировать надурницу у неожиданно свалившегося на него родича будет куда дешевле, чем, допустим, в городских кабаках-духанах.

Дядько же имел на него далеко идущие виды: родич был фельдшером, почти что «дохтуром», и Хвоменко решил, что он сможет помочь ему «облаштувать» (осуществить) задумку-забаву «душевного» свойства. Дело в том, что он, тот наш дядько, носился тогда с затеей вставить медвежонку золотой клык — мало того, что Мышко горилку пьет, как заправский казак, так у него, как у того же, допустим, статского советника, или какого ни

то асессора зуб из червонного золота! А?! То-то, знай наших…

Однако прапор Ванько, осмотрев медвежонка, сказал, что во-первых, это дело непростое, не то, что вставить зуб, пусть даже золотой, допустим, в борону, а во-вторых, медвежонку, поскольку он растет, зуб тот придется менять через каждые полгода, так что лучше погодить, пока Мышко не придет в должную зрелость, и тогда, в чем делов-то! — он, прапор, организует все в лучшем виде. Хвоменко, при недолгом размышлении, принял его доводы к сведению, а пока стал регулярно бражничать с тем родичем и медвежонком, бдительно следя, как он, медвежонок, продвигается в зрелое состояние, и коль скоро его можно будет украсить золотой пастью…

Фельдшер вскорости сошелся с местными, станичными выпивохами, и стал ходить к ним на посиделки, каждый раз прихватывая с собой пьющего медведика — с одной стороны вроде как бы на показ, а с другой — как надежного сопровождающего, с котором не страшно было по пьяному делу заблудиться в малознакомой станице: Мышко дорогу домой находил безошибочно.

И вот однажды тот фельдшер в очередной раз загулял у новоявленных друзей совсем, как ему казалось, близко от подворья дядьки Хвоменки, и когда Мышко, достигнув своей, скажем так, кондиции, стал тянуть его домой, отпустил медвежонка в надежде, что он сам не заплутается в станичных переулках и все будет путем.

Веселая пирушка продолжалась допоздна. Было немало выпито, немало сказано и немало спето, как это водится в таких случаях. Под конец разговор зашел о чертях, ведьмах и другой нечисти, и нашего Ванька на полном серьезе предупредили, что старуха Василиха, соседка его родича, старого Хвоменка, чистопородная и весьма хитрющая ведьма, это в станице доподлинно известно каждому, и чтобы он, боевой прапор-фельдшер, почти что настоящий хорунжий, знал это и стерегся ведьмы Василихи, потому как мало ли чего, ведь тут недалеко и до большой беды, до большого греха, тем более, что, как известно, ведьмы любят шутковать именно с военными людьми…

Ванёк, расправляя усы, лихо ответствовал, что знает он ту Василиху, не такая уж она и страшная, как, к примеру, молодой бугай, что целыми днями пасется у нее на задворках. А с ведьмами у него разговор короткий, что он на турецком фронте и «не таких бачил», и вообще, про их, ведьмины чары, брешут больше, чем следовало бы для связки слов и остроты разговора. Тем более, что ведьма Василиха стара и немощна, едва-едва переступает ногами, ему же, прапору Ваньку, по душе больше

молодые ведьмачки, чернооокие и веселые, жаль только, что случая такого нету, а то бы он показал, на что способен казак, особливо фронтовик и особливо грамотный, у которого голова не бурьяном засеяна.

Выпив еще по чарочке, теперь уже за чернобровых ведьмачек, компания разошлась, и наш Ванек неспешно, как и следует настоящему вояке-прапору, побрел по широкой станичной улице. Ступал он не очень твердо и частенько помогал себе, хватаясь за хозяйские плетни и останавливаясь у каждого мало-мальски приметного столба или дерева. При этом он хмыкал, вспоминая разговоры про нечистую силу и местных ведьм. «Наплетуть же такое…» — бормотал он, чувствуя на душе какую-то не только пьяную смуту.

И вдруг на воротах соседки Василихи он явственно увидел прибитого гвоздями, прости Господи, черта! Ванек в ужасе закрыл глаза и не раздумывая, выхватил револьвер и несколько раз пальнул по нечистой силе, которая тут же исчезла, как вроде ее вовсе и не было. Из-под ворот выскочила черная собачонка, покрутилась у ног прапора и тоже пропала…

Ванек, придя в себя, завернул в переулок, и вскоре оказался у заветного сарая, где обитал его друг Мышко и с которым он уже не раз коротал остаток ночи, когда по гульбе задерживался допоздна. Дверь была приоткрыта. Прапор проворно шмыгнул в спасительное, как ему казалось, обиталище, в полутьме увидел — Мышко спит на своем месте, скинул чоботы и зарылся в солому под боком у зверя. Было тепло и покойно, «пан-фершал» мало-помалу успокоился, и вскоре блаженно уснул, совсем не предполагая, что приключения его далеко не кончились. Часа через три, на самом раннем рассвете он сквозь дрему почувствовал, что «Мышко» с сопением нюхнул его ухо, выпустил воздух в лицо и, чего казацюга никак не ожидал, смачно лизнул слюнявым шершавым языком прямо по губам.

— Тю на тебя, — пробормотал прапор, пытаясь оттолкнуть медвежонка, но рука его неожиданно ощутила короткий, совсем не медвежий рог (откуда у того он мог быть?). «Черт! Опять черт!» — похолодев, сообразил прапор, поджимая ноги. И не долго думая, достал свой верный пистоль и в упор выстрелил в нечистого. Выстрел был только один — остальные патроны Ванек спалил по воротам еще ночью…

«Черт», озверело мэкнув, кинулся в двери и «хвершал» в их светлом проеме увидел рябого бугая-бычка соседки-Василихи, бычка, которого он не раз наблюдал щиплющим травку в знакомом ему переулке, и которого всегда обходил — так, на всякий случай...

А дело все в том, что впопыхах и по нетрезвому состоянию Ванек ночью завернул не в хвоменковскую сараюху, где бывало ночевал с другом-медвежонком, а в Василихину, стоявшую в том же переулке, только чуть ближе…

Друзья, правда, потом за чаркой терновки объясняли, что тут не обошлось без ведьмачества Василихи: это она, и никто другой, нагнала видение и черную собаку, от которых была прямая дорога на ее, Василихин, телятник… Ванек теперь не куражился: «черт его знает, может, оно так и есть… А может, по пьяне показалось семеро в санках…»

Оно и правда: чего не случится с выпивохой, не знающего меры в своем увлечении. Впрочем, особенно куражиться прапору было уже некогда, у него кончался отпуск и он дня через три, устроив друзьям «отвальную», уехал, может, на край крещеного света, потому что больше в станице его никто не видел. Прошел, правда, как-то слух, что в гражданскую «чертоскубию» он якобы оказался не то в «зеленых», не то в какой-то банде, но то — слух, а не всякому слуху можно верить, мало ли чего люди набрешут: брехать — не солому жевать, в горле не защекочет…

Дядько Хвоменко любил посидеть за чаркой. Хотя друзья и родичи разбежались по войне, станица обезлюдела, но выпить всегда находилось с кем, а когда не находилось, то рядом был Мышко, и старый, «рэпаный» казак бражничал с ним, благо тому всегда можно было излить душу, рассказать то, что другому даже по пьяному случаю особенно не доверишь…

Мышко оказался отличным слушателем и ненавязчивым собутыльником. Ни на одной пирушке он не позволял себе лишнего — ни в питии, ни в поведении. Он не лез целоваться и не вопрошал об уважении, а если и выражал свое удовольствие, то только ласковым ворчанием. Любил же он закусывать, как и его хозяин, вареными раками. Дядько Микита «высмоктывал» доступное его перстам рачье нутро, выковыривал «шейку», остальное, урча, поедал Мышко, доедал с хрустом все подряд, не разбирая, где у рака ножки, а где — «рожки». Хозяйственный Хвомэнко был рад, что «добро не пропадало», Мышко трапезовал во всю ширь медвежьей натуры…

И длилось бы такое блаженное житье очень долго, да не бывает бесконечного счастья. Вот и тут: гильдейский купец Микита не забывал свою задумку осчастливить родного медвежонка золотым зубом, и однажды по осени привез из города очкастого «дохтура». Тот, отоспавшись с дороги, на другой же день исполнил заказ и «умотал» в Катеринодар, получив договоренную мзду и в придачу полугодовалого «порося», знай, мол, наших не поминай абы как, а тем более — лихо…

Мышко долго не мог отойти от операции, а оклемавшись, стал совсем другим: людей сторонился, и даже к хозяину, раньше безоговорочно любимому, не приходил, не откликался на зов. Все больше лежал на соломе в своей сараюхе, думал нелегкую медвежью думку. Ел мало и без всякой радости. А главное, наотрез отказывался от подноси мой ему черепушки с вином, презрительно отводя от нее кудлатую голову, а иногда и попросту переворачивал ее, проливая содержимое.

Как понимал дядько Микита, медведь запомнил, чем его пользовал «дохтур», когда одурманил перед тем, как надеть золотую коронку, и спиртное для него теперь понималось не иначе, как начало постигшей его беды. Золотая же коронка, насаженная на природный зуб, вызывала если не боль, то наверняка неприятный зуд. Тут бы по понятиям Хвоменки и следовало бы «принять», но вино пахло «дохтуром» и Мышко его отвергал.

— Отож так бывает, — рассуждал дед Игнат, — когось думают осчастливить, а получается наоборот, одна пагуба. Ну на что ведмедю золотые зубы? Ему что — с трибуны балакать? А все дело в том, что Микита Хвоменко думав совсем не про счастье своего ведмедика, а хотел перед людьмы выделиться, мол, смотрите, какой я цикавый, у меня худоба ходит с золотыми зубами, мне же, рэпаному казаку, ваши паньски выкрутасы до бугра, я и без них особливый, гильдейский, можно сказать — сам по себе, туз поперед крапленых валетов… Мышко между тем исхудал и озлобился. Разогнал раньше друживших с ним собак, одну даже покалечил, а дядьку Микиту как-то цапнул за руку и слегка прокусил золотым клыком, при этом подарил ему такой взгляд, что не оставалось никаких сомнений — медвежонок возмужал и становится зверем.

Дядько Микита решил снова связаться с городским «дохтуром», чтобы тот снял у него коронку, а медведика потом от греха спровадить в какую ни то «зверницу».

И тут перед его очами вдруг предстал морячок, бывший его работник, грузчик на барже. Призвали его в начале войны на цареву службу, определили на флот, само собой — Черноморский, где он и прокантовался почти два года, был послан с командой в командировку, потом в госпиталь, и сейчас с каким-то отрядом возвращался к месту службы, да только отряд застрял на станции — «нема вагонов».

Отряд веселый и весьма боевой — все сплошь анархисты и эсеры, но все за мировую революцию, и это их держит вместе. Дядько Микита не имел привычки чураться старых знакомых, поговорил он с гостем «про жизнь», выпили они по черепушечки,

и когда морячок узнал, что у «рэпаного казака» незадача с возмужавшим и обиженным медведем, принял это событие, что называется к сердцу. Перво-наперво он убедил Хвоменку не сдавать худобу в зверинец: «не можно, бо то тюрьма», и что животина не совершила ничего такого, за что ее следовало упекать за решетку…

— А шож ж робыть? — сокрушенно спросил «рэпаный казак». — Очень просто, — ответил гость, — подари своего Мышка нашему отряду. Ему самое место у нас, потому как медведь и мировая революция, цэ так здорово! Як кажуть, нашему козырю в масть! — А что как он не захочет? Не пойдет самоходом до вашего отряду, он же не знает, что вы, за, как ее там, мировую революцию! Морячок объяснил, что в отряде есть Яшка-цыган, до недавнего времени ходивший с медведем, и что он, тот Яшка, все умеет и все знает, и сможет уговорить зверюгу подчиниться своим приказам. Что, мол, хитро, то и просто…

И действительно, когда на следующий день морячок явился к Хвоменке с тем хваленым Яшкой, цыган смело приступил к делу. Он протянул медведю пеструю тряпку, смоченную каким-то зельем, и Мышко, до того равнодушно взиравший на гостей, с ворчанием начал трепать тряпицу, а вскоре, к удивлению дядьки Микиты, и лизать руки цыгана.

— Любыта, — пояснил Яшка. — Есть такой бурьян, бачка-мишка его очень уважает… Як коты валерьянку… И увели морячки медведика-Мышка с хвоменковского двора. Цыган одному ему известным способом снял у медведя золотую коронку, заметив, что с таким зубом мировую революцию не делают. Эту коронку, завернутую в пеструю пахучую тряпку, он честно вернул хозяину, сказав, что все будет хорошо: бачка-мишка уже признал морячков и на радость братвы хлещет с ними горилку, закусывая соленой таранкой. Оно и понятно: трезвому не до мировой революции…

Однако, напоминал дед Игнат, мировая революция «не сгарбузовалась», и объяснял это тем, что Мышко знал меру и до чертиков, как, допустим, тот же прапорщик Ванько, не напивался. А то еще неизвестно, чем бы все это закончилось…

Станичники же еще долго вспоминали «добру худобу — ведмедика Мышка», в свое время забавлявшего их, и ушедшего с морячками-черноморцами «делать мировую революцию»…

БАЙКА НЕ КОНЕЧНАЯ,
ибо байкам конца не бывает, как нет конца тому чуду, что называется жизнью

Свободными осеннее-зимними вечерами наше семейство собиралось вокруг стола на «священнодействие» особого рода — громкие читки любимых книг — Тараса Шевченко, Ивана Котляревского и, конечно же, Николая Васильевича Гоголя. Этого именовали по имени-отчеству и читали его по-русски, как и случавшиеся подчас басни Крылова или сказки Пушкина. Котляревского и Шевченко же — по-украински.

Пока мы, внуки и внучки были дошколятами, главными чтецами были мои отец и мать, потом пришла очередь старшим детям показывать свою грамотность, а заодно и посоревноваться друг с другом. Для нас украинская «мова» была трудной, но если чтец на чем-то «спотыкался» — ему дружно подсказывали, ибо тексты эти в большинстве своем знали наизусть — вирши Тараса Шевченко, и «Наталку-полтавку» или «Москаля-чаровника» Котляревского. Гоголя читали выборочно — «Тараса Бульбу», «Вия», другие его повести из народной жизни.

Все это составляло «круг чтения», неоднократно повторявшийся. И каждый раз все воспринималось с восторженной непосредственностью и сопереживанием. Волшебному слову любимых писателей верили свято — Тарас Бульба был для нас более реальным, чем, допустим, узнанный позже Богдан Хмельницкий, а уж о подлинном существовании дивчины Наталкиполтавки, или тех же кузнеца Вакулы, Рудого Панька — и говорить нечего.

Продолжались такие посиделки до глубокой дедовой старости и ушли вместе с ним. Да и сама жизнь потом стала иной, семейное бытование перешло в другое качество, на другой фасон, как говаривал наш незабвенный дедуля. А в те памятные вечера семейное чтение частенько разбавлялось дедовыми байками, которые старый Игнат любил и, как я теперь понимаю, умел рассказывать. Это был еще один «круг», но не чтения, а живых рассказов — про то, «что было», и про то, «как было»…

Часть из его баек я запамятовал — видно не врезались они в мою память, а жаль: думаю, что моим внукам было бы не вредно услышать кое-что из мною забытого…

Я тоже любил и люблю пересказывать дедовы байки, и чего греха таить, порой, заполняя забытое, кое-что добавляю «для связки слов»…

Самая же первая моя собственная байка связана с путешествием — событием «эпохальным» для пацана-хлопчика в неполных шесть лет.

Как-то светлым летним днем у нас, в станице Тимашевской (теперь это город — знай наших!) появился дедуля, привезший на собственной телеге кое-какие припасы. Я, понятное дело,

крутился возле лошадей, с восторженным любопытством наблюдая, как они подвижными мягкими губами подбирают просыпавшийся на землю овес, время от времени поднимают головы и одобрительно по-храпывают. У коней были большущие щеки, смахивающие на рыбьи жабры, и я все стремился заглянуть под них, ожидая увидеть там розовые пластины, как, допустим, у тех же сазанов («коропов»).

В семье у нас любили рыбу, она регулярно приобреталась, большей частью еще живая, и я непременно присутствовал при ее разделке… К моему разочарованию, жабер, подобных рыбьим, у коней не было, что, однако, не расхолаживало моего интереса и уважения к этим исключительным созданиям. Кстати, я очень долго не мог понять, почему такие большие, сильные, красивые и умные животные слушаются человека — любого, даже порой неказистого и совсем уже далекого от совершенства.

Не помню деталей, как решался вопрос о моем путешествии к деду на хутор — то ли сам дед попросил отпустить меня «погостевать», то ли я родителям поднадоел своими шалостями (и так бывало), но только то поистине историческое решение было принято, и в достопамятный день ранехонько, на самом-самом рассвете, меня, еще недоразбуженного, закутанного в нечто теплое, усадили рядом с любимым дедулей, и мы тронулись…

Рассказывая впоследствии об этом путешествии — а я периодически по просьбе домашних повторял свое повествование в течении многих лет — я разбивал свой рассказ на эпизоды, а между ними неизменно повторял: «и это, значит, мы едем…», подчеркивая тем самым непрерывность нашего с дедом движения. И домашние, когда хотели послушать мою байку, просили: «А ну, расскажи, как это вы с дедом, значит, ехали!».

Итак, «значит, мы — едем»… До восхода солнца было прохладно. По низинам кое-где еще не растаял голубоватый туман, деревья и кустарники, росшие вдоль дороги, были неприветливо нахохлившимися, сонными.

Первое, что я увидел для себя необычное — огромное водное пространство — плавню. Не заросшее зеленым травяным лесом заболоченное место, где и воды-то никакой не видно, а покойно лежащее на земле сизоватое зеркало, в котором отражалось небо. По зеркалу кое-где, словно мухи по потолку, неспешно двигались птичьи стайки… Потом у самой закраины этого водяного чуда стали появляться остроносые головы цапель и, подхватив со дна нечто невидимое, снова замирали в гордом спокойствии. Откуда-то прилетели маленькие серенькие птички, шустро забегали по самому берегу, промышляя что-то свое, непонятное…

Из-за горизонта поднялась горбушка солнца, пока без лучей, и тут же скрылась в узкой полоске далеких сиреневых облаков, а через какое-то время оно огромным яичным желтком выкатилось из-за туч. Постепенно приобретая свой обычный вид, солнышко наполнило мир светом и благодатной теплынью… Плавня вдруг стала голубой, а потом и вовсе синей, и на ее глади уже не просматривались столь резко птичьи стайки.

Вдруг мы увидели рыбака, поднявшегося из-за прибрежных кустов.

— Бог помочь! — сказал ему дед. Рыбак пробормотал что-то, видно поблагодарил, и потянул за веревку, поднимая «хватку-паук». Через мгновение в сетяном квадрате затрепетала серебристая рыбка, а с самой сетки и с дуг этого нехитрого рыболовецкого снаряда дождиком посыпались водяные капли… Дорога стала уходить от плавни, и это водяное чудо вскоре скрылось за стеной кукурузы, а затем непонятного для меня тонкостебельного, но столь же высокого растения с пышными «хвостами» наверху.

— Веничи, — объяснил мне дедуля. — Как поспеют, то семена пойдут курям и гусям, а стебли — на веники и метлы. Вскоре мы выехали на открытое пространство. На хлебном поле шла косовица. Обычную косилку я видел и раньше — на сенокосе возле тимашевской мельницы. Часть полей косили ручными косами, часть — конными. По малости лет я не вникал в их устройство, тем более, что внешне они не производили особого впечатления. Тут же я впервые увидел жатку-самосброску. Это было нечто! Следом за конями, если не сказать, впритык к ним, на ажурных решетчатых «крыльях» низко над полем летело некое рукотворное сооружение.

Дед остановил лошадей, и я с трепетным любопытством смотрел, как скошенные колосистые стебли сначала попадали на деревянную платформу, а потом сгребались с нее теми «крыльями» и ложились на поле ровными рядами. И пока одно «крыло» делало эту работу, другие слаженно поднимались кверху, описывали дугу и по очереди точно попадали на ту же площадку, где накапливались настриженные временем стебли. Машина была живая! Вот она остановилась, сидящий на ее отлете парень соскочил с сиденья, что-то поправил в механизме жнейки, и она, застрекотав, взмахнула «крыльями»-граблями и пошла вперед. Чудесная «механизма»!

Потом мы видели сноповязку, и хотя дед осматривал ее более внимательно, чем жатку, мне она «не показалась»: из темного зева машины выскакивали связанные веревочкой снопы, ну и что? Ее секреты были спрятаны где-то внутри, на жатке все было — вот

оно, смотри и удивляйся! Мне потом не раз снились кони с пучком именно таких ажурных крыльев, как на жатке-самосброске.

Вот так, значит, мы и ехали…

Я долго помнил чередование полей, мимо которых мы проезжали, что именно на них произрастало: свекла, овес, конопля и тому подобное. Время подходило к обеду, становилось жарко. Дедуля облюбовал лужок возле дороги, мы свернули, остановились. И пока он распрягал лошадей, я, естественно, обежал поляну, осмотрел ее закоулки. У дороги раскинулась гряда чертополоха, с громадными яркими цветами, которые дед почему-то называл «китайскими розами». Эти цветы трудолюбиво обрабатывали шмели. Вдали голубел цикорий — «петров батыг» — вокруг него роились маленькие бабочки, яркие и неуловимые…

На границе лужайки росли кустики, за которыми простиралось скошенное поле, и я приметил, что какая-то птичка впорхнула в те кустики… Я немедленно побежал туда, и когда приблизился к заветному месту, оттуда вылетела птаха и низом ушла в сторону. Раздвинув кустик, я увидел гнездо, обильно заполненное рябыми круглыми яичками. Я тут же радостно поделился своим открытием с дедом. Тот, бегло взглянув на гнездо, расправил кустик, скрывавший птичий домик, и сказал, что здесь живет «перепелица», и беспокоить ее нельзя — грех…

Обедали мы, лежа под телегой. У самого колеса росла какая-то трава — дед сорвал ее пучок, и чуть примяв, дал мне понюхать:

— Вот это — рута… или мята, чуешь, как пахнет?

Запах той «руты-мяты» я запомнил навсегда… Переждав в тени самое жаркое время, мы после обеда снова тронулись в путь. Стали попадаться встречные возы. Если они были гружены соломой или сеном, мы отъезжали в сторонку, на обочину, и огромная мажара, величиной с полдома, торжественно проплывала мимо. Иногда навстречу мчалась порожняком какая ни то легкая гарба, за нею поднималось облако мелкой въедливой пыли — дед правил на ту сторону дороги, откуда тянуло ветерком, и мы пережидали, пока та пыляка не уляжется. Останавливал он лошадей и тогда, когда какая-либо из них начинала справлять свою нужду — дед считал, что естественные надобности худоба должна справлять в спокойном состоянии… Вот мы въехали в первую попутную станицу, и мне показалось, что здесь просторнее, чем в поле: там к проселку чуть ли не в притык подходили посевы, подчас можно было рукой дотронуться до стоящих стеной подсолнухов, кукурузы, того же прядива (конопли). Здесь же от одной стороны улицы до другой было

широкое поле, за росшее бурьяном, среди которого виднелись две-три дорожные колеи. Хаты стояли в глубине дворов, что еще более расширяло уличное пространство.

Возле одной «лиски» (плетня) стоял, оперевшись на «гирлыгу» (кривую палку), седобородый старик. Дед Игнат остановил коней, поздоровался с тем стариком, стал расспрашивать об общих знакомых — кто живой, кто «вмэр», кто здоров, кто не очень, и тому подобное. Возле ног станичника крутился пушистый щенок, точь-в-точь такой же, какого я видел у нас в Тимашовке, в соседском дворе. «Может, братишки, — подумалось мне. — А может, тот самый… Только как он оказался впереди нас?».

Дед стеганул лошадок и мы поехали дальше. И снова — поля, огороды, посевы. Вдруг возле дороги откуда не возьмись — заяц. Огромный, рыжевато-серый. Дед поднялся в полный рост, закричал: «Ату его!», присвистнул. Заяц метнулся в сторону, в другую и выскочил на свежевспаханное поле. Там, однако, не залег, а зигзагами помчался все дальше и дальше. Освещенный солнечными лучами, он яркой серебристой точкой долго был различим на черно-бархатном фоне пашни. Но вот эта искорка, наконец, погасла — видно, косой нашел-таки место, достаточно для него безопасное. Дед покачал головой, похвалил дичину, мол, хороша, и сел на свое место…

Под конец пути я, укаченный тряской ездой и преисполненный новыми для меня впечатлениями, стал подремывать. К дедову двору мы подъехали затемно. Меня, спящего, сняли с гарбы и унесли в дом. Помню слышимый сквозь дрему незлой лай собак, ворчливый дедов голос:

— Ну, что разгавкались? Своих не признали? На этом можно было бы и закончить рассказ о том, как «мы, значит, ехали», но последующие события являются естественным продолжением всего, что произошло в те памятные дни, и без их освещения будет не совсем ясно, а зачем, собственно, ехали, ради чего? А посему, что же было, значит, дальше?

А наутро я окунулся в воистину сказочное царство дедушкиного двора. Он не был хутором в прямом смысле этого слова — это был большой жилой участок, расположенный чуть поодаль от основного станичного массива. Между ним и ближайшими садами и хатами на полверсты простирался неровный луг, кое-где заболоченный и вероятно по этой причине незастроенный.

С одной стороны двора стоял довольно солидный дом, к которому почти вплотную подходили хозяйственные постройки — коровник, конюшня, телятник, курятник, крольчатник, небольшая

кузня, неровная земляная куча, поросшая бурьяном (как выяснилось, это была домашная «цэгельня» — ныне не действующее кирпичное производство), и далее в углу — какой-то мусор, навоз и тому подобное… Напротив хозяйственных построек — большой навес, крытый камышом, а где и просто соломой, под которым с одной стороны были уложены еще не обмолоченные снопы, а с другой стоял нехитрый крестьянский инвентарь.

За этим навесом и небольшим плетнем перед самым домом простирался огород и громадный сад, прямая дорожка через который выходила к перелазу через капитальный деревянный забор — за ним на пустой луговине находился большой колодец с «журавлем», рядом с ним — несколько корыт для скота. Еще один колодец — «криница» находился в саду, но вода в нем была горьковатой и годилась только на полив, за «сладкой» же водицей лазили через перелаз, что было не совсем удобно: вода расплескивалась, и возле перелаза обычно было сыро. Именно тут я увидел огромную пучеглазую лягушку. Взять ее в руки было страшно, и я попытался с нею пообщаться с помощью длинной хворостины, но животина не захотела знакомиться, а, сделав два-три скачка, скрылась в бурьяне. Однако на следующий день я ее снова встретил у перелаза — здесь она охотилась на мошек, слетающихся к лужице.

От колодца разбегались торные дороги и тропинки — в станицу, куда-то в поле. Одна из них была мне хорошо знакома: по ней мы частенько ходили «с поезда», и само собой — «на поезд», когда приезжали в гости к дедушке и бабушке. Дорожка шла прямо, не извиваясь, к краснеющему вдали станичному зданию, мимо большого древнего кургана с гордым именем «Высокая могила». Этот курган, по рассказам деда, никогда не распахивался. Возле него проходили скачки, а в старину останавливались чумацкие обозы.

Мы как-то с дедом поднимались на его вершину. На неровном плоскогорье росла невысокая травка и гулял ветерок. Дед оглядывал степные дали, я же с интересом разглядывал курчавых овец, пасущихся по косогору — в дедовом хозяйстве этой худобы почему-то не было…

За воротами, которые были устроены между навесом и навозными кучами, простирался небольшой лужок, где обитали разномастные и разноразмерные кузнечики — «коныки», как именовал их дедуля. Были тут крупные, серые, с розовыми, а порой синими крылышками, встречались зеленые и коричневые — поменьше, а иногда я натыкался на стайку крохотных «коников», весьма шустрых и трудноуловимых. Погоняться за

ними для меня было огромным удовольствием, и я доставлял его себе по два-три раза на дню. «Коники» своеобразно стрекотали, и я, приглядевшись, понял, что они не поют, а водят большими задними ножками по ребрам, извлекая таким образом неподражаемый стрекот.

Изучая закоулки, я обнаружил, что соломенная крыша навеса со стороны сада доходила почти до самой земли, и на нее легко было взобраться. Я тут же воспользовался этой возможностью и был вознагражден приятным открытием: на пологую крышу с растущих вдоль навеса деревьев падали яблоки и огромные груши, которые дед называл «дулями». Эти «дули» застревали в соломе, я их оттуда извлекал и с удовольствием грыз, наслаждаясь их сочной сладостью.

Другой запомнившийся фрукт — тоже неимоверно сладкий — крупные белые сливы, добыть самому было невозможно — они зрели высоко и рядом с ними не было ничего, что могло бы мне помочь к ним добраться. Ими меня угощала младшая сестра моего отца, а моя, стало быть, тетя, она же — Настя, она же моя крестная. Ее жених — Кирилл — являлся обычно к вечеру, о чем-то таинственно шушукался с Настей… Во время Великой Отечественной он дослужился до капитана, участвовал в отвлекающем парашютном десанте при освобождении Новороссийска, где был тяжело ранен. Об этом десанте историки почему-то не вспоминают, отдавая всю славу этой победной операции одним морякам, что, по рассказам дядьки Кирилла, не совсем справедливо: «досталось» там всем, кто штурмовал тот город и с моря, и с суши, и с неба…

Бабушка угощала ряженкой и «кисляком». Она доставала из погреба небольшой глечик и, сняв с верху того «кисляка» чуть пригоревшую корочку, плюхала его мне в миску. Кисляк разламывался на солидные куски, и я называл это угощение «большим кисляком», в отличие от «кисляка», присыпанного сахаром и размешанного ложкой. Хорошо было полакомиться в жаркий день «большим кисляком», холодным, чуть кисловатым, без приправ, будь то малина или вишня без косточек. Такое лакомство я тоже ел, но настоящее удовольствие получал именно от «большого кисляка»…

В бабушкином погребе было мрачно и холодно. В полутемных углах громоздились мешки и короба, на просторных полицах стройными рядами, как куры на насесте, шпалерами высились кувшины.

Погреб все время манил меня своей таинственностью и неисчерпаемыми открытиями: здесь были и загадочные крюки на потолочном бревне, и стоящие вдоль одной из стен бочки,

бочонки и кадушки, и многое другое. А главное — полумрак и прохлада… Самому спускаться туда мне было запрещено, так как по общему мнению, я должен был непременно упасть с крутых ступеней. И этот запрет делал для меня тот погреб еще более привлекательным и желанным…

И еще бабушка угощала хлебом, который пекла в громадной русской печи, занимавшей в хате почти полкомнаты.

Большой деревянной лопатой сажала она в ту печь приготовленные «паляныци» на капустном листе каждая. Хлеб там не только выпекался, но и чудесным образом дозревал, становился пышным, высоким, румяным, несказанно духовитым и вкусным. При выпечке на отдельных буханках-«паляныцях» корка прорывалась, часть теста вываливалась наружу, запекаясь как-то сбоку и образуя особенно лакомый «злэпок», который особенно хорошо «шел» к свежему прохладному молоку.

После того, как печь остывала, я забирался на ее жилую часть. На тыльной стороне стены дед в свое время прорубил небольшое полукруглое окошко. Через вмазанное в него стекло была видна окрестность — какие-то кусты вдоль тына, калитка, за которой шла тропа через стоящий стеной полусозревший ячмень. В те времена для содержания скота нужно было много соломы, и поэтому выращивали длинностебельные злаки. Тот ячмень был выше моего роста, он деду-то доставал до плеч, и его заросли казались мне необычайно таинственным…

Снаружи в запечном оконном проеме в тот год поселилась какая-то птичка-невеличка, ее желторотые птенцы, словно какие-то незнаемые цветки, торчали из гнезда, и было забавно наблюдать, лежа на печи, за их кормлением. Пугать их, а тем более трогать, было строжайше запрещено — «грех»…

Там же, на заоконных задворках, жила и другая разная птица-птаха, со своими заботами, житьем-бытьем. Их тоже было интересно рассматривать через то запечное окошко-«виконыцю».

Запомнилась божница. В полутемном углу хаты на стене висели иконы, покрытые сверху белыми «рушниками» с красными строчками плохо различимой вышивки по краю. В центре негасимо горела лампадка-«каганэц». Пониже, на треугольном столике, тоже покрытом белым платом, лежали какие-то книги, возвышались простенькие подсвечники, и — о чудо! стояли и лежали необыкновенной красоты разномерные стеклянные яйца. Розово-синие и сине-зеленые с красниной, они имели сказочное нутро: сквозь прозрачную оболочку проглядывались нежнейших оттенков какие-то завихрения, облака или волны… А может — крылья каких-то загадочных птиц. Все это разноцветно переливалось, переходя одно в другое. У некоторых где-то в

глубине виднелись пещерные горы, из которых на извивистых стебельках вытекали таинственные вкрапления, не то семена сказочных нездешних трав, не то слезинки-сосульки. А когда поднесешь такое яйцо к глазам и посмотришь сквозь него на дрожащее пламя лампадки, все внутри него вдруг оживет, заколеблется, станет дышать, куда-то поплывет и останется на месте…

Среди этих яиц дед особенно ценил такого же фасона и содержания чернильницу, ценил потому, что она, кроме удивительной красоты имела и полезное предназначение — в нее макали перьевые ручки все дети деда Игната, а потом и старшие внуки, по мере возрастания до школьной поры. Сказочные яйца потерялись в сутолоке тридцатых годов (может, одно-другое все же сохранилось у младших дедовых внуков и внучек, что мне неизвестно), а чернильница живет у меня, и дожила до нового, XXI-го века, потеряв свое практическое применение, но зато приобретя статус семейного сувенира-реликвии. Уже в лейтенантских годах я узнал, что этими стеклянными яйцами казаков-конвойцев одаривала императрица Александра Федоровна, обычно к Пасхе, и наш дед за отменную службу неоднократно удостаивался такой награды. Думаю, что вскорости я, самый старший дедов внук, передам этот раритетный сувенир своему внуку — с откровенной надеждой на то, что когда-нибудь он передаст его своему внуку. Дай-то, как говорится, Бог…

Но вернемся к незабвенному детскому путешествию, на дедов хутор. Любил я участвовать в кормлении домашней живности. Чтобы разглядеть, как клюют зернышки попискивающие пушистые цыплята, я к бабушкиному ужасу ложился на землю… Наблюдая за поросятами, я пришел в восторг не от их «свинячьего» аппетита, а от того, как они ловко умеют чесаться — задней ногой у себя за ухом. По вечерам дедуля водил меня к задним воротам, и мы слушали сверчков. Степь звенела от их самобытной музыки, и даже собаки, сопровождавшие нас на этот концерт, переставали путаться у ног, замирали, вслушиваясь в таинственные ночные звуки. Однажды в эти трели вплелся довольно громкий ритмичный скрежет.

— Деркач, — объяснил дед. — Есть такая птаха, летает мало, больше пешком ходит. Вот и сейчас, видно, пошла зимовать в жаркие страны. Пока она туда сходит, у нас зима кончится, деркач вернется, птенчат выведет, и снова в поход. Так и живет, все на ходу, на ходу, и все пешком… Позади дома дед устроил небольшой ток, на котором большим каменным катком домолачивали снопы. Меня к этому серьезному делу не допускали из боязни, что я могу как-то ненароком попасть под

каток, мол, был в станице недавно такой случай. А вот когда обмолот кончился, дед затеял резку соломы, так как половы, по его мнению, для корма скота было маловато.

Меня «для груза» посадили на широкий досчатый помост, поддон которого был утыкан треугольными ножами от косилки. В этот нехитрый агрегат была запряжена лошадь, дед водил её по кругу, ножи резали солому, уложенную нетолстым слоем на току. Моя задача была не свалиться с платформы и не засорить глаза. Поначалу эта роль мне нравилась, я крепко держался за какой-то ремень и с гордостью озирался по сторонам, искрене жалея, что меня никто не видит, кроме шелудивого пса, сидящего под хатой. Дед, конечно, в счет не шел... Потом мне монотонность нашей деятельности поднадоела, и я уже поглядывал, как бы спрыгнуть с платформы и куда-нибудь удрать. На мое счастье, явилась бабушка, отругала деда за то, что мучает «детинятко», тот остановил лошадь. Я бодро соскользнул с насиженного места и тут же свалился на солому — голова кружилась, ноги не слушались, земля шла кругом.

Надолго мне запомнилось это участие в серьезной работе. Дня через три мы поехали в поле, на один из «паев», где у деда, выражаясь по-нынешнему, произрастали «технические культуры»: «прядиво», оно же «конопелька», «маслянка» (подсолнухи), «пшинка» (кукуруза) и что-то еще, поменьше ростом. На участке стоял балаган — дощатый домик, рядом — навес, под которым можно было укрыть коней от жары, или, допустим, от дождя и ветра.

У входа в балаган цвели «сояшники» — те же подсолнухи. Дед отпустил распряженных лошадей на пастьбу, а сам занялся каким-то ремонтом балагана. Настя с бабушкой что-то пололи, подгребали. Потом дед собрался сходить «по воду», именно «по», а не «за» — меня все время поправляли, когда я говорил «за водой», мол, пойдешь «за водой» — не вернешься... Я само собой, увязался за ним. Мы по тропе прошли сквозь «маслянку» и оказались на краю балки, поросшей тернами и «шипшиной» (шиповником), и тут дед поставил на землю ведра, взял меня на руки и показал на двух пасущихся невдалеке больших птиц.

— Дрофы! Дюже гарна дичина... Дрофы были похожи на крупных гусей, только на больших ногах. Они спокойно пощипывали травку, потом, увидев нас, неторопливо удалились. Впоследствиии я видел дроф и под Тимашовкой, да и отец приносил их с охоты — дичина действительно была «гарна»... Где-то незадолго до войны она исчезла с кубанских степей окончательно. А были ведь у нас такие птицы. Бывало, их заготавливали на зиму: в печи запекали в соленом тесте, которое

пропитывалось жиром самой дичины, и подвешивали на чердаке, где было достаточно прохладно и гулял ветерок. По нужде такую заготовку снимали с крючка, разбивали высохшую хлебную корку и разрезали птицу на аппетитные куски, разогревали и подавали к столу...

На обед бабушка «на цыглинках» (на кирпичах) сварила пшенный супчик. Каким он показался мне вкусным! То ли нагулялся хлопчик на полевом просторе, то ли действительно в том чуть пахнущим дымком жиденьком вареве, «засмаженным цыбулей» (зажаренным луком) было что-то неповторимое, объяснить которое обычными словами нельзя.

В балагане я увидел висевшую на стене картину. На ней был изображен круглолицый усатый человек с бандурой на руках, сзади него — красивый конь. Бандурист сидел в непонятной позе, которую я тут же попытался повторить. Так сидеть было неудобно, хотя и можно, когда, к примеру, нет стула или табуретки. Вот только жаль, что у меня нет бандуры... Дед, заметив мои упражнения, улыбаясь, объяснил, что на «парсуне» изображен казак Мамай[21].

— Был такый добрый казачюга, азиятам, абож тем же туркам-татарве спуску не давал, а сам был веселый и певучий. Вот у него саблюка, вот — пороховныця, а тут — сулия с горилкой и торбочка с тютюном-табаком.

— А где он жил? — спросил я, не видя на картине ни хаты, ни какого-либо шалаша. — А везде... Он же казаковал, ездил по степи с места на место, нес охрану и ублажал людей своими песнями. Это сейчас казаки живут по хатам... Говорят, что такого Мамая и совсем не было, да только брешут — был! И посейчас с таким прозвищем их на Кубани немало. За Славянской по Анастасьевским хуторам тех Мамаев дюже густо. Может, то их какой пращур… «Казак Мамай» мне очень понравился, и я позже, узнав про татарского предводителя Мамая, всерьез его не принимал, для меня настоящим был совсем другой Мамай — казак, которого я видел на картине в дедовом балагане...

И еще запомнилась гроза. Где-то во второй половине дня над степью повеяло ветерком, небо стало быстро заволакиваться сначала бело-серыми тучами, потом откуда-то взялась громадная черная «хмара», она закрыла собой почти всё видимое и невидимое пространство, пригоршнями сыпанул сначала мелкий, задорный дождичек, и раздался неуверенный гром, отдаленный, один, другой, блеснула молния и — началось! Дождь полил, что называется, как из ведра, небо корежилось в железном грохоте, молнии накладывались одна на другую, то огненными змеями уходили в землю, то с треском рассыпались где-то вверху. И когда

они вспыхивали, то в распростёртой над нами угольно-черной туче, казавшейся абсолютно однородной, вдруг высвечивались какие-то прорехи, дыры, пещеры и ямы...

Мы с дедом стояли под навесом, и я точно помню, что мне было совсем не страшно, а наоборот, восторженно весело в этом вселенском погроме, могучем и сказочно прекрасном. Вот две особо яркие, голубовато-серебристые молнии сверкнули совсем близко, зазмеились и ушли куда-то за окаем. И тут громыхнуло с такой силой, что стоявшие сзади нас кони ошалело дернулись, и тут же обреченно затихли, как кролики перед пастью огненного удава. Дед перекрестился, что-то прошептал, и мне было видно, что ему — тоже интересно!

Гроза прошла также скоро, как и началась. Уже через полчаса, может чуть больше, ливень прекратился, черная хмара ушла к горизонту и хотя там, где-то вдали, еще погромыхивало, над нами заголубело небо, и было понятно: праздник кончился!

Огромной дугой над степью выросла радуга, яркая у основания и чуть размытая к вершине.

— Отож, — показал мне ее дед, — она означает, что всемирного потопу не будет! Так в Святом писании прописано. И кажется мне, что именно с того момента я усвоил себе, что какой бы сильной не была гроза, ее пронесет, засветится радуга и вселенской погибели не будет...

Через много-много лет, когда я был совсем уже взрослым, а дед Игнат совсем уже старым, я как-то спросил у него, помнит ли он ту грозу, которую мы с ним пережидали под навесом у степного балагана.

— А как же? — даже удивился дедуля. — Тож було чудо! А чудо и есть чудо, его из головы не выскребишь!.. И я понял, что для меня таким «чудом» была не только та памятная гроза, а все, что я тогда увидел, и дорога, и дедово подворье, и его окрестности. Хорошо, когда жизнь — чудо!

Чудом жили, чудом живем, на чудо надеемся, чудом спасемся... Да здравствует чудо!

Краткий словарь старокубанского языка, устаревших слов, встречающихся в этой книге

абож — или анчутка— чертёнок
анцыбуленок — чертёнок
аспид — сатана, чёрт
баз — двор, загон
байдуж — всё равно, Бог с ним!
байстрюк — непутёвый (незаконнорожденный)
балаган — лёгкое строение
балакать — говорить
баранта — овцы
бачить — видеть
баштан — бахча
брыль — сломенная шляпа
будяк — сорный колючий бурьян, татарник и т. п.
буза — алкогольный напиток из молока булыга — булыжник
бурдюк — сосуд из шкуры овцы (козла, быка и т. п.)
буряк — свекла взвар — компот
ветряк — ветряная мельница
вытребасы - пустяковины, приятные ненужности
гай — лес
гарба — телега
гарбуз — тыква
глечик — кувшин
гнояка — навоз
горилка — водка, самогон
гуртовать — объединять в гурт стадо, собирать вместе
гуртоваться — собираться в кучу, в гурт (в стадо)
гепнуть — ударить, разбить
грэць — чёрт
гэть — прочь! доливка — глинобитный пол
доня — доченька драбина — лестница, решетка для увеличения бортов воза дрючок — жердь
духан — кабак, шинок, пивная
дивиться — смотреть
журкотать — журчать
залога — засада
засмажить — задобрить варево луком, поджаренным на масле
заховать — спрятать
кавун — арбуз

каганец — плошка с растительным маслом и фитилём
кагал — ватага, сообщество
казан — котёл
кацап — москаль
колготня — суета, заботы
коноводить — руководить
коник — кузнечик
коханый — любимый
кошара — скотный двор, овчарня, становище, полевой стан
кошеня — котёнок
крадькома — украдкой
кужух — шуба (овчиная)
куток — угол
лиска — плетень, забор из хворости, камыша
люлька — курительная трубка
мабудь — вероятно, наверное
мажара — большой воз, гарба
макитра — большой горшок
маракувать — соображать, думать, догадывтьея, размышлять
мандрувать — идти, ехать, отпраляться, двигаться куда-либо
маслянка — подсолнух
мацать — щупать, трогать
млын — ветряная мельница мрия — мечта, нечто едва видимое, мерцающее, брезжущее
навада — наваждение
навпростец — напрямик
надыбать — найти, встретить
налыгач — веревочный повод в упряжи; веревка, привязанная к рогам вола, коровы
наобрыдло — надоело, наскучило, осточертело
невира — безбожник
ненька — мать
оклунок — неполный мешок чего-либо
олия — постное масло
онучи — портянки
орать — пахать
ось — вот
оселедец — чуб
отчемаха — оторва, необузданный
паляныца — буханка хлеба
паровик — паровая машина
парсуна — картина, портрет
подсвинок — зрелый поросёнок
подарунок — подарок

постолы — чувяки
пошарпать — отрывать, откусывать, рвать
пошукать — поискать
потылица — затылок
причепуриться — приукраситься, привести себя в порядок
прочах — остыл
прадиво — конопля
письменный — грамотный
перелякаться — испугаться
разбышака — баловень, хулиган
реестр — список
рогач — ухват
рэпаный — потресканный, морщинистый
рядно — груботканная ткань
рятувать — помогать, спасать
садок, сажок — домик для содержания свиней
свийский — кому-то принадлежащий, чей-либо, не общий
саломата — жидкая каша на свином сале
сгарбузовать — сделать, осуществить, провернуть
скаженный — сумашедший
сидало — насест
скризь — везде
скубаться — ругаться, ссориться, драться
слухняный — послушный
сокира — топор (секира)
сопилка — музыкальн. духовой инструмент (свирель)
ссыпка — приёмный пункт зерна, его склады
старец — нищий стремянная чарка — рюмка «на посошок», отвальная
стырчмя — торчком
сулия — сосуд для жидкости
сусалы — лицо, его части
тикать — убегать
толока — земля под паром, пустошь
торба — сумка, небольшой мешок
трошки — немножко
треба — нужно
трясьця — лихорадка
тютюн — табак
фатажен — керосин
фордзон — трактор
фортеция — крепость
хай (нехай) — пусть
хиба — разве

ховаться — прятаться
худоба — домашний скот
хытнуться — шатнуться, склониться
цап — козёл
цикавый — красивый, особый
цибуля — лук
цидуля — письмо, документ
цоб, цобэ — правый, левый вол (бык) в упряжке, их понукание
цацка — игрушка, безделица
чапура — цапля
чоботы — сапоги
чувал — мешок (большой)
челомкаться — целоваться
шарпать — хватать, рвать
шкандыбать — хромать
шмат, шматок — кусок
щерба — бульон, навар
юнак — юноша
юрт — земляное владение станицы (хутора), администр. единица
юшка — щерба, бульон, навар

notes

Примечания

1

Народная поговорка «дайтэ жолобчастого» — бессмыслица. «Жолобчастый» — имеющий желоб, например, стамеска. Человек, Данила, жолобчатым быть не может, как и служить инструментом для стружки.

2

Т.е., баловнем и хулиганом.

З

Белый Савва Игнатьевич, (конец XVIII — начало XIX в.) — полковник казачьего войска, атаман, возглавлявший высадку Черноморского войска на Таманский полуостров 25 августа 1792 г. на 50 казачьих лодках и войсковой бригантине «Благовещенье».

4

Чепига — Кулиш Захарий Алексеевич (1726–1797). Кошевой атаман Черноморского казачьего войска, генералмайор. С 1750 г. рядовой Запорожского казачьего войска. Отличился при штурме Гаджибея и Измаила. В 1792 г. привел на Кубань 40 «куреней» (будущих станиц), основал город Екатеринодар. В 1794 г. участвовал в успешном походе в Польшу. Занимался обустройством Черноморского казачьего войска, составил кодекс «Порядок общей пользы».

5

Байстрюки здесь: уроды; анчутки и анцибулята — чертята и бесенята.

6

Понукание запряженных волов: правого именуют «цоб», левого «цабэ».

7

Узкий клок волос по центру бритой головы, «чубчик».

8

Некрас — Некрасов, Игнат Федорович (ок. 1660–1737) — один из ближайших сподвижников атамана войска Донского К.А. Булавина, активный участник булавинского восстания. После поражения увел около 8 тыс. человек за турецкую границу — на Кубань, где организовал свою «республику». Составил своеобразный кодекс «Заветы Игната».

9

Высадка на Тамани Черноморского войска произошла в 1792 г.

10

Мансур (Ушурма) (1760–1794) был главой движения горцев против российского правительства. В 1787 г. отступил в турецкую крепость Анапу, а в 1791 г. был взят в плен. Умер от чахотки в Шлиссербургской крепости.

11

Гудович Иван Васильевич (1741–1820) полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В русско-турецкой войне 1787–1789 гг. командовал корпусом, участвовал во взятии Каджибея и Килии. Руководил штурмом Анапы, за взятие которой награжден золотой шпагой «с лаврами» и орденом св. Георгия 2-й степени.

12

Тиховский Лев Лукьянович (1760–1810). Полковник Черноморского казачьего войска, командир 4-го конного Черноморского казачьего полка.

13

Конвой Собственный Его Императорского Величества — войсковая часть специального назначения, охрана императора, его почетный кортеж. Был создан при императоре Александре I в 1811 г. как Черноморская гвардия. Отличился в битве под Лейпцигом 1813 г. Служба в конвое была весьма почетной. Конвой участвовал во всех войнах России 19 века.

14

Барон Унгерн фон Штернберг Михаил Леонардович (1870–1931), офицер Первого Хоперского полка Кубанского казачьего войска. В конвое с 1898 г. Командир лейб-вардии Второй Кубанской казачьей сотни. До 1917 г. — помощник командира конвоя. В Гражданскую войну — в Добровольческой армии генерала Л.Г. Корнилова, затем в управлении Кубанского Правительства. Умер в эмиграции в Каннах.

15

Дадиани Давид Константинович (1875–1938), светлейший князь, офицер Первой Кубанской Казачьей Сотни Собственного Его Величества Конвоя. В Добровольческой армии — командир Черкесского конного полка, полковник. В эмиграции в Турции (1920), затем в США (1931), где был известен как шахматист.

16

Николай Николаевич (1856–1929), великий князь, старший внук императора Николая I, главнокомандующий войск гвардии, затем Петербургского военного округа. С 1915 г. наместник на Кавказе и командующий Кавказскими войсками. Войсковой наказный атаман Кавказского казачьего войска. 2 марта 1917 г. снова назначен верховным главнокомандующим, но 9 марта отстранен Временным правительством. В эмиграции жил во Франции, считал себя наследником императорского престола в России.

17

Трубецкой Юрий (Георгий) Иванович (18661926), князь, командир Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Отличился в русскояпонской войне. Участник первой мировой войны, командир Второй Гвардейской Кавалерийской дивизии. В белом движении не участвовал. Эмигрировал во Францию.

18

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал от кавалерии. Служил на Кавказе, участник русско-турецкой войны 1877– 1878 гг. В первую мировую войну командовал 8-й армией, затем был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. После февраля 1917 г. — верховный главнокомандующий. В белом движении не участвовал. В 1921 г. вступил в РККА. Инспектор кавалерии.

19

Гамалий Василий Данилович (1884–1956). Герой первой мировой войны. Сотник, впоследствии полковник. В апрелемае 1916 г. во главе Первой сотни Первого Уманского казачьего полка совершил рейд через Персию (Иран) до Месопотамии для связи с англичанами, и обратно. В Гражданскую войну был на стороне белых, командовал вторым Кабардинским полком, потом бригадой. Ранен в руку под Перекопом. Эмигрировал сначала в Турцию, затем во Францию.

20

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918). В 1917 г. главнокомандующий Петроградским военным округом. С 1 августа 1917 г. — верховный главнокомандующий вооруженными силами России. Поднял мятеж против Временного правительства, был разгром лен, арестован, бежал на Дон. Стал первым главнокомандующим Добровольческой армии. Организовал наступление на Кубань («ледовый поход 1918 года»). Убит при штурме Екатеринодара.

21

Мамай — казак, фольклорный герой запорожских черноморских (кубанских) казаков, благородный рыцарь, защитник вольной казацкой бедноты. Его характер известен из устных преданий и множества изображений (картины, лубки, рисунки на дверях, крышках сундуков).